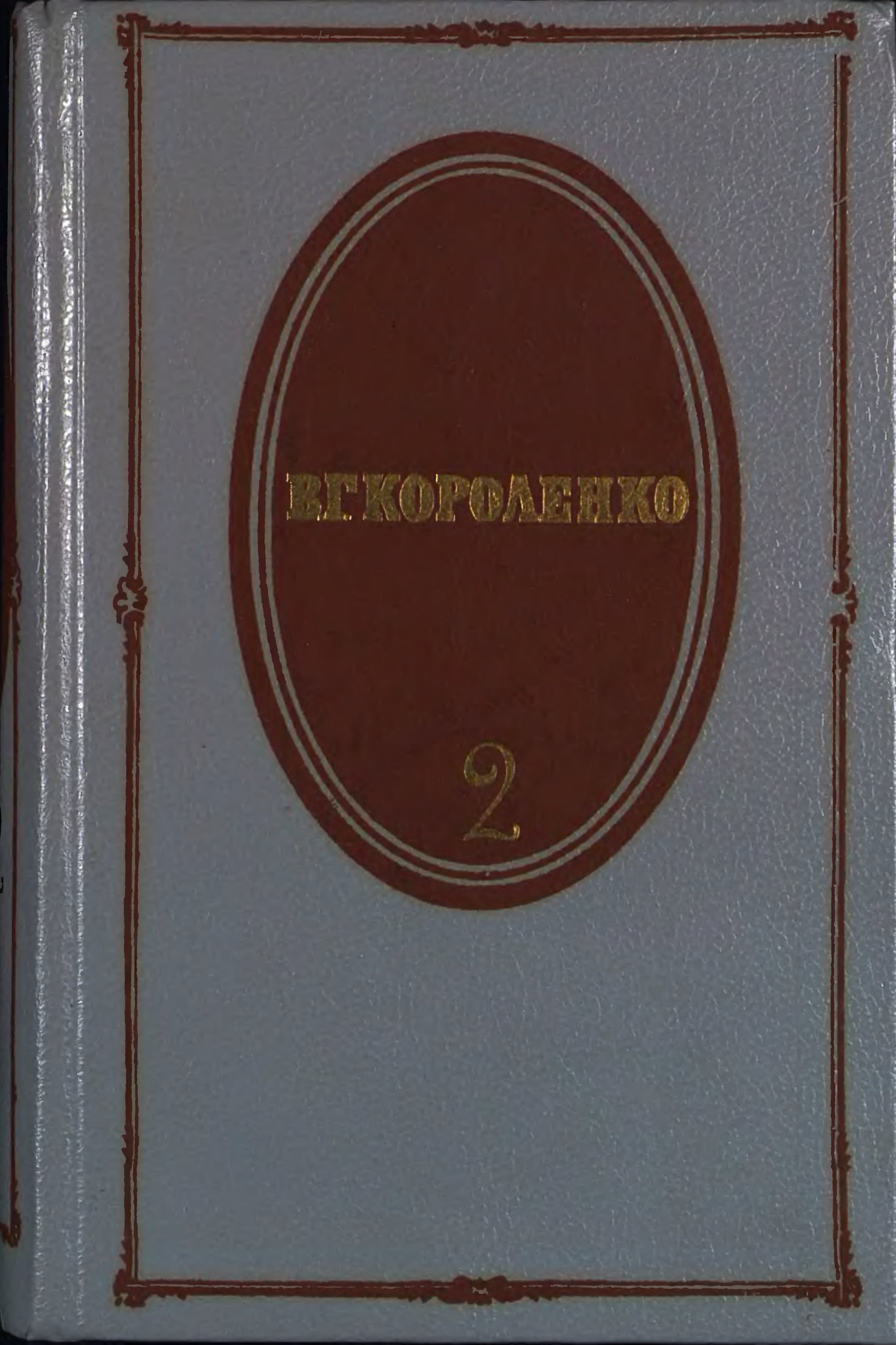
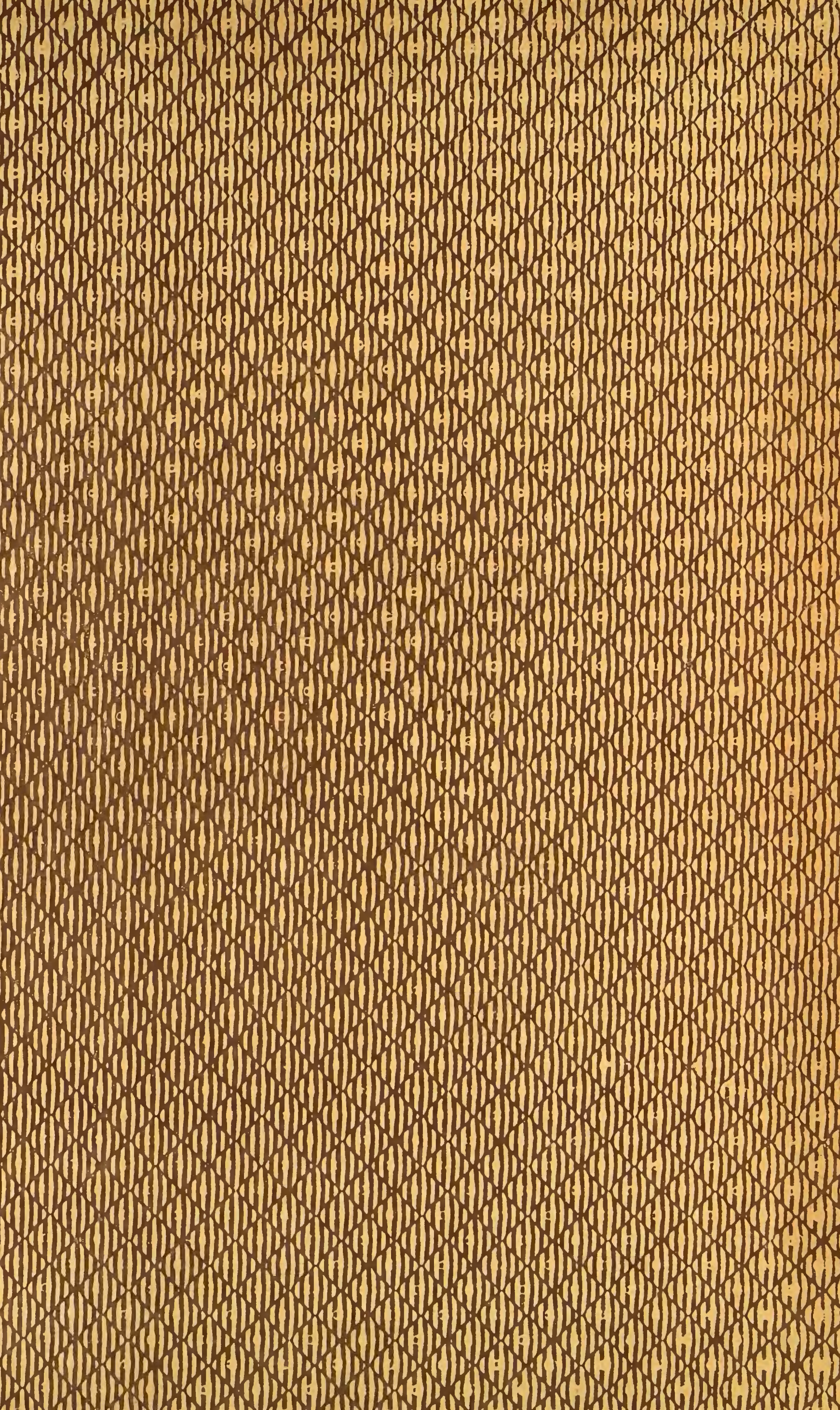

В.Г. КОРОЛЕНКО
2



В. Г. КОРОЛЕНКО

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



Ленинград

«Художественная литература»

Ленинградское

отделение

1989

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ВТОРОЙ



РАССКАЗЫ
1889-1903



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

ББК 84.Р1
К68

Составление, подготовка текста, примечания
Б. Аверина, Н. Дождиковой

Редактор
Т. Степашова

Оформление художника
И. Кулика

Иллюстрации художника
А. Слепкова

К $\frac{4702010101-072}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5-280-00852-4 (Т. 2)
ISBN 5-280-00850-8

РАССКАЗЫ
1889-1903

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Рассказ

I

...В этот день монастырщина праздновала встречу иконы. Долго, месяца два уже странствовала «владычица» по разным местам и теперь возвращалась домой.

Первыми приехали на троечных тарантасах, с колокольцами и бубенцами, сопровождавшие ее отцы, привезшие в монастырь собранную за время странствий казну. Вид у них был здоровый, сытый и довольный. Потом из лесу повалили пестрые кучи передовых богомольцев, все гуще и гуще, пока, наконец, не сверкнул над головами золоченый оклад иконы, переливаясь на солнце.

Звенели колокола, блестели и колыхались хоругви, пение хора и топот тысячной толпы, точно прибывающая река, заполнили тихую монастырскую слободку.

Монастырщина ожила. В церкви пели молебны, на площади выкрикивали под холщовыми навесами торговцы и торговки, из «заведения» слышались звуки гармоники и бубна, в избах слободки одна партия богомольцев сменяла другую за столами, на которых пыхтели огромные самовары.

Перед вечером вдруг пошел густой дождь, разогнавший с базара и толпу, и торговцев. На площади и на улицах стало тихо, только частые крупные капли плескались в лужах, да ветер метался и хлопал промокшими навесами, да из церкви слышалось стройное пение, а в глубине храма мелькали желтые огоньки свечей.

Когда туча вдруг снялась и поплыла на восток, волоча за собой над полями и над лесом изорванную пелену туманов,— на западе выглянуло солнце и ласко-

во тронуло своими последними лучами окна слободки и кресты монастыря. Но оживление уже не вернулось на базарную площадь: богомольцы внесли тихую жажду отдыха после трудного пути, и день угасал вместе с последними нотами отходящей церковной службы. Даже бубен за стеной «заведения» громыхал изнеможенно и глухо.

Служба кончилась. В глубине храма свечи гасли одна за другой. Богомольцы расходились. У монастырского странноприимного дома стояли кучки странников и богомолок, ожидавших, пока отец-гостиник разрешит вход просящим ночлега. На крыльцо вышел толстый монах и два послушника и принялись отделять овец от козлищ. Овцы входили в дверь, козлища изгонялись и ворча выходили в ворота. Когда эта процедура закончилась, у входа осталась кучка мордовок и фигура странника. По-видимому, их участь еще решалась отцом-гостиником, который ушел внутрь здания.

Через минуту вышли послушники и, сосчитав мордовок, пустили их в женское отделение. К одинокому страннику подошел старший послушник и, поклонившись, сказал:

— Прости, Христа ради, брат Варсонофий... Отецгостиник не благословляет тебе остаться... Иди с миром.

По лицу молодого странника прошла болезненная улыбка, поразившая меня каким-то особенным драматизмом и значительностью. Лицо у него было тоже замечательное: очень горбоносое, худое, с горящими большими глазами. Острый шлык и чуть заметная заостренная бородка придавали этому лицу что-то необыкновенно характерное. Вся сухая фигура в старом подряснике, с тонкой шеей и выдающимся профилем, обращала невольное внимание. Впечатление было резкое, тревожащее и беспокойное.

Выслушав слова послушника, странник поклонился и сказал:

— Бог спасет и на том...

Он повернулся, чтобы уйти, и вдруг пошатнулся. Видно было, что он болен и смертельно устал. Добродушный послушник посмотрел ему вслед и заколебался.

— Постой мало, брат Варсонофий... Схожу еще.

Странник облокотился на палку и застыл в ожидании. Но через минуту послушник опять вышел из двери и, смущенно подойдя к нему, сказал с видимым сожаленьем:

— Нет, не благословляет... Отец Нифонт донес ему, якобы тут странник один... вроде тебя... глаголет неподобная... смущает народ.

В лице странника мелькнуло что-то... Глаза его блеснули, как будто он хотел возразить, но потом поклонился и сказал:

— Благодарствуйте, отцы...

И он устало побрел со двора.

Послушник вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что он собирается закрывать ворота, и тоже вышел на передний двор. Здесь было уже пусто. Молодой продавец монастырских калачей стоял еще за ларем, к которому никто не подходил.

Вратарь закрыл за мною одну воротину, потом, тяжело упираясь ногами, стал закрывать и другую. В это время за воротами послышалась возня, затопталось несколько пар ног, щель опять раздвинулась, и в ней показалась невзрачная фигура в странницком костюме, рыжем и полинявшем. Ее невольными движениями управляла дюжая рука, державшая ее за шиворот. Крепкий толчок... Странник отлетел на несколько шагов и упал, а за ним вдогонку полетела котомка, потом другая... Небольшая книжечка в истрепанном кожаном переплете шлепнулась в грязь, шелестя по ветру листами.

— Вот эдак...— сказал за воротами жирный бас.— Не озоруйте...

— А что? — спросил голос вратаря.

— Как же,— ответил бас...— Из-за него вот отец-гостиник согрешил... человека прогнал... И человек-то хороший. Ох-хо... истинно грехи...

И говоривший удалился. Отец-вратарь сомкнул ворота, но не вполне: в щелку любопытно выглянули его маленькие глазки, толстый нос и светлые усы. Он с видимым интересом следил за дальнейшими намерениями извергнутого странника.

Последний успел подняться, взял котомки, вскинул их одну на спину, другую через плечо и потом, подняв книгу, старательно стал очищать ее от грязи. Кинув быстрый взгляд по двору, он заметил меня и калашника. Из-за наружных ворот, с площади, маленькое происшествие наблюдала кучка мужиков. Как будто сообразив что-то, странник приосанился, с демонстративным благоговением поцеловал переплет книги и отвесил сарка-

стический поклон по направлению к внутренним воротам...

— Спасибо, отцы святые... Яко странного мя приясте и алчущего накормисте...

И вдруг, заметив в щели ворот усы и нос вратаря, он сказал другим тоном:

— Что смотришь? Или признал?

— Что-то будто... того... признавательно,— сказал привратник.

— Как же, как же!.. Приятели! К свиридовским мордовкам вместе бегали... Узнал теперь?..

Привратник громко и с негодованьем плюнул, сдвинул ворота и задвинул засов. Но ноги его в грубых сапогах еще некоторое время виднелись из-под ворот...

— Феньку вспоминаешь ли, отче?..

Ноги стыдливо скрылись...

Странник поправил грязную мурмолку и опять оглянулся. Привлеченные пикантным разговором человек шесть мужиков вошли в ворота. Это были ближайшие соседи монастыря, старообрядцы из ближних деревень, толкавшиеся по базару с видом равнодушного, пожалуй, несколько враждебного любопытства. Монастырь, далеко простирающий свое влияние, вблизи охвачен, точно кольцом, самым злющим, по выражению монахов, расколом. Среди окрестных жителей сложилась определенная легенда, что в самом недалеком будущем монастырю грозит участь Содома и Гоморры... Но пока монастырь живет и привлекает в свои праздники тысячные толпы народа. В такие дни фигуры соседей-старообрядцев как-то угрюмо выделяются в ликующей толпе, и на их лицах виднеется отчужденность и досада. Подобно пророку Ионе, они ропщут, что господь медлит совершить предреченную судьбу обреченной Ниневии.

Теперь они с злорадным любопытством смотрели на сцену у ворот обители нечестивых.

— Что? Видно, не пущают...— сказал один насмешливо.— Самим тесно... с мордовками-то...

Странник повернулся и кинул на говорящего острый взгляд. Но вдруг лицо его приняло смиренное выражение, и, опять повернувшись к воротам, он трижды истово и широко перекрестился.

Мужики переглянулись с недоумением: странник крестился не щепотью, а старым двуперстным крестом.

— Господь, видящий всяческая, да воздаст мнихам по милосердию их,— сказал он со вздохом.— Мы же,

братие, отрясши прах от ног своих, послушаем здесь, во храме нерукозданном (он указал красивым и спокойным движением на вечернее небо), поучительного слова о покаянии...

Мужики сомкнулись; на их лицах виднелось радостное и отчасти недоверчивое недоумение. Обращение было слишком уж неожиданно... Мысль устроить на чуждом празднике свое собеседование и у самых ворот монастыря послушать странствующего проповедника, знаменующегося старым крестом,— видимо, нравилась людям старой веры. Проповедник стоял у подножия колокольни. Ветер шевелил его запыленные светлые волосы.

Это был человек неопределенного возраста, но, очевидно, еще не старый. На лице у него лежал сильный загар, а волосы и глаза как будто выцвели от солнца и непогоды.

При каждом даже незначительном движении головы на шее у него резко выступали и шевелились сухожилия. Невольно чуялось в этом человеке что-то несчастное, чутко настороженное и, пожалуй, злое.

Он стал громко читать свою книгу. Читал хорошо, просто, убедительно и, по временам останавливаясь, вставлял собственные комментарии. Однажды он быстро взглянул на меня, но тотчас же отвел глаза. Казалось, мое присутствие было ему неприятно. После этого он обращался больше к одному из слушателей.

Это был широкоплечий приземистый мужик с фигурой, точно вырубленной двумя-тремя ударами топора. Несмотря на эту топорность фигуры, он оказался чрезвычайно экспансивным. За каждым словом проповедника он следил с увлечением и снабжал их собственными репликами, в которых неизменно звучала какая-то почти детская радость.

— Ах, братия... милые мои,— говорил он, оглядываясь...— Ах, премудро это насчет покаяния... Стало быть, выходит лествица?.. Вот-вот... А мы, грешные, по ей... с приступочки да на приступочку?.. Так, так...

— И все, значит, кверху да кверху...— пробасил другой...

— Верно... Глядишь, и того... А?..

И он сияющими глазами окидывал собрание...

Однако его шумное вмешательство и его радость, повидимому, не понравились проповеднику. Он вдруг остановился, слегка повернул голову, и сухожилия на

его шее заходили, как веревки... Он как будто хотел сказать что-то, но сдержался и перевернул страницу.

Оказалось, что слушатели возрадовались преждевременно. В то самое время, когда они находятся на вершине ликования,— гордыня и излишнее упование отягчают лествицу. Она трещит, на лицах слушателей отражается испуг, лествица подламывается...

— Тепериче кончено! — говорит басистый мужик мрачно.

— Теперича ау, брат! — подхватывает первый. И странное дело: он опять оглядывает всех сияющими глазами, а в его голосе слышится та же радость...— Теперича нет нам ходу... И на первую приступочку не пустют.

Странник закрывает книгу и несколько секунд смотрит на говорящего упорным взглядом. Но мужик встречает этот взгляд с тем же радостным и доверчивым благодушием.

— Вы так... полагаете? — спрашивает проповедник.

— Полагаем,— отвечает спрошенный.— Сам посуди, милый человек... До кеих же пор терпеть на нас?..

— Вы так полагаете? — опять говорит проповедник с натиском, и в голосе его звучит что-то, вызывающее на лице спрошенного признаки беспокойства...

— То есть вы полагаете предел долготерпению всевышнего. А известно ли вам, братие, что есть православная кафолическая церковь?..

Он перевертывает несколько страниц и начинает читать о духовном могуществе православной церкви. Лица слушателей темнеют. Проповедник останавливается и говорит:

— Православная кафолическая церковь... Не она ли сия спасительная лествица?.. Кто прибегает к ней — не может отчаяться. А вот... ежели...

На несколько секунд водворяется напряженное молчание. Странник стоит против кучки мужиков и, очевидно, держит в своих руках их настроение. Еще недавно они радостно следовали за ним, и не трудно было предвидеть последствия проповеди: люди старой веры готовы были пригласить к себе монастырского изгнанника. Теперь они смущены и не знают, что думать...

— А вот ежели,— продолжает странник, отчеканивая слова,— кто отвержеся единой матери-церкви... кто полагает спастись в подпольях, с крысами... кто уповает на стриженые гуменца...

Басистый мужик резко повернулся и пошел прочь...

Его благодушный сотоварищ оглянулся с видом разочарованности и недоумения и кинул тоном полувопроса:

— Оканфузил?.. Ишь ты... Ай-ай-ай...

И последовал за другими. Раскольники угрюмо направились к воротам. Странник остался один. Его фигура резко выделялась на фоне колокольни, и в выцветших, когда-то синих глазах стояло странное выражение. По-видимому, он думал своей проповедью обеспечить себе ночлег, в котором ему отказали монахи. Почему же он вдруг изменил тон?..

Теперь во дворе нас было только трое: странник, я и молодой парень под калашным навесом. Странник кинул быстрый взгляд в мою сторону, но тотчас отвернулся и подошел к калашнику. Лицо молодого парня сияло от удовольствия.

— А ловко ты их,— сказал он.— Уж именно что оканфузил. Вишь, у всех на макушках-те гуменца выстрижены... Черти горох молотили. Хо-хо-хо!

Парень залился веселым молодым смехом и принялся убирать с прилавка товар внутрь ларя.

Окончив это, он закрыл раздвижные дверцы и запер их на замок. Ларь был устроен удобно, в расчете на передвижение,— на колесиках и с нижним помещением. Парень, очевидно, намеревался ночевать тут же, у хозяйского добра.

— Одначе пора и на спокой,— сказал он, поглядев на небо.

На дворе и за воротами было тихо и пусто. На базаре тоже убирались с товаром. Парень покрестился на церковь и, открыв немного дверку, полез под ларь.

Вскоре оттуда показались его руки. Он старался изнутри приладить небольшую заслонку к отверстию.

Странник тоже оглянулся на небо, подумал несколько секунд и решительно подошел к ларю.

— Постой, Михайло! Я тебе, добрый человек, помогу.

Белец убрал руки и выглянул снизу вверх из своего убежища.

— Антон я,— сказал он простодушно.

— Ну, Антоша, давай помогу тебе.

— Ин помоги, спасибо скажу. Вишь, отседа трудно.

Простодушное лицо Антона скрылось.

— Убери-кось ноги-то маленько.

Антон исполнил и это распоряжение. Тогда странник спокойно отставил дверку, проворно наклонился, и я с удивлением увидел, как он быстро юркнул в отверстие. Началась возня: Антон двинул ногами, и часть страннической фигуры показалась было на мгновение наружи, но тотчас же втянулась опять.

Заинтересованный этим неожиданным оборотом, я почти инстинктивно подошел к ларю.

— А я закричу, пра, закричу,— услышал я оттуда гнусаво-жалобный голос Антона.— Вот ужó отцы опять накладут тебе в загорбок!

— А ты не кричи, Миша, зачем кричать? — убеждал странник.

— Какой я тебе Миша... говорю, меня Антоном кстили...

— В монашестве наречен будешь Михаилом. Помяни тогда мое слово... Тс-с-с! Тише, Антоша, помолчикось.

В ларе водворилось молчание.

— Чего? — спросил Антон.— Чего слухаешь?

— Слышь, стучит... Дождик ведь.

— Ну так что?.. Стучит... Закричать вот — отцы тебе лучше того настукают.

— Ну, что ты все заладил одно: закричу да закричу. А ты лучше не кричи. Что, я тебя съем, что ли? Я вот тебе еще про монашку сказку хорошую расскажу...

— Скрадешь, смотри, чего-нибудь.

— Грех тебе, Антоша, на странного человека клепать. Один-то калач и сам дашь. Не ел нынче — веришь ты богу...

— На вот, кусай черствый... Сам не съел...— И Антон зевнул с таким аппетитом, что всякая мысль о дальнейшем противодействии устранилась.

— А и ловко ты их, кулугуров-то, оканфузил,— добавил он, доканчивая аппетитный зевок,— уж это именно, что обличил.

— А отцов?

— Отцы на тебя плевать хотели... Обещал сказку сказать... Что ж не сказываешь?

— В некоторыем царстве, в некоторыем государстве,— начал странник,— в монастыре за каменной стеной жила-проживала, братец ты мой Антошенька, монашка... Уж такая проживала монашка-а, охохо-о-о...

— Ну...

— Ну, жила-проживала, сохла-горевала...

Молчание...

— Ну?.. Сказывай, что ли.

Опять молчание.

— Ну! Да ты что же? О ком горевала-то?..— приставал заинтересованный Антон.

— Ступай ты ко псу, что пристал! Что я тебе за сказочник дался! Чай, за день-то я тридцать верст отмахал. Об тебе, дураке, и горевала, вот о ком. Не мешай спать!

Антон испустил какой-то звук, выразивший крайнее изумление.

— Н-ну, и жох ты, посмотрю я на тебя,— сказал он с упреком.

— Право, лукавый,— послышалось еще через минуту тише и как-то печально...— Н-ну-у, лукавец... Эдакого лукавца я и не видывал...

В ларе все смолкло. Дождь все чаще стучал по наклонной крышке, земля почернела, лужи исчезали в темноте; монастырский сад шептал что-то, а здания за стеной беззащитно стояли под дождем, который журчал, стекая по водосточным трубам. Сторож за оградой стучал в промокшую трещотку.

II

На следующий день я с Андреем Ивановичем, товарищем многих моих путешествий, вышли в обратный путь. Шли мы не без приключений, ночевали в селе и оттуда опять тронулись не рано. Дорога совсем уже опустела от богомольцев, и трудно было представить себе, что по ней так еще недавно двигались толпы народа. Деревни имели будничный вид, в полях изредка белели фигуры работающих. В воздухе было душно и знойно.

Мой спутник, человек длинный, сухопарый и нервный, был сегодня нарочито мрачен и раздражителен. Это случалось с ним нередко под конец наших общих экскурсий. Но сегодня он был особенно не в духе и высказывал недовольство мною лично.

После полудня, в жару, мы уже совершенно надоели друг другу. Андрей Иванович почему-то считал нужным отдыхать без всякой причины в самых неудобных

местах или, наоборот, желал непременно идти дальше, когда я предлагал отдохнуть.

Так мы достигли мостика. Небольшая речка тихо струилась среди сырой зелени, шевеля по поверхности головками кувшинок. Речка вытекала изгибом и терялась за выступом берега, среди волнующихся нив.

— Отдохнем,— сказал я.

— Идти надо,— ответил Андрей Иванович.

Я сел на перила и закурил, а долговязая фигура Андрея Ивановича пронеслась дальше. Он поднялся на холмик и исчез.

Я наклонился к речке и задумался, считая себя совершенно одиноким, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и увидел на холме, под группою березок, двух человек. Лицо одного показалось мне совсем маленьким, почти детским. Оно тотчас же стыдливо скрылось за гребнем холмика, в траве. Другой был вчерашний проповедник. Лежа на земле, он спокойно смотрел на меня своими беззастенчивыми серыми глазами.

— Пожалуйте к нам, веселей вместе,— сказал он просто.

Я поднялся и с удивлением усмотрел ноги Андрея Ивановича из-за хлебов у дороги; он сидел невдалеке на меже, и дым его цигарки поднимался над колосьями. Сделав вид, что не заметил его, я подошел к странникам.

Тот, которого я принял за ребенка,— представлял из себя маленькое, тщедушное существо в полосатой ряске, с жидкими косицами около узкого желтого лица, с вытянувшимся по-птичьи носом. Он все запахивал свою хламиду, беспокоился, ерзал на месте и, видимо, стыдился собственного существования.

— Садитесь, гости будете,— предложил мне проповедник, слегка подвигаясь; но в это время долговязая фигура Андрея Ивановича, как тень Банко, поднялась над хлебами.

— Идем, что ли? — произнес он не особенно ласково, далеко швыряя окурок.

— Я посижу,— ответил я.

— С дармоедами, видно, веселее...— И Андрей Иванович кинул на меня взгляд, полный горечи, как будто желая вложить в мою душу сознание неуместности моего предпочтения.

— Веселее,— ответил я.

— Ну и наплевать. Счастливо оставаться в хорошей кампании.

Он нахлобучил шапку и широко шагнул вперед, но, пройдя немного, остановился и, обернувшись, сказал с негодованием:

— Не зовите никогда! Подлый человек — не пойду с вами больше. И не смейте звать! Отказываю.

— Звать или не звать — это дело мое... а идти или не идти — ваше.

— Сурьезный господин! — мотнул странник головой в сторону удаляющегося.

— Не одобряют нас,— как-то горестно не то вздохнул, не то пискнул маленький человечек.

— Не за что и одобрять, пожалуй,— равнодушно заметил проповедник и обратился ко мне: — Нет ли папиросочки, господин?

— Пожалуйста.

Я протянул ему портсигар. Он взял оттуда две папироски, одну закурил, а другую положил рядом. Маленький странник истолковал это обстоятельство в смысле, благоприятном для себя, и не совсем решительно потянулся за свободной папироской. Но проповедник совершенно спокойно убрал папиросу у него из-под руки и переложил ее на другую сторону. Маленький человечек сконфузился, опять что-то стыдливо пискнул и запахнулся халатом.

Я подал ему другую папироску. Это сконфузило его еще более — его худые прозрачные пальцы дрожали; он грустно и застенчиво улыбнулся.

— Не умею просить-с...— сказал он стыдливо.— Автономов и то меня началит, началит... Не могу-с...

— Кто это Автономов? — спросил я.

— Я это — Геннадий Автономов,— сказал проповедник, строго глядя на маленького сотоварища. Тот потупился под его взглядом и низко опустил желтое лицо. Жидкие косицы свесились и вздрагивали.

— По обещанию здоровья ходили или так? — спросил у меня Автономов.

— Так, из любопытства... А вы куда путешествуете?

Он посмотрел в пространство и ответил:

— В Париж и поближе, в Италию и далее...— И, заметив мое недоумение, прибавил: — Избаловался... шатаюсь беспутно, куда глаза глядят. Одиннадцать лет...

Он сказал это с оттенком грусти, тихо выпуская

табачный дым и следя глазами, как синие струйки таяли в воздухе. В лице его мелькнуло что-то новое, не замеченное мною прежде.

— Испорченная жизнь, синьор! Загубленное существование, достойное лучшей участи.

Грустная черта исчезла, и он докончил высокопарно, поводя в воздухе папиросой:

— И однако, милостивый государь, странник не согласится променять свою свободу на роскошные палаты.

В это время какая-то смелая маленькая пташка, пролетев над нашими головами, точно брошенный комок земли, уселась на нижней ветке березы и принялась чиликать, не обращая ни малейшего внимания на наше присутствие. Лицо маленького странника приподнялось и замерло в смешном умилении. Он шевелил в такт своими тонкими губами и при удачном окончании какого-нибудь колена поглядывал на нас торжествующими, смеющимися и слезящимися глазами.

— Ах, боже ты мой! — сказал он наконец, когда пташка, окончив песню, вспорхнула и улетела дальше.— Творение божие... Воспела, сколько ей было надо, воздала хвалу и улетела восвояси. Ах ты миляга!.. Ей-богу, право.

Он радостно посмотрел на нас, потом сконфузился, смолк и запахнул ряску, а Автономов сделал опять жест рукой и прибавил в поучительном тоне:

— Возрите на птицы небесные. И мы, синьор,— те же птицы. Не сеем, не жнем и в житницы не собираем...

— Вы учились в семинарии? — спросил я.

— Учился. А впрочем, об этом, синьор, много говорить, а мало, как говорится, слушать. Между тем что-то, как видится, затягивает горизонт облаками. Ну, Иван Иванович, вставай, товарищ, подымайся! Жребий странника — путь-дорога, а не отдохновение. Позвольте пожелать всякого благополучия.

Он кивнул головой и быстро пошел по дороге. Шагал он размашисто и ровно, упираясь длинным посохом и откидывая его с каждым шагом назад. Ветер развевал полы его рясы, спина с котомкой выгнулась, бородка клином торчала вперед. Казалось, вся эта обожженная солнцем, высушенная и обветрелая фигура создана для бедного русского простора с темными деревушками вдали и задумчиво набирающимися на небе тучами.

— Ученый! — грустно махнул головой Иван Ивано-

вич, подвязывая дрожащими руками котомку.— Умнейшая голова! Но между тем пропадает ничтожным образом, как и я же. На одной степени... Мы и странники-то с ним, господи прости, самые последние...

— Почему это?

— Помилуйте! Как же можно. Настоящий странник — у него котомка хорошая, подрясничек или кафтан, сапоги, например... одним словом — окопировка наблюдается во всяком, позвольте сказать, сословии. А мы! Чай, уж видите сами. Иду, иду, Геннадий Сергеевич, иду-с. Сию минуту!

Маленький человечек вскоре догнал на дороге своего товарища. Думая, что у них были свои причины не приглашать меня с собой, я посидел еще на холме, глядя, как из-за леса тихо, задумчиво и незаметно, точно крадучись, раскидывалось по небу большое облако, и затем поплелся один, с сожалением вспоминая об Андрее Ивановиче.

Было тихо, грустно. Колосья колыхались и сухо шуршали... Где-то очень далеко за лесами ворчал гром и по временам пролетала в воздухе крупная капля дождя.

Но угрозы были напрасны. Под вечер я подходил уже к деревне К., а дождя все еще не было, только туча все так же тихо надвигалась, нависала и ползла дальше, уменьшая дневной свет, и гром погромыхивал ближе.

III

К моему изумлению, на завалинке одной из крайних изб деревни я увидел Андрея Ивановича. Он сидел, протянув длинные ноги чуть не до середины улицы, и при моем приближении придал своему лицу выражение величавого пренебрежения.

— Что вы тут делаете, Андрей Иванович?

— Чай пил. Думаете, вас дожидался? Не воображайте. Пройдет туча — отправлюсь дальше.

— И отлично.

— А хваленые-то ваши...

— Кто это мои хваленые?..

— Странники-то, божьи люди... Полюбуйтесь, чего делают вон в соседней избе! Нет, вы посмотрите, ничего, не стыдитесь, пожалуйста...

Я подошел к окну. Изба была полна. Мужики из

этого села в это время все на промыслах, поэтому тут было одно женское население. Несколько молодок и девушек прошмыгнули еще мимо меня. Окна были открыты и освещены, и из них слышался ровный голос Автономова. Он поучал раскольниц.

— Пожалуйте к нам,— услышал я вдруг тихий голос Ивана Ивановича. Он стоял в темном углу у ворот.

— Что вы тут делаете?

— Народ обманывают. Чего делают,— резко отозвался Андрей Иванович.

Маленький странник закашлялся и, покосившись на Андрея Ивановича, сказал:

— Что делать-с, господин...

Он наклонился ко мне и зашептал:

— Раскольницы-бабы Геннадия Сергеевича за попа считают, за беглого. Темнота-с. Что делать-с... Может, не взыщется. А между прочим, нечего делать-с. Не войдете ли?

— Войдемте, Андрей Иванович.

— Чего я там не видал? — ответил он, отворачиваясь.— Идите — целуйтесь с ними. А я об себе так понимаю, что мне и быть-то там не для чего, потому что на мне крест.

— Чай, и мы не без крестов,— с тихим упреком сказал Иван Иванович.

Андрей Иванович презрительно свистнул и вдруг, сделав очень серьезное лицо, подозвал меня.

— Сонму нечестивую знаете?

И, загадочно посмотрев на меня, он добавил тише:

— Поняли?

— Нет, не понял. До свидания. Хотите — дожидайтесь.

— Нечего нам дожидаться. Которые люди не понимают...

Я уже не слышал конца фразы, потому что входил вместе с Иваном Ивановичем в избу.

При нашем входе произошло легкое движение. Проповедник заметил меня и остановился.

— А! Милости просим,— сказал он, раздвигая баб.— Пожалуйте. Не чайку ли захотели испить? Здесь самоварчик найдется, даром что раскольничья деревня.

— Я вам помешал?

— Какая помеха. Хозяйка, ну-ко самоварчик! Живее!

— А ты нешто потребляешь чайную травку? —

спросила стоявшая впереди полногрудая молодка с бойкими черными как уголь глазами.

— Если господин пожелает угостить — с удовольствием... и другого чего выпью...— сказал, глядя на меня, Автономов.

— Пожалуйста,— сказал я.

— Позвольте папиросочку.

Я подал. Он закурил, насмешливо оглядывая удивленных женщин. В избе прошло негодующее шушуканье.

— А ты, видно, сосешь-таки? — язвительно спросила та же молодка.

— Сосу... по писанию. Разрешается.

— А в коем это писании,— научи-кось.

Он докурил и через головы молодиц бросил папироску в лохань с водой.

— Еще кидатца,— с неудовольствием сказала хозяйка, возившаяся около самовара.

— Не кидай, озорной, пожару наделаешь,— поддержала другая.

— Пожару? У вас поэтому из колодцев не выкидывало ли, огнем из печи не тушите ли?

— А ты што думаешь? Ноне все быват. Ноне вон и попы табак жрут.

— Быват, быват. Ишь голос, что колокол. Тебе бы в певчие, в монастырь. Пойдем со мной.

Он потянулся к ней. Она ловко увернулась, изогнувшись красивым станом, между тем как другие бабы, смеясь и отплевываясь, выбегали из избы.

— Н-ну и поп! — с наивным ужасом сказала худая бабенка, с детски открытыми глазами.— Учи-и-тель!

— Он те научит.

— Научи-ко нас,— опять насмешливо сказала солдатка, выступая вперед и подпирая щеку полной рукой.— Научи такой заповеди, котора лёгка и милослива.

— Ну-ну! Мы за тебя до плеч воздохнем.

— И научу. А как тебя зовут, красавица?

— Зовут зовутицёй, величают серой утицёй. Тебе на што?

— А ты вот что, серая утица. Достань нам водочки, небось вот они заплатят.

— Достать, что ли? Мы достанем.

Она вопросительно и лукаво посмотрела на меня.

— Пожалуй... немного,— сказал я.

Солдатка шмыгнула из избы. За ней, смеясь, хихикая и толкаясь, выбежало еще две-три женщины. Хозяйка с мрачным видом уставила на стол самовар и, не говоря ни слова, села на лавку и принялась за работу. С полатей, свесивши русые головы, глядели на нас любопытные детские лица.

Солдатка, смеясь и запыхавшись, поставила на стол бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью и, отойдя от стола, насмешливо и вызывающе посмотрела на нас. Иван Иванович конфузливо кашлял, оставшиеся в избе безмужницы смотрели на нас с затаенным ожиданием. После первых рюмок недавний проповедник, подняв полы своей ряски, ходил, притопывая, вокруг серой утицы, которая змеей извивалась, уклоняясь от его любезностей.

— Поди ты! — отмахнулась она и, кинув на меня задорно-вызывающий взгляд, подошла к столу.

— А ты что же сам-то не пьешь? Гляди на них,— они, пожалуй, и все вылакают. Испей-кось.

Улыбаясь и играя плечами, она налила рюмку и поднесла мне.

— Не пейте...— вдруг раздался совсем неожиданно зловещий голос из-за окна, и из темноты появилось скуластое лицо Андрея Ивановича.— Водки не пейте, я вам говорю! — проговорил он еще мрачнее и опять исчез в темноте.

Рюмка у солдатки дрогнула и расплескалась. Она глядела в окно испуганными глазами.

— С нами крестная сила — это что такое?

Всем стало неловко. Водка приходила к концу, и вопрос состоял в том, потребуем ли мы еще и развернемся окончательно, или на этом кончим. Иван Иванович посмотрел на меня с робкой тоской, но у меня не было ни малейшего желания продолжать этот пир. Автономов сразу понял это.

— Действительно, не пора ли в путь,— сказал он, подходя к окну.

— Чать, на дворе-то дождик,— произнесла солдатка, глядя как-то в сторону.

— Нет. Облака порядочные... да, видно, сухие... Собирайся, Иван Иванович.

Мы стали собираться. Первым вышел Иван Иванович. Когда, за ним, я тоже спустился в темный крытый двор — он тихо сказал, взяв меня за руку:

— А тот-то, долговязый. Вон у ворот дожидается.

Я действительно разглядел Андрея Ивановича у калитки. Автономов с котомкой и своим посохом вышел на крыльцо, держа за руку солдатку. Обе фигуры виднелись в освещенных дверях. Солдатка не отнимала руки.

— Только от вас и было? — говорила она разочарованно.— Мы думали — разгуляетесь.

— Погоди, в другой раз пойду — разбогатею.

Она посмотрела на него и покачала головой.

— Где поди! Не разбогатеть тебе. Так пропадешь, пу́сто...

— Ну не каркай, ворона... Скажи лучше: дьячок Ириней все на погосте живет?

— Щуровской-то? Живет. Ноне на базар уехал. Тебе на што?

— Так. А... дочь у него была, Грунюшка.

— Взамуж она выдана.

— Далеко?

— В село в Воскресенское, за диаконом... Одна ноне старушка-те осталась.

— Ириней, говоришь, не возвращался?

— Не видали что-то.

— А живет богато?

— Ничего, ровненько живет.

— Ну прощай!.. Эх ты, Глаша-а!

— Ну-ну! Не звони... Видно, хороша Глаша, да не ваша. Ступай ужо́ — нечего тут понапрасну.

В голосе деревенской красавицы слышалось ласковое сожаление.

За воротами темная фигура Андрея Ивановича, отделившись от калитки, примкнула к нам, между тем как Автономов обогнал нас и пошел молча вперед.

— Вы бы до утра сидели,— угрюмо сказал Андрей Иванович.— А я тут дожидайся!

— Напрасно,— ответил я холодно.

— Это как понимать? В каком смысле?

— Да просто: шли бы, если вам неприятно...

— Нет уж. Спасибо на добром слове — я товарища покидать не согласен. Лучше сам пострадаю, а товарища не оставлю... Этак же в третьем годе Иван Анисимович. Ничего да ничего, выпивал да выпивал в хорошей канпании...

— Ну и что же?

— Жилетку сняли, вот что!.. Денег три рубля двадцать... портмонет новый...

— Ежели вы это насчет нас с Геннадием намек

имеете,— заговорил Иван Иванович, торопясь и взволнованным голосом,— то это довольно подло. Это что же-с?.. Ежели у вас сомнение — мы можем вперед или отстанем...

— Пожалуйста, не обращайте внимания,— сказал я, желая успокоить беднягу.

— Что такое? — спросил вдруг Автономов, остановившийся на дороге.— Из-за чего разговор?

— Да вот они все... сомневаются. Господи помилуй! Неужто мы какие-нибудь, прости господи, разбойники.

Геннадий вгляделся в темноте в лицо Андрея Ивановича.

— А! долговязый господин!.. Ну что ж! — сказал он сухо.— «Блажен, кто никому не верит и всех своим аршином мерит...» Дорога широкая...

И он опять быстро пошел вперед, а за ним побежал трусцой маленький товарищ. Андрей Иванович несколько секунд стоял на месте, ошеломленный тем, что странник ответил ему в рифму. Он было двинулся вдогонку, но я остановил его за руку.

— Что это вам неймется, право! — сказал я с досадой.

— А вам хороших товарищей жалко? — сказал он язвительно...— Не беспокойтесь, пожалуйста. Сами далеко не уйдут...

И действительно, за последними избами на дороге зачернела фигура. Это был Иван Иванович, но один...

Он стоял посередине дороги, тяжело дышал и кашлял, держась за грудь.

— Что это с вами? — спросил я с участием.

— Ох-хо! Смерть моя... Ушел... Геннадий-то... Не велит вместе идти... Велит с вами. Не поспеваю за ним.

— Сделайте одолжение. А дорогу вы знаете?

— Дорога пока большая. Да он где-нибудь догонит...

— Ну и отлично.

Мы пошли в темноту... Назади тявкнула собака; оглянувшись, я увидел два-три огня деревни, которая скоро скрылась из виду.

IV

Ночь была беззвездная, тихая. Горизонт еще выделялся где-то неясной чертой, блуждавшей под облаками, но ниже клубилась лишь густая мгла, бесконечная, неопределенная, без форм и очертаний...

Мы довольно долго шли молча. Странник то и дело робко вздыхал и старался подавить кашель.

— Автономова-то не видно...— говорил он по временам и беспомощно вглядывался в темную ночь.

— Мы-то его не видим... Он нас видит небось,— сказал Андрей Иванович зловеще и значительно.

Дорога казалась какой-то смутной полоской, точно мост, кинутый через пропасть... Все кругом было черно и смутно. Была или нет светлая полоска на горизонте? Теперь от нее нет и следов. Неужели так еще недавно мы были в шумной избе, среди смеха и говора?.. Будет ли конец этой ночи, этому полю? Подвинулись мы вперед, или это только дорога уходит у нас из-под ног, точно бесконечная лента, а мы все толчемся на месте, в этом заколдованном клочке темноты? И невольная робкая радость зарождалась в душе, когда впереди начинал вдруг тихо журчать невидимый ручей, когда это журчание усиливалось и потом замирало сзади, за нами, или ветер, внезапно поднявшись, шевелил чуть заметные кусты ивняка в стороне от дороги и потом опадал, указывая, что мы их миновали...

— Ну и ночка выдалась,— сказал Андрей Иванович, против своего обыкновения, тихо.— Дурак и тот, кого в этакие ночи нелегкая носит по дорогам. И чего, спрашивается, нужно нам? Поработал день, отдохнул, чаю попил, богу помолился — спать. Нет, не нравится, вишь... давай по дорогам шататься. Это нам благоприятнее. Ноне вот уж чуть не полночи, а мы и лба не перекрестили. Молельщики!..

Я не ответил. В голове Андрея Ивановича, очевидно, продолжали тянуться покаянные мысли.

— Мало нас бабы учут,— сказал он мрачно...— Не живется нам дома. А чего бы, кажись, и надо...

— А что, Автономова-то не видно? — раздался опять тоскливый голос маленького странника.

— Нет, не видать,— буркнул Андрей Иванович.

— Беда моя,— сказал странник в глубокой тоске.— Бросил меня мой покровитель.

В его голосе было столько отчаяния, что мы оба невольно стали глядеть вперед, стараясь разыскать потерянного Автономова. Вдруг, довольно далеко в стороне, что-то стукнуло — точно доска на дырявом мостике под чьей-то ногой.

— Там он! — сказал Андрей Иванович.— Влево пошел. Надо полагать, дорога повернула.

Действительно, невдалеке дорога раздвоилась. Мы тоже пошли влево. Иван Иванович вздохнул с облегчением.

— Да что ты сокрушаешься? — спросил Андрей Иванович.— Что он тебе, брат, что ли? Вот невидаль, с позволения сказать...

— Пуще брата. Без него должен пропасть: потому, собственно, просить не умею. А в нашем состоянии без этого — прямо погибель...

— Зачем же таскаешься?

Странник помолчал, как будто ему трудно было ответить на вопрос.

— Приюту ищу. Куда-нибудь в монастырь... С младых лет приважен к монастырской жизни.

— Так и жил бы в монастыре.

— Слабость имею...— чуть слышно и застенчиво сказал Иван Иванович...

— Пьешь небось горькую...

— То-то вот. Испорчен с младых лет.

— Порча!.. Все небось бес виноват...

— Бес, говорите... Оно конечно... Прежде, когда в народе крепость была... *ему* много работы было: который, например, скажем, подвижник неослабного житья... Въяве с бесами состязались... А ныне слабость наша... Нынче такая в народе преклонность.

— Д-да...— согласился Андрей Иванович.— Нынче уж и нечистому много легче... Житье ему с нами, ей-богу. Лежи, миляга, на печке... Сами к тебе придем, друг друга приведем... Принимай только...

Странник глубоко вздохнул...

— Ах, как вы это верно говорите!..— сказал он печально.— Вот о себе скажу,— зашептал он, будто не желая, чтобы его слова слышал кто-то там, в темноте ночи, в стороне от дороги,— от кого погибаю? От родной матери да от отца-настоятеля.

— Ну-у? — изумился Андрей Иванович, тоже тихо.

— Верно!.. Грешно, конечно, родительницу-покойницу осуждать, царствие ей небесное (он снял шляпенку и перекрестился), а все думаю: отдай она меня в ремесло — может, человек был бы, как и прочие... Нет. Легкого хлеба своему дитяти захотела, прости ее господи...

— Ну, ну? — поощрил Андрей Иванович.

— Именно-с...— продолжал Иван Иванович печально,— в прежние времена, пишут вот в книгах, родители

всячески противились, отроки тайно в кельи уходили для подвига... А моя родительница сама своими руками меня в монастырь предоставила: может, дескать, даже во дьячки произойти.

— Так, так!

— А прежде, надо вам сказать, подлинно было это, производили из монастырей во псаломщики и далее... только к моему-то времени и отменили!

— Вот-те и чин!

— Да!.. Вот матушка опять: «Оставайся, когда так, в монастыре вовсе... Дескать, и то хлеб легкий. Притом и настоятель тебя любит...» Ну, это правда: возлюбил меня отец-настоятель, к себе в послушники взял. Но только ежели человеку незадача, то счастие на несчастие обернется. Воистину скажу: нет от диавольского искушения-с... через ангела погибаю...

— Что ты говоришь! — удивился Андрей Иванович.

— Истинную правду... Настоятель у нас был добрейшей души человек, незлобивый, и притом строгой жизни... Ну, только имел тайную слабость: от времени до времени запивал. Тихо, благородно. Запрется от всех и пьет дня три и четыре. Не больше. И потом сразу бросит... Твердый был человек... Но, однако... в таком своем состоянии... скучал. И потому призовет меня и говорит: «Прискорбна душа моя... Возьми, Ваня, подвиг послушания. Побудь ты, младенец невинный, со мною, окаянным грешником». Ну, я, бывало, и сижу слушаю, как он, в слабости своей, говорит с кем-то и плачет... Дело мое, конечно, слабое: когда не возмогу и засну. Вот он раз и говорит: «Выпей, Ваня, для ободрения.— И налил рюмочку наливки...— Только, говорит, поклянись, что без меня никогда не станешь пить, ниже единой...»

— Вот оно что-о-о? — протянул Андрей Иванович многозначительно.

— Я, конечно, поклялся. И налил он мне рюмочку наливки... Так и пошло. Сначала понемножку, а потом... Отец-настоятель мощный был человек: сколько, бывало, ни пьет, все крепок. А я, известно... с трех-четырех рюмок — с ног долой... Спохватился он и запретил мне великим прещением. Ну, да уж поздно. При нем не пью, а ключи-то от шкапа у меня... Стал я тайным образом потягивать... Дальше да больше... Уж иной раз и на ногах не стою. Он сначала думал — это я от прежнего похмелья, по слабости своей, маюсь. Но однажды посмотрел на меня проницательно и говорит: «Ванюша...

хочешь рюмочку?..» Я так и затресся весь от вожделения. Догадался он. Взял посох, сгреб меня за волосы и поучил с рассуждением... Здоровый был, боялся изувечить... Ну, это не помогло. Дальше да больше... Видит он, что я от его слабости погибаю... Призывает меня и говорит: «Прости ты меня, Ванюшка, но нужно тебе искус пройти. Иначе погибнешь... Иди, постранствуй... Примешь горя, может исцелишься. Я тут о тебе буду молиться... А через год, говорит, в это самое число приходи обратно... Приму тя, яко блудного сына...» Благословил. Заплакал. Призвал руфального... Это значит — заведующего монашеской одежей... Велел снарядить меня на дорогу... Сам напутственный молебен отслужил... И пошел я, раб божий, августа двадцать девятого, в день усекновения главы, на подвиг странствия...

Рассказчик опять замолчал, переводя дух и кашляя. Андрей Иванович участливо остановился, и мы втроем стояли на темной дороге. Наконец Иван Иванович отдышался, и мы опять тронулись дальше...

— Вот и ходил я лето и зиму. Тяжело было, горя принял — и-и! в разные монастыри толкался. Где я не ко двору, где и мне не по характеру. Наш монастырь — штатный, богатый, привык я к сладкой жизни. А после-то уж в штатный не принимали, а в общежительном, Кирилло-Новоезерском, и приняли, так и самому черно показалось: чаю мало, табачку и вовсе нет; монахи — одни мужики... Послушание тяжелое, работа черная...

— А ведь это не любо, после легкой жизни,— сказал Андрей Иванович.

— Истинно говорю: не под силу вовсе,— смиренно вздохнул Иван Иванович.— Бремена неудобносимые... Притом и святость в черном виде. Благолепия нет... Народу много, а на клиросе петь некому... Истинно козлогласование одно...

— А тут-то вот святость и есть! — сказал Андрей Иванович с убеждением.

— Нет, позвольте вам сказать,— не менее убежденно возразил Иван Иванович,— это вы не так говорите... Монастырское благолепие не в том-с... Монах должен быть истонченный, головка у него что былинка на стебельке... еле держится... Это есть украшение обители... Ну, таких малое число. А рядовой монах бывает гладкий, с лица чистый, голос бархатный. Таких и благодетели, и женский пол уважают. А мужику, позвольте сказать, ни в коем звании почета нет...

— Ну ладно... Что же дальше-то? — сказал Андрей Иванович, немного сбитый с толку уверенным заявлением компетентного человека.

— Да что дальше! — с грустью сказал странник...— Ходил я год. Отощал, обносился... Пуще всего страдаю от совести, просить не умею... Ждал, ждал этого сроку — вот домой, вот домой, в свою келийку. Про отца-настоятеля уж именно как про отца родного вспоминал, за любовь за его. Наконец как раз августа двадцать девятого прихожу. Вхожу, знаете, во двор, и что-то у меня сердце смущается. Идут по двору служки наши монастырские... Узнали... «Что, мол, вернулся, странниче Иоанне?» — «Вернулся, говорю. Жив ли благодетель мой?..» — «Опоздал ты, говорят, благодетеля давно схоронили. Сподобился: с воскресным тропарем отыде. Вспоминал про тебя, плакал... хотел наградить... А теперь новый настоятель... Варвар. И не являйся». А что,— опять спохватился он тревожно.— Автономова-то не видно?

И в его голосе слышались испуг и тоска.

V

Андрей Иванович вгляделся в темноту и вдруг, схватив меня за руку, сказал:

— Постойте, не туда пошли мы...

— Что такое?

— Да уж верно я говорю: не туда!.. Подождите меня... Я сбегаю посмотрю...

И он быстро исчез в темноте. Мы с Иваном Ивановичем остались одни на дороге. Когда шаги сапожника стихли, слышался только тихий шорох ночи. Где-то шелестела трава, по временам коростель хрипло «дергал», тревожно перебегая с места на место. Где-то еще, очень далеко, мечтательно звенели и ухали в болоте лягушки. Тучи, чуть видные, тянулись в вышине.

— Вот... любит мой товарищ ходить по ночам,— жалобно произнес Иван Иванович.— А что хорошего? То ли дело днем?

— А он тоже в монастыре был?

— Бывал,— ответил Иван Иванович и потом прибавил со вздохом: — Из хорошей семьи — отец диаконом был в городе N-м. Может, слыхали... Брат письмоводителем в полицейском правлении, невеста была сосватана...

— Отчего же не женился?

— Видите ли... Он уж в это время сбился с пути... был в бегах... Ну, только еще не на странницком положении. Одежонка была, не обносился... И выдал себя будто за жениха. Приняли; девица взирала благосклонно, отец дьячок тоже не препятствовал... Ох... хо... Грех, конечно... обманул... Как начнет иной раз рассказывать, заплачешь, а другой раз смешно-с...

С Иваном Ивановичем случилось что-то странное. Он прыснул и стал как-то захлебываться, закрывая рукою рот... Сначала трудно было разобрать, что это смех. Но это был действительно смех... истерический, застенчивый, какими-то взрывами, который перешел в приступ кашля... Успокоившись, Иван Иванович прибавил с полусожалением:

— Только рассказывает каждый раз по-иному-с... Не поймешь: не то правда... не то...

— Не то врет?

— Не то чтобы... А только не вполне достоверно... Есть, видно, и правда...

— Что же именно он рассказывает?

— Видите ли... Дьячок-то, говорит, хитрый. Видит, что молодой человек проводит время, а между тем настоящего дела не предпринимает, он — под видом базару — поехал в город, а в дому старушку бабушку оставил, приказал строго-настрого с глаз не спускать. Автономов — не у них, конечно, жил... На селе у просвирни... Ну, в гости захаживал. Каждодневно... На бережку сиживали... И бабушка тут... Да где же, конечно, уследить... Молодежь... Только раз, видит мой Автономов, едут из города двое в телеге... и пьяные притом. Подъехали, глядь, а это дьячок да с братом с Автономовым-старшим, с письмоводителем. Не успел он и оглянуться — уж они на него навалились, давай тузить. Понятное дело: брат обижается за побег из семинарии, дьячок — за обманутие и бесчестие...

Иван Иванович вздохнул.

— Еле жив тогда остался, говорит... Потому что ожесточившись и притом пьяные... Бросился к просвирне, схватил котомку да в лес... С тех пор, говорит, и пошел странствовать... Ну, другой раз действительно... иначе рассказывает...

Он подошел ко мне и, приподнявшись на цыпочки, хотел сказать что-то особенно конфиденциальное... Но вдруг около нас, прямо из темноты, вынырнула фигура

Андрея Ивановича. Он подошел быстро с нарочито зловещим видом.

— Подите-ка сюда.— Он отвел меня в сторону и сказал тихо: — Попали мы с вами в дело!

— Что такое?

— Автономов-то этот... Монах... На воровство, кажется, пошел... Будет нам в чужом пиру похмелье...

— Полноте, Андрей Иванович.

— Вот вам и полно. Слыхали вы, как он в селе допрашивал? У солдатки-то? Про дьячка-то? Дескать, дьячок дома ли, или уехал?

— Ну, помню.

— А где этот дьячок-то живет, помните?

— На погосте, кажется.

— Самый погост! — сказал Андрей Иванович злорадно, махнув рукой вперед, в темноту.

— Ну, так что же?

— А то, что... Старуха, слыхали вы, одна осталась... А он уж тут как тут... Ходит кругом двора, высматривает. Сами увидите... Вот вы на кого товарища давнего променять согласны... Кабы на мостике да не доска под ним скрипнула — мы бы тогда и пошли дальше дорогой... А уж это я своротил... Пойдем, пойдем тихонько...

Сзади кто-то жалобно кашлянул. Андрей Иванович оглянулся и сказал:

— Ну, иди и ты с нами, настоятельский послушник... Что с тобой делать. Полюбуйся на товарища...

Пройдя через мостик, мы поднялись круто по дорожке и подошли к погосту. На пригорке из-за листвы ровно светил огонек... Я разглядел чуть белевшие стены небольшого домика, выдвинувшегося на край обрыва, и из-за его крыши грузно вырезались темные очертания колокольни. Вправо, внизу, скорее можно было угадать, чем увидеть речку.

— Вот он,— сказал Андрей Иванович.— Видите?

Невдалеке от нас, между палисадником и обрывом, около беседки, обвитой зеленью, мелькнула фигура. Человек точно прилипал и жался к забору, заглядывая через кусты. На фоне светлого окна, в глубине садика, я увидел острую мурмолку, вытянутую шею и характерный профиль Автономова. Свет рассыпался по листьям кустов и по цветам сирени. Подойдя несколько ближе, я разглядел в окне голову старухи, в чепце и роговых очках. Голова покачивалась, как у человека, работаю-

щего от бессонницы, и спицы проворно бегали в руках. Старуха, вероятно, ждала возвращения хозяина.

Вдруг она насторожилась... Из темноты послышался нерешительный оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Старушка наклонилась к окну, но никого не было видно.

Прошла минута в молчании, и опять из темноты раздался тот же оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Я не узнавал теперь голоса Автономова. Он звучал мягко и робко.

— Кто тут? — встрепенулась вдруг старуха.— Кто меня зовет?..

— Я это... Автономова не припомните ли?.. Когда-то были знакомы...

— Какого тебе, батюшка, Автономова... Нет у нас такого... Не знаю я... Я, батюшка, сейчас людей позову. Федосья, а Федосья!.. Беги сюда...

— Не зовите, матушка... я вас не побеспокою... Неужто Автономова забыли?.. Генашей звали когда-то...

Старуха поднялась с места и, взяв свечу, высунулась с нею из окна. Ветра не было. Пламя стояло ровно, освещая кусты, стены дома и морщинистое лицо старухи с очками, поднятыми на лоб...

— Голос-то будто знакомый... Да где ж ты это?.. Покажись, когда добрый человек...

Она подняла свечу над головой, и луч света упал на Автономова. Старуха сначала отшатнулась, но... В это время дверь открылась, и в комнату вошла другая женщина. Старуха ободрилась и опять осветила Автономова...

— Хорош,— сказала она безжалостно...— Женишок, нечего сказать... Зачем же это ты тут под окнами шатаешься?..

— Мимоходом, Олимпиада Николаевна...

— Мимоходом, так и шел бы мимо... Смотри, хозяин вернется, собак спустит.

Она захлопнула окно и спустила занавеску... Кусты сразу погасли... Фигура Автономова исчезла в темноте.

Нам тоже не мешало подумать об отступлении, и мы быстро спустились с пригорка... Через несколько минут с колокольни послышались удары... Кто-то, по-видимому, хотел показать, что на погосте есть люди...

Андрей Иванович шел молча и в раздумье. Иван

Иванович бежал, задыхаясь, вприпрыжку и сдерживая приступы кашля... Когда мы удалились на порядочное расстояние, он остановился и опять произнес с невыразимой тоской:

— Автономова-то потеряли...

В его голосе слышалось такое отчаяние, что мы с Андреем Ивановичем приняли в нем невольное участие и, остановившись на дороге, стали тоже вглядываться в темноту.

— Идет,— сказал Андрей Иванович, обладавший чисто рысьими глазами...

И действительно, вскоре сзади на нас стала надвигаться странная фигура, точно движущийся куст. За поясом, на плечах и в руках у Автономова были целые пучки сирени, и даже мурмолка вся была утыкана цветами. Поравнявшись с нами, он не задержался и не выразил ни радости, ни удивления. Он шел дальше по дороге, и ветки странно качались кругом него на ходу.

— Хорошо идти ночью, синьор,— заговорил он напыщенно, точно актер.— Поля одеты мраком... А вот в сторонке и роща... Смотрите, что за покой за такой! И соловей заводит песню...

Он говорил, точно декламируя, но в его голосе все-таки слышались ноты растроганности...

— Не угодно ли, синьор, ветку из моего садика?..

И театральным жестом он протянул мне ветку сирени...

В стороне от дороги робко и нерешительно щелкнул соловей. Откуда-то издалека, в ответ на звон с погоста, медленно понесся ответный звон и звуки трещотки... Где-то на темной равнине лаяли собаки... Ночь сгущалась, начинало пахнуть дождем...

— Жаль,— развязно заговорил вдруг Автономов.— Я вот тут отлучался, к погосту... Знакомый у меня на этом погосте живет, приятель... Был бы дома — всем нам был бы ночлег и угощение... Старуха звала ночевать... да что... без хозяина...

Иван Иванович поперхнулся. Сапожник иронически фыркнул...

Автономов, вероятно, догадался, что мы видели несколько больше, чем он думает, и, обратясь ко мне, сказал:

— Не судите, синьор, да не судимы будете... Чужая душа, синьор, потемки... Когда-нибудь,— прибавил он

решительно,— поверьте, я все-таки побываю в этом месте... И буду принят... И тогда...

— Что же тогда?

— Ах... было бы только чем угостить... Напьемся мы тут до потери образа... И учиню я тогда над ним безобразие...

— А это зачем?

— Так! Сравнялось бы для меня это место с другими. А то все еще, синьор, за душу тянет... Прошлое-с...

И он пошел вперед быстрее...

Мы миновали стороной небольшую деревнюшку и поравнялись с последней избой. Маленькие окна слепо глядели в темное поле... В избе все спали...

Автономов вдруг направился к окну и резко постучал в раму... За стеклом неясно мелькнуло чье-то лицо.

— Кто там? — послышался глухой голос, и испуганное лицо прилипло изнутри к оконнице...— Кого по ночам носит?

—Ши-ши-и-и-га,— крикнул Автономов протяжно, резко и зловеще и наклонил к окну голову, убранную ветками... Лицо за окном испуганно исчезло... На деревне залаяли собаки, сторож застучал в трещотку, темный простор, казалось, робко насторожился... И опять где-то, невидимые во мгле, заговорили протяжными звонами спящие церкви, как будто защищая мирный простор от чего-то неведомого и зловещего. Точно зачуяв, что где-то над ними проносятся с угрозой чьи-то темные, чьи-то безнадежно испорченные жизни...

VI

Более часу мы шли опять темными полями. Усталость брала свое; не хотелось ни говорить, ни слушать. Вначале я еще думал и старался представить себе в этой тьме физиономии моих спутников. Это удавалось относительно Андрея Ивановича, которого я знал хорошо, и относительно маленького странника, но физиономию Автономова я забыл и, глядя теперь на его темную фигуру, не мог восстановить его лица... Автономов у дьячковой избы и вчерашний проповедник казались мне двумя различными людьми.

Потом мысли мои все более путались; несколько дней уже на ногах... глухая ночь, тишина, тяжелая перепаханная дорога, или, вернее, бездорожье,— все это сказа-

лось сильной усталостью, и я стал забываться на ходу. Это было какое-то полусознание, допускавшее фантастические грезы, которые витали в бесформенной тьме, странно переплетаясь с действительностью. А действительность для меня вся была темная муть и три туманные фигуры, то остававшиеся позади, то обгонявшие меня на дороге... Я следовал за ними совершенно почти бессознательно.

Когда я как-то очнулся — они стояли на дороге и о чем-то спорили.

— Разуй глаза-то,— говорил сапожник сердито, но вяло.

— Спасибо, что вразумили,— я бы и не догадался,— ответил странник.— Не знаете ли уж кстати, синьор, как отсюда выйти на дорогу?..

Я лениво вгляделся в темноту. Громадный черный ветряк поднял над нами крылья, терявшиеся где-то высоко в облаках; за ним по бокам, назади, виднелись другие. Казалось, все поле усеяно мельничными крыльями, поднятыми кверху с безмолвной угрозой...

— Всю ночь теперь проплутал из-за этого дьявола,— со злостью сказал Андрей Иванович.

— Ну-ко, помолчите маленько, долговязый синьор,— сказал Автономов.— Слышите?

— Толчея, что ли? — сказал Андрей Иванович вопросительно...

— Верно,— ответил Автономов весело.— Колеса это работают. Эх, и речушка же резвая!

— Далеко это?..

— По дороге далеко. А мы прямиком.

— В болото, смотри, заведешь, дьявол...

Ноги опять несли меня куда-то в темноту за тремя темными фигурами. Я спотыкался на пашне или по кочкам, меня кидало то вперед, то в сторону... Если бы на пути встретился овраг или река — я, вероятно, очнулся бы только на дне... По временам странные обрывки сновидений вспархивали и улетали из головы в неопределенную мглу...

Наконец меня перестало кидать по кочкам. Под ногами чувствовалась ровная дорога, а в ушах ровный, приятный шум. Вода струилась, звенела, бежала куда-то, плескалась и бурлила, рассказывая о чем-то очень занимательном, но слишком смутном... потом шум остался позади, но вдруг он стал сильнее, как будто вода прорвала плотину... Я совсем очнулся и оглянулся с

удивлением... Сзади меня догнал Андрей Иванович и, взяв за руку, потащил вперед...

— Проснитесь... будет вам спать-то на ходу... Вот связались мы с дьяволом, прости господи!.. Выскочат мужики, шеи нам наломают... Скорее, скорее... Вишь, Иван-то Иваныч дерет, ряску подобрал...

Действительно, маленький странник пробежал мимо нас с удивившей меня быстротой...

— Сюда... сюда...

Не отдавая себе еще полного отчета в происходящем, я очутился под прикрытием густых ветл на берегу речки. Рядом Иван Иванович тяжело переводил дух... Автономова не было. Невдалеке мельница точно взбесилась. Вода ревела и бурлила в открытые шлюзы. Одно колесо тяжело ворочалось по-прежнему, другое, вероятно удержанное запором, трещало и стонало под ударами воды. Цепная собака рвалась на цепи и выла от злости.

В мельнице вспыхнуло оконце, точно она проснулась и открыла глаз. Скрипнула дверь, и старый мельник, в белой рубахе и портах, вышел с фонарем на помост. За ним, почесываясь и зевая, показался другой.

— Плотину, что ли, прорвало?—сказал он.

— Где прорвало — слышь, в шлюзах шумит, не сломало ли затворы... Неладно, гляди... Ах, батюшки...

— Гляди-ка: ведь поднято.

— Что ты! Кому подымать?

Мужики подошли к шлюзам. Вскоре шум затих: они опустили оба затвора, и мельница смолкла. Огонь фонаря тихо прополз назад по плотине и опять исчез. И вдруг резко загремела трещотка. Один мужик, очевидно, остался караулить...

Необычный шум на мельнице, разносясь по полям, опять будил спящие деревни. Казалось даже удивительным, сколько их засело в этой темноте. С разных сторон, спереди, сзади, даже откуда-то снизу, они отвечали на тревогу стуком досок и трещоток. Из дальнего села или с погоста опять несся медленный звон. Невдалеке крикнула какая-то ночная птица.

— Пойдем,— сказал Андрей Иванович, когда около мельницы все стихло...— Вот из-за одного подлеца сколько тревоги народу.

— Что это случилось? — спросил я.

— Спросите вот у него,— со злостью сказал сапожник, указывая на Ивана Ивановича.

— Что же-с,— грустно ответил странник.— Конечно, озорство... Я этого не похвалю...

— Да в чем дело? Где Автономов?

— Вот он — по-птичьи кричит, признак нам подает... Сюда, дескать, идите, милые мои товарищи... И как он, подлец, шлюзу успел открыть — я и не заметил. А вы тоже!.. Идете за ним да спите. Поспали бы еще... Выскочили бы мужики раньше — были бы у праздника. Н-ну! Догоню подлеца, уж вы и не заступайтесь. Наизнанку каналью выверну, ноги через глотку продену!..

И он решительно двинулся вперед.

VII

Однако Андрей Иванович не привел в исполнение своих свирепых намерений, и через полчаса мы опять молча шагали по дороге... Солнце еще не всходило, но белые молочные тоны все больше просачивались сверху, сквозь облака, а внизу под нашими ногами на далекое расстояние волновался беловатый туман, покрывший обширную равнину. Из этого тумана вынырнула лошадиная морда, потом обозначилась телега с мешками, на которых спал мужик, и за ней другая, порожняя.

— Дядя, а дядя...— сказал Андрей Иванович заднему мужику,— не подвезешь ли нас?

Мужик протер заспанные глаза и с удивлением оглядывал обступившую его компанию.

— Откеда бог несет?

— С богомолья.

— Ну, ну. Садитесь — да ведь недалече подвезу я, мы ближние.

— Не с мельницы ли?

— Они вот были на мельнице, а я, вишь, порожнем. Садитесь, что ли.

Мы уселись по сторонам телеги, свесив ноги.

— А дозвольте спросить,— сказал наш возница, нахлестав лошаденку,— вы всю ночь, что ли, идете?

— Всю ночь.

— Ничего не слыхали ночью?

— Собаки что-то лаяли, да только далеко. А что?

— Так! На мельнице, слышь, затворы ночью подняло. Колеса чуть не поломало вовсе.

— Кто поднял?

— Понимай! Кто ночью-то у омутов озорует?.. У нас

в деревнюшке по суседству, сказывают, на ночлег просился. Мужик выглянул, а *он* и говорит: шишига я, пусти.

— Бывает,— сказал Автономов, давно сбросивший свои украшения...

— Никогда этого не бывает... Не поверю ни в жизнь... И тебе не приказываю верить,— горячо и решительно сказал мужику Андрей Иванович,— обманывают вас, деревенских, прохвосты разные... Простота ваша...

— Бывают, которые и в бога и во святых не верют,— сказал Автономов в высшей степени поучительно и хладнокровно.

Андрей Иванович скрипнул зубами и незаметно для мужика показал Автономову кулак.

VIII

Около полудня на такой же случайно встреченной под самым городом мужицкой телеге мы подъехали к моей квартире. Телега остановилась у ворот. Наша живописная компания обратила внимание нескольких прохожих, что, видимо, стесняло Андрея Ивановича... Я пригласил своих товарищей отдохнуть у меня и напиться чаю.

— Спасибо, до дому недалече,— холодно ответил сапожник, вскидывая за плечо котомку, и потом спросил бесцеремонно, ткнув пальцем по направлению Автономова: — И этого тоже зовете?

— Да, прошу и Геннадия Сергеевича,— ответил я.

Андрей Иванович круто повернулся и, не прощаясь, зашагал по улице.

Иван Иванович имел отчаянно-испуганный вид, точно мое приглашение захлопнуло его, как западня птицу. Он смотрел умоляющим взглядом на Автономова, и стыд собственного существования мучительно сказывался во всей фигуре. Автономов спросил просто:

— Куда идти-то?..

Пока ставили самовар, я попросил домашних собрать сколько было лишней одежды и белья и предложил моим спутникам переодеться. Автономов легко согласился, свернул все в один узел и сказал:

— Потому надо в баню...

Я, разумеется, не возражал. Из бани оба странника вернулись преображенными. Иван Иванович в слишком

широком пиджаке и слишком длинных брюках, со своими жидкими косицами, удивительно походил на переодетую женщину. Что касается Автономова, то он не удовольствовался необходимым количеством одежды, а надел все, что было предложено для выбора. Таким образом на нем оказалась синяя косоворотка, блуза, два жилета и пиджак. Косоворотка виднелась над воротом блузы и внизу, так как она была длиннее. Над нею выступали края блузы, а пиджак составлял как бы третий ярус... За чайным столом Иван Иванович страдал до такой степени, что из жалости мы разрешили ему удалиться со своей чашкой в кухню, где он уселся в уголку и немедленно приобрел жалостные симпатии нашей кухарки. Автономов держался развязно, называл мою мать синьорой и схватывался с места при всяком случае, чтобы чем-нибудь услужить...

После чаю он самодовольно огляделся с ног до головы в зеркало и сказал:

— В эдаком костюме зять мною не пренебрежет... Пойду навестить сестру... Она тут живет недалечко. Котомочку позвольте, синьора, оставить у вас в передней.

Когда он шел через двор к воротам, за ним испуганно выбежал Иван Иванович. После короткого разговора Автономов позволил бедняге следовать за ним на некотором расстоянии.

Через короткое время Иван Иванович вернулся один... Птичье лицо его сияло изумлением и восторгом.

— Приняли-с,— сказал он, радостно захлебываясь.— Истинная правда-с. Действительно-с... сестра, настоящая. И зять... Может, угодно вам самим пройти, будто ненарочно... Сами увидите-с... Истинный бог: в палисадничке сидят... Угощают... по-родственному. Сестра плачет от радости...

И из груди маленького странника понеслись странные звуки, похожие и на истерический смех, и на плач.

Через час явился и Автономов, преображенный и торжественный. Подойдя ко мне, он горячо схватил мою руку и до боли сжал ее...

— Через вас я приобрел опять родных... Кажется... то есть вот! До гроба...

Он еще крепче сжал мою руку, потом судорожно отбросил ее и отвернулся. Оказалось, что, поверив преображению Автономова, зять, человек не без влияния

в консистории, решил похлопотать о нем. Оставалось только добыть из Углича какие-то бумаги и...

— И сюда, обратно! Кончено странствие, синьор... И тебя, Ваня, не оставлю... Получишь у меня угол и пищу... Живи... Я в должность... Ты уберешь квартиру, то... другое...

Я слушал эти разговоры, и невольное сомнение закрадывалось в душу, тем более что Автономов опять вернулся к высокопарному стилю и все чаще употреблял слово синьор...

Перед вечером оба ушли «в Углич, за бумагами». Автономов дал торжественное обещание явиться через неделю «для начатия новой жизни»...

«Неужто для этого «чуда» нужно было так немного?» — с большим сомнением думал я...

IX

Погода круто изменилась... Чудесная ранняя весна, казалось, сменилась вдруг поздней холодной осенью... Дождь лил целые дни, и ветер метался среди ливня и туманов.

В одно такое холодное утро, проснувшись довольно поздно и стараясь сообразить время, я услышал легкую возню и странный писк в сенях у дверей. Открыв их, я увидел в темном углу что-то живое. Увы! это был Иван Иванович. Он весь издрог, посинел и смотрел на меня умоляющими, робкими глазами. Так смотрит только запуганное и близкое к гибели животное.

— Слабость опять? — спросил я кратко.

— Слабость,— ответил он покорно и кротко, стараясь запахнуться. На нем была опять невозможная хламида, голова была не покрыта, а на ногах лапти на босу ногу...

Вскоре явился и Автономов. Он был пьян и неприятно развязен. Говорил изысканными высокопарными оборотами, держался как давний приятель, и по временам в воспоминания о наших похождениях вставлял пикантные намеки относительно некоей солдатки... В глазах проступало злое страдание, по которому я опять узнавал оратора монастырского двора и готовность на злые дерзости. О визите к сестре не было и речи...

— Послушай... Любезная...— обратился он к при-

слуге.— Тот раз я тут у вас оставил хламидку... Хламидка еще годится... Несчастлив ваш подарок,— прибавил он, нагло глядя на меня...— Под Угличем ограбили нас... все как есть сняли. А валенками вас, видно, надул торговец... Кислый товар, кислый... все развалились...

И он снисходительно потрепал меня по плечу...

Иван Иванович с жалобной укоризной смотрел на своего покровителя. Расстались мы довольно холодно, и только на Ивана Ивановича все у нас смотрели с искренним сочувствием и жалостью...

После этого от времени до времени я получал известия о своих случайных спутниках. Приносили их по большей части люди в хламидах и подрясниках и с более или менее явственными признаками «слабости» передавали поклоны или записки и, получив малую мзду, выражали разочарование. Однажды во время ярмарки ввалился субъект, совершенно пьяный, очень зловещего вида, который подал записку с такой таинственной фамильярностью, точно она была от нашего общего друга и сообщника.

В записке было нацарапано очень нетвердым и неровным почерком:

«Милый друг. Прими сего подателя, яко меня лично. Он наш и может тебе все рассказать, а между прочим помоги деньгами и одежой. Наипаче бедствует брюками... Геннадий Автономов».

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что посланный действительно брюками бедствовал очень сильно... Но, несмотря на опьянение, глаза его быстро и пытливо, очевидно, по профессиональной привычке, изучали обстановку моей квартиры...

При удалении его произошел некоторый неприятный шум, и пришлось прибегнуть к помощи добрых соседей...

X

Года через два я опять встретил моих бывших спутников.

В жаркий летний день я переехал на пароме через Волгу, и пара лошадей потащила нас береговыми песками к въезду на гору. Солнце садилось, но было еще невыносимо жарко. Казалось, даже от сверкающей реки неслись целые волны зноя. Оводы тучей носились над лошадьми, колокольчик бился неровно, колеса шурша-

ли в глубоком песке... Сверху, в полугоре, окруженный зеленью монастырь глядел на реку из-за реющего тумана и казался парящим в воздухе.

Вдруг ямщик остановил у самого подъема усталую тройку и побежал по берегу. В четверти версты от нас, на обрезе, усеянном галькой и камнями, грузно чернела, прямо на солнцепеке, группа людей.

— Происшествие какое-нибудь,— сказал мой товарищ.

Я вышел из телеги и пошел туда же.

На пустом берегу, в который лениво плескалась река, оказалось мертвое тело. Подойдя ближе, я узнал в нем моего знакомого: маленький странник лежал в своей ряске, грудью на песке, с раскинутыми руками и неестественно повернутой головой. Он был смертельно бледен, черные косицы слиплись на лбу и на висках, а рот полуоткрылся. Мне невольно вспомнилось это лицо, оживленное детским восторгом от пения пташки на холмике. Сам он, с своим длинным, заострившимся носом и раскрытым ртом, удивительно напоминал теперь замученную и раздавленную птицу.

Автономов сидел над ним, покачиваясь, и в его взгляде виднелся испуг. Явственный винный запах стоял в воздухе...

Окинув взглядом подошедших людей и не узнав меня, он вдруг затормошил лежащее тело.

— Вставай, товарищ, пора в путь... Участь странника — вечное странствование.

Он говорил опять напыщенным тоном и нетвердо поднялся...

— Не хочешь?.. Смотри, Ваня, брошу! Уйду один...

Староста, с медалью на груди, спешно подошедший к группе, положил ему руку на плечо.

— Погоди уходить... Протокол надо составить... Что за люди...

Автономов с иронической покорностью снял свою мурмолку и отвесил поклон.

— Сделайте одолжение, ваше сельское превосходительство...

Сверху послышался удар колокола. В монастыре призывали к вечерней молитве. Удар прозвенел, всколыхнул жаркий воздух, пронесся поверх кудрявых верхушек дубов и осокорей, лепившихся по склонам, и, замирая уже, коснулся сонной реки. На мгновение звук опять окреп, ложась на воду, и казалось, чуткое ухо

ловит его полет к другому берегу, к синеющим и подернутым мглою лугам.

Все сняли шапки. Только Автономов повернул голову на звон и погрозил кверху кулаком.

— Слышишь, Ваня,— сказал он,— зовет тебя отец-настоятель... Благодетель твой... Теперь, чай, примет...

Удар за ударом, густо и часто, звеня и колыхаясь, падал сверху на реку торжественно и спокойно...

1889

ТЕНИ

Фантазия

I

Это было месяц и два дня спустя после того, как при громких криках афинского народа судьи постановили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушал веру в богов. Он был для Афин то же, что овод для коня. Овод жалит коня, чтоб он не заснул и бодро шел своею дорогой. Философ говорил афинскому народу: «Я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!»

И народ, в припадке жестокой досады, пожелал избавиться от своего овода. «Быть может, доносчики Мелит и Анит оба не правы,— говорили граждане, расходясь с площади после приговора.— Но что же это, наконец, такое, и куда он идет? Он плодит недоумения, он разрушает мнения, твердо установленные веками, он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать, он говорит о божестве, которое нам еще неведомо. Дерзкий, он считает себя умнее богов!.. Нет, спокойнее нам вернуться к старым, хорошо знакомым божествам. Пусть они не всегда справедливы, пусть распаляются порой неправедным гневом, а другой раз и нечестивою похотью даже к женам смертных. Но не с ними ли жили наши предки в спокойствии души, не с их ли помощью совершали славные подвиги? А теперь образы олимпийцев померкли, и старая добродетель расшатана. Что же будет дальше, и не должно ли одним ударом положить конец нечестивой мудрости?»

Так говорили друг другу афинские граждане, расходясь с площади под покровом синего вечера. Они решили убить беспокойного овода в надежде, что после этого лица богов опять просветлеют. Правда, в умах граждан порой вставал кроткий образ чудака-философа; порой они вспоминали, как мужественно делил он с ними при Потидее труды и опасности; как он один защищал их самих от позора несправедливой казни военачальников после аргинузской победы; как один он против тиранов, убивших полторы тысячи граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. «Не тот ли пастырь,— говорил он,— может назваться добрым, который приумножает и бережет свое стадо? Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители — делать то же с гражданами? Исследуем, афиняне, этот вопрос!» И от вопроса одинокого, безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и честного гнева...

Когда афиняне, расходясь с площади после приговора, вспоминали все это, тогда их сердца сжимало смутное сомнение: «Уж не совершили ли мы над сыном Софрониска жестокую неправду?» Но тогда добрые афиняне смотрели в гавань и на море. При свете угасавшей зари на синем понте еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудого корабля делосских празднеств. Корабль ушел из гавани в этот день и вернется лишь через месяц, а до тех пор в Афинах не может пролиться кровь ни виновного, ни невинного. В месяце же много дней, а часов еще больше. Кто помешает сыну Софрониска, если уж он осужден невинно, убежать из тюрьмы, а многочисленные друзья наверное даже помогут? Разве так трудно богатому Платону, Эсхину и другим подкупить тюремную стражу? Тогда беспокойный овод улетит из Афин к фессалийским варварам или в Пелопоннес, или еще дальше, в Египет... Афины не услышат более его назойливых речей, а на совести добрых граждан не будет этой смерти. И все, таким образом, обойдется ко всеобщему благополучию...

Так многие рассуждали про себя в этот вечер, восхваляя мудрость демоса и гелиастов, а втайне питая надежду, что беспокойный философ уберется из Афин, убежит от цикуты к варварам, освобождая сограждан

в одно время и от себя, и от угрызений совести за невинную смерть.

Тридцать два раза с тех пор солнце выходило из-за океана и опять погружалось в него, а до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник,— осталось тридцатью двумя днями меньше. Корабль из Делоса вернулся и, точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. На небе не было луны, море колыхалось под тяжелым туманом, и огни на холмах мерцали сквозь мглу, точно прижмуренные очи людей, одержимых стыдом.

Упрямый Сократ не пожалел совести добрых афинян. «Простимся! Вы идите к своим очагам, а я пойду умирать,— сказал он судьям после приговора.— Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий». Когда срок возвращения корабля стал приближаться, многие из сограждан почувствовали беспокойство. Неужели же этот упрямец в самом деле умрет? И они принялись стыдить Эсхина, Федона и других учеников и друзей Сократа, подстрекая их усердие. «Неужто,— говорили они с едкой укоризной,— вы допустите, чтоб ваш учитель умер? Или вам жаль несколько мин на подкуп сторожей?» Напрасно Критон упрашивал Сократа согласиться на побег и горько жаловался, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и в скупости,— упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу. «Исследуем этот вопрос,— говорил он.— Если окажется, что мне надо бежать,— я убегу; а если нужно умереть, то умру. Припомним: не говорили ли мы раньше, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они нам лично приятны, а неприятные нарушать? Кажется, память мне не изменила: ведь мы действительно что-то говорили об этих предметах?»

— Да, говорили,— ответил ученик.

— И, кажется, все были в этом вопросе согласны?

— Да.

— Но, может быть, правда есть правда для других, а не для нас?

— Нет, правда одинакова для всех, и для нас тоже.

— Но, может быть, когда нам, а не другим приходится умирать, то и правда превращается в неправду?

— Нет, Сократ, правда остается правдой при всех обстоятельствах.

Когда таким образом ученик последовательно согласился со всеми посылками Сократа, философ, улыбаясь, перешел к умозаключению:

— Но если так, друг мой, то не следует ли, пожалуй, мне умереть? Или уж моя голова так ослабела, что я не в состоянии сделать верного заключения?.. Тогда поправь меня, добрый друг, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.

Ученик закрыл лицо плащом и отвернулся.

— Да,— сказал он,— я вижу теперь, что ты непременно умрешь...

И в этот темный вечер, когда море металось и глухо шумело под туманом, а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением; когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга: «Он умер?» — и голоса их звучали робкою надеждой, что это неправда; когда первое дыхание проснувшейся совести, как первый предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и потемнели,— в этот вечер, с закатом солнца, упрямец выпил чашу смерти...

Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов, и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И Эриннии заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа... Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Граждане еще более сердились на Сократа, зачем он не доставил им облегчения своим побегом в Фессалию; злились на учеников его, которые ходили в последние дни печальные, мрачные, как живые упреки; злились на судей, у которых не было ни благоразумия, ни мужества, чтобы воспротивиться слепой ярости возбужденного народа; злились на самых богов. «Вам, боги, принесли мы эту жертву,— говорили многие,— радуйтесь, ненасытные!»

«Не знаю, кто из нас берет лучший жребий!» — вспоминались слова Сократа, последние слова его к судьям и к народу, собранному на площади. Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом нависли печаль, недоумение, стыд... Он опять стал мучителем города, сам уже не-

доступный мучению... Овод был убит, но, мертвый, он жалил свой народ еще больнее... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи — ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!

II

В эти печальные дни из учеников Сократа воин Ксенофонт находился в далеком походе с десятью тысячами, пробивая себе среди опасностей путь к милой родине. Эсхин, Критон, Критовул, Федон и Аполлодор были заняты приготовлением скромных похорон, а у Платона горела вечерняя лампа, и лучший из учеников философа записывал на пергаменте его дела, слова и поучения, которыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, как говорит великий поэт,

Листьям в дубраве подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле расстилает, другие — дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают...
Так человеки: одни нарождаются, те погибают.

Однако мысль не гибнет, и истина, достигнутая великим умом, как факел в темноте, освещает пути следующих поколений.

Был и еще ученик Сократа. Пылкий Ктезипп еще недавно считался самым веселым и самым беспечным из афинских юношей; он боготворил только красоту и преклонялся перед Клиниасом как совершеннейшим ее воплощением. Но с некоторых пор, и именно с того времени, как познакомился с Сократом, он потерял и веселье, и беспечность, а в толпе Клиниасовых друзей его заменили другие, и он смотрел на это равнодушно. Стройность мысли и гармония духа, которые он встретил у Сократа, казались ему теперь во сто крат более привлекательными, чем стройность стана и гармония в чертах Клиниаса. Всеми силами своей пылкой души он привязался к тому, кто нарушил девственное спокойствие его собственной души, раскрывшейся навстречу первым сомнениям, как почки молодого дуба раскрываются навстречу свежему весеннему ветру.

Теперь, в эти горькие минуты, он нигде не мог найти успокоения — ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленных друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему

противны. «Я не знаю,— говорил он,— лучшие ли вы из тех, кому бесчисленные поколения народов сжигают благовония и приносят жертвы. Но знаю, что в угоду вам слепая толпа погасила яркий светильник истины и принесла в жертву лучшего из смертных!»

Улицы и площади, казалось Ктезиппу, еще оглашаются криками неправедного суда. Здесь некогда Сократ один воспротивился бесчеловечному приговору судей и слепой ярости черни, требовавшей смерти аргинузским вождям [1]. Теперь не нашлось никого, кто бы сумел защитить его с такою же силой. В этом Ктезипп винил и себя, и товарищей, и вот отчего ему хотелось в этот вечер избавиться от присутствия всех людей и даже, если возможно, от себя самого.

Он пошел к морю. Но здесь его тоска стала еще тяжелее. Казалось, под покровами из тумана опечаленные дочери Нерея метались и бились о берег, оплакивая лучшего из афинян и самый город, ослепленный безумием. Волны летели одна за другой, волны плескались о каменные скалы с непрерывным жалобным рокотом, который раздавался в ушах Ктезиппа как траурное, намогильное пение.

Тогда он отвернулся и пошел от берега все прямо, не глядя перед собой и не заботясь даже о дороге. Мрачная скорбь затемнила его сознание и нависла над ним, как темная туча. Он забыл о времени, о пространстве, о собственном существовании и весь полон был одною гнетущею мыслью о Сократе... «Вчера он *был*, вчера еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его *нет* сегодня? О ночь, о вы, великаны го́ры, окутанные туманными нимбами, ты, рокочущее море, обладающее собственным движением, вы, неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира, ты, звездный свод, покрытый летучими облаками, ты, тихо сверкающая зарница, раздвигающая их молчаливые гряды,— возьмите меня к себе, откройте мне тайну этой

---

[1] В битве при Аргинузах афиняне одержали блестящую победу. После битвы наступила буря и, щадя живых, вожди недостаточно позаботились о мертвых, которые остались без погребения. Тогда против счастливых вождей поднялись в Афинах страсти суеверной толпы. Родственники убитых явились на собрание в траурных платьях, обвиняя вождей в том, что теперь умершие останутся вечными скитальцами: здесь выступило древнее верование, гласившее, что душа не покидает тела и вместе с ним сходит в недра земли. Сократ один воспротивился приговору, основанному на угождении грубому суеверию.

смерти, если вы ее знаете! А если не знаете, дайте моему неведению ваше бесстрастие. Возьмите у меня эти мучительные вопросы — я не в силах более носить их в груди без ответа и без надежды на ответ... А кто же ответит, если уста Сократа смежило вечное молчание, а на его взоры налегла вечная тьма?»

Так говорил Ктезипп, обращаясь к морю, к горам и мракам ночи, которая между тем, как всегда, совершала над спящим миром свой незримый, неудержимый полет. Прошло много часов, прежде чем Ктезипп вздумал оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые сознанием. Когда же он оглянулся, то темный ужас охватил его душу.

III

Казалось, неведомые божества вечной ночи услышали дерзкую молитву. Ктезипп глядел и не узнавал места, где он находился. Огни города давно угасли в темноте, рокот моря смолк в отдалении, и теперь самое воспоминание о нем стихало в оробевшей душе. Ни один звук: ни осторожный крик ночной птицы, ни свист ее крыла, ни шорох листьев, ни журчание никогда не засыпающих горных ручьев — ничто не нарушало глубокого молчания... И только синие блуждающие огни тихо снимались и переносились с места на место по утесам, да молчаливые зарницы вспыхивали и угасали в туманах над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом открывая мертвые очертания пустыни, по которой черные расселины вились, как змеи, и скалы громоздились в диком, хаотическом беспорядке.

Казалось, все веселые боги, живущие в зеленых дубравах, в звенящих ручьях и в горных лощинах, навсегда бежали из этой пустыни; только один великий таинственный Пан притаился где-то близко в хаосе природы и зорко, насмешливым взглядом следит за ним, ничтожным муравьем, еще так недавно дерзко взывавшим к тайне мира и смерти. И слепой, не рассуждающий ужас уже разливался в душе Ктезиппа, как море заливает во время шумного прилива прибрежные скалы.

Был ли это сон, была ли это действительность, было ли это откровение неведомого божества, но только Ктезипп чувствовал, что еще одна минута — и грань жизни

будет перейдена, и душа его растворится в этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как дождевая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зарницы человеческие формы.

IV

Человек сидел на одном из каменных выступов в позе глубокого отчаяния и с плащом, накинутым на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пядь дороги. Сидевший открыл лицо и воскликнул:

— Тебя ли я видел сейчас, добрый Сократ? Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном месте, где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета?

— Да, это я, друг! А в тебе не узнаю ли я Елпидия, умершего за три дня передо мной?

— Да, я — Елпидий, богатейший из афинских кожевников, а ныне несчастнейший из всех рабов. Теперь только понимаю я справедливость слов, сказанных поэтом: лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке аида.

— Друг! Но если так тяжело тебе в этом месте, почему не идешь ты в другое?

— О Сократ! я удивляюсь тебе: как можешь ты идти в этом безрадостном мраке? Я же... в глубокой тоске сижу здесь и оплакиваю радости слишком скоро промелькнувшей жизни.

— Друг Елпидий, я, как и ты, очутился в этой тьме, когда в глазах моих угас свет земной жизни. Но внутренний голос сказал мне: «Сократ, иди в новый путь, не теряя времени» — и я пошел.

— Но куда же пошел ты, сын Софрониска? Здесь нет ни дороги, ни герма, ни колеи, ни даже луча света. Только хаос камней, мрака и туманов.

— Это правда. Но, друг Елпидий, убедившись в этой печальной истине, не спросишь ли ты себя: что наиболее угнетает твою душу?

— Без сомненья, эта ужасная тьма.

— Итак, надо искать света. Должно быть, великий

закон состоит в том, чтобы смертные сами искали во мраке пути к источнику света. Не думаешь ли ты, что это лучше, чем сидеть на месте? Я думаю именно так и потому иду. Прощай!

— О нет, добрый Сократ, не покидай меня. Ты довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мне полу твоего плаща...

— Если ты полагаешь, что и тебе это будет лучше, иди за мной, друг Елпидий.

И две тени пошли дальше, а душа Ктезиппа, исторгнутая сном из тленной оболочки, понеслась им вслед, жадно внимая звукам ясной Сократовой речи...

— Ты здесь, добрый Сократ,— послышался опять голос афинянина Елпидия.— Что же ты смолк? Разговор сокращает путь, и, клянусь Гераклом, никогда не случалось мне идти такою ужасною дорогой.

— Спрашивай, друг Елпидий. Вопрос любознательного человека вызывает ответы и родит собеседование.

Елпидий помолчал и потом спросил, собравшись с мыслями:

— Вот что. Расскажи мне, мой бедный Сократ, хорошо ли по крайней мере тебя похоронили?

— Признаюсь тебе, друг Елпидий, я не могу удовлетворить твое любопытство.

— Понимаю тебя, бедный Сократ,— тебе нечем похвастать. Вот я — другое дело! Ах, как меня хоронили, как превосходно хоронили меня, мой бедный товарищ! Я и теперь с великим удовольствием вспоминаю об этих лучших минутах... после моей смерти! Прежде всего меня обмыли и умаслили дорогими благовониями. Потом верная моя Ларисса надела на меня лучшие ткани. Искуснейшие плакальщицы в городе рвали на себе волосы, так как им обещали очень хорошую плату. В семейную усыпальницу со мной поставили одну амфору, одну кратеру с превосходно украшенными бронзовыми ручками, один фиал, затем...

— Постой, друг Елпидий. Я уверен, что верная Ларисса разменяла свою любовь на несколько мин... Однако...

— Ровно десять мин и четыре драхмы, не считая напитков, которые выпиты гостями. Редкий, я думаю, даже из богатейших кожевников может похвалиться перед душами предков таким вниманием со стороны живущих.

— Друг Елпидий, не думаешь ли ты, что это золото

принесло бы больше пользы оставшимся в Афинах беднякам, чем тебе в настоящую минуту?

— Это ты говоришь, признайся, из зависти,— возразил Елпидий с горечью.— Мне жаль тебя, несчастный Сократ, хотя, между нами сказать, ты действительно заслужил свою участь... Не раз в кругу своей семьи я сам говаривал, что давно бы пора прекратить рассеиваемое тобою нечестие, ибо...

— Постой, друг. Кажется, ты имел в виду какое-то заключение, и я боюсь, что ты свернул с прямого пути. Скажи, добрый человек, куда клонится твоя нетвердая мысль?

— Я хотел сказать, что, по своей доброте, я все-таки тебя жалею. Месяц назад я и сам немало кричал в собрании, но поистине никто из нас, кричавших, не желал для тебя такой крупной неприятности. Теперь тем более, поверь, мне жаль тебя, несчастный философ!..

— Благодарю тебя. Однако, товарищ, скажи: в глазах твоих светло?

— О нет, передо мной такая тьма, что я спрашиваю себя: не это ли туманные области Орка?

— Значит, для тебя путь этот так же темен, как и для меня.

— Это верно.

— Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща?

— И это правда.

— Но тогда мы оба в одинаковом положении... Ты видишь, предки не спешат насладиться рассказом о твоем похоронном торжестве, а боги, за которых ты на меня так сердился, думают о тебе так же мало, как и обо мне. Где же разница между нами, мой добрый товарищ?

— Но, Сократ, неужели боги помрачили твой рассудок настолько, что тебе не ясна эта разница?

— Друг, если тебе твое положение яснее, тогда дай мне руку и веди меня, ибо, клянусь собакой [1], ты предоставляешь именно мне идти вперед в этой тьме...

— Оставь шутки, Сократ! Оставь твои шутки и не равняй себя (потому что ведь ты безбожник) с человеком, умершим на своей собственной постели...

— А, кажется, я начинаю понимать тебя... Скажи мне, однако, Елпидий: надеешься ли ты, что будешь пользоваться твоею постелью еще когда-либо?

---

[1] Обычная клятва Сократа.



— Увы! не думаю.
— И было такое время, когда ты не спал на ней?
— Было... до того самого дня, когда я купил ее у Агезилая за половинную цену. Вот видишь ли... Этот Агезилай, хоть и порядочный мошенник...
— Оставим Агезилая. Быть может, он торгует ее теперь у твоей вдовы за четверть цены. Не прав ли я, однако, когда говорю, что эта постель находилась лишь во временном твоем владении?
— Согласен.
— Но ведь и та постель, на которой я умер, тоже находилась в моем временном владении. Ее дал мне на время добрый Протис, тюремный сторож.
— А! если б я знал, к чему ты склоняешь речь, я не стал бы отвечать на твои коварные вопросы. Ну слыхано ли, о Геракл, подобное нечестие: он равняет себя со мною! Но ведь я мог бы уничтожить тебя, если на то пошло, двумя словами...
— Произноси их, Елпидий, произноси без страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чем это сделала цикута...
— Ну вот! Это-то я и хотел сказать. Несчастный, ты умер по приговору суда, от цикуты!
— Друг! Я это знал с самого дня смерти и даже значительно ранее. А ты, о счастливый Елпидий, скажи мне, отчего ты умер?
— О, я совсем другое дело! У меня, видишь ли, сделалась водянка в животе. Был позван дорогой врач из Коринфа, который взялся вылечить меня за две мины и половину получил в задаток... Боюсь, что по неопытности в этих делах Ларисса, пожалуй, отдаст ему и другую половину...
— Судя по тому, что я вижу, врач из Коринфа не сдержал своего обещания?
— Это правда.
— И ты умер именно от водянки?
— Ах, Сократ, поверишь ли: она принималась душить меня три раза, пока не залила наконец огонь моей жизни!..
— Скажи же мне: смерть от водянки доставила тебе большое наслаждение?
— О злой Сократ, не смейся надо мной! Говорю же тебе: она принималась душить меня три раза... Я кричал, как бык под ножом мясника, и молил Парку

поскорее перерезать нить, связывающую меня с жизнью...

— Это меня не удивляет. Но тогда, добрый Елпидий, откуда ты заключаешь, что водянка сделала свое дело лучше, чем цикута, которая покончила со мной в один раз?

— Вижу, что опять попался в твою западню, лукавый нечестивец! Не стану больше гневить богов, разговаривая с тобою, нарушителем священных обычаев.

И оба замолчали, и было тихо. Но спустя немного Елпидий заговорил первый:

— Что же ты смолк, добрый Сократ?

— Друг, не ты ли сам настойчиво просил об этом?

— Я не горд и умею относиться снисходительно к людям хуже меня. Оставим ссору!

— Я не ссорился с тобою, друг Елпидий, и, поверь, не хотел сказать тебе ничего неприятного. Я привык только познавать вещи посредством сравнения. Мне неясно мое положение. Свое ты считаешь лучшим, и я был бы рад узнать — почему. В свою очередь, и тебе, быть может, не лишне было бы узнать истину, какова бы она ни была.

— Ну-ну, оставим это!.. Скажи, ты не боишься?

— Не думаю, чтобы чувство, которое я теперь испытываю, следовало назвать страхом.

— А я чувствую именно страх, хотя, сказать по правде, у меня меньше поводов к ссоре с богами, чем у тебя. Не кажется ли тебе, однако, что, оставляя нас здесь, на волю хаоса и собственных усилий, боги обманули наши ожидания?

— Это зависит от того, каковы были ожидания... Чего же ты ждал от богов, друг Елпидий?

— Чего ждал, чего ждал!.. Странные вопросы предлагаешь ты, Сократ!.. Если человек приносит в течение своей жизни жертвы, умирает в благочестии своею смертию, если его хоронят со всеми обрядами, то можно бы, кажется, послать кого-нибудь ему навстречу... Если уж Гермес занят чем-нибудь более важным — то хоть какого-нибудь из незначительных богов, для указания пути... Правда, совесть указывает мне на одно обстоятельство... Видишь ли: много раз обещал я Гермесу тельцов, прося удачи в торговле кожами, и...

— Удачи тебе не было?

— Удача была, добрый Сократ, но...

— Понимаю — не оказалось теленка.

— Ах, Сократ, ну, могло ли не быть какого-нибудь теленка у богатого кожевника?

— Теперь я понимаю: была и удача, и теленок, но ты оставлял их себе, Герму же не досталось ничего.

— Ты умный человек, я это говорил много раз... Увы, свои обеты я исполнял не более трех раз из десяти и с другими богами поступал не лучше, чем с Гермесом. Если и с тобой, как я думаю, случалось что-либо подобное, то не в этом ли причина, что мы теперь оставлены оба?.. Правда, я приказал Лариссе принести после моей смерти целую гекатомбу...

— Но ведь это уже Ларисса, друг Елпидий, а обещание дано тобою.

— Это правда, это правда... Ну а ты, добрый Сократ? Неужели ты, безбожник, поступал в отношении богов лучше меня, богобоязненного кожевника?

— Друг! не знаю, лучше ли я поступал или хуже. Прежде я приносил жертвы, не давая обетов, а в последние годы я не давал ни тельцов, ни обещаний...

— Как, несчастный, ни одного теленка?

— Да, друг, если бы Герму пришлось питаться одними моими приношениями, боюсь, он бы сильно отощал...

— Понимаю! Ты не занимался торговлей скотом и приносил ему от предметов другого промысла. Может быть, мину, другую из платы твоих учеников?

— Друг, ты знаешь, что я не брал платы с учеников, а промысла едва хватало на собственное прокормление. Если бы боги рассчитывали на остатки от моей суровой трапезы, они сильно обманулись бы в расчетах.

— О нечестивец! Перед тобой и я могу похвалиться святостью. Посмотрите, боги, на этого человека! Правда, я иногда обманывал вас, но порой все-таки делился с вами излишками удачной торговли. Дает много дающий что-нибудь в сравнении с нечестивцем, который не дает ничего! Знаешь что: ступай себе один. Боюсь, как бы общество подобного тебе безбожника не повредило мне во мнении богов.

— Как хочешь, добрый Елпидий. Клянусь собакой, никто не должен насильно навязывать свое общество другим. Отпусти полу моего плаща и прощай. Я пойду один.

И Сократ пошел вперед, все так же твердо, хотя и исследуя на каждом шагу почву. Но Елпидий тотчас же закричал ему вслед:

— Погоди, погоди, мой добрый согражданин, и не оставляй афинянина одного в таком ужасном месте! Я только пошутил, прими мои слова в шутку и перестань торопиться. Я удивляюсь, как можешь ты видеть что-нибудь в такой кромешной тьме.

— Друг, я приучил свои глаза.

— Это хорошо. Однако я не могу похвалить тебя за то, что ты не приносил жертвы богам. Нет, не могу, бедный Сократ, не могу! Наверное, почтенный Софрониск не тому учил тебя смолоду, и ты сам, я видел это, прежде участвовал в молениях.

— Да. Но я привык исследовать разные основания и принимать только те, которые после исследования оказывались разумными... Итак, пришел день, в который я сказал себе: Сократ, вот ты поклоняешься олимпийцам. За что же именно ты им поклоняешься?

Елпидий засмеялся.

— Вот это так! Право, вы, философы, не находите порой ответов на самые простые вопросы. А вот я, простой кожевник, никогда в жизни не занимавшийся софистикой... и, однако, я знаю, почему следует почитать олимпийцев.

— Скажи же, друг, поскорее, пусть и я узнаю от тебя — почему?

— Почему? Ха-ха-ха! Но ведь это так просто, мудрый Сократ.

— Чем проще, тем лучше. Но только не скрывай от меня твоего знания. Итак, почему следует чтить богов?

— Почему?.. Да ведь все делают это..

— Друг! ты знаешь хорошо, что не все. Не вернее ли сказать: многие?

— Ну, пусть многие...

— Но скажи мне, не большее ли количество людей делают зло, чем добро?

— Думаю, что это правда: зло встречается чаще.

— Итак, надлежит делать зло, а не добро, следуя за большинством?

— Что ты говоришь?

— Не я, ты сам говоришь это, я же думаю, что множество преклоняющихся перед олимпийцами не есть еще основание, и нам нужно поискать другого, более разумного. Быть может, ты находишь их заслуживающими уважения?

— Это вот верно.

— Хорошо. Но тогда новый вопрос: за что же именно ты уважаешь их?

— За их величие, это ясно.

— Пожалуй... И я, может быть, скоро соглашусь с тобой. Мне остается только узнать от тебя, в чем состоит величие... Ты затрудняешься? Поищем же ответа вместе. Гомер говорит, что буйный Арей, ниспровергнутый камнем Паллады-Афины, покрыл своим телом семь десятин.

— Вот видишь, какое огромное пространство!

— Итак, в этом величие?.. Но, друг, вот опять недоумение. Не помнишь ли атлета Диофанта? Он выделялся целою головой из толпы, а Перикл был не выше тебя. Кого, однако, мы называем великим, Перикла или Диофанта?

— Я вижу, что величие действительно не в громадности.

— Да, величие — не громадность, это правда. Я рад, что мы кое в чем уже с тобой согласились. Быть может, оно в добродетели?

— Конечно!

— Я опять думаю то же. Теперь скажи, кто же перед кем должен преклониться: меньший ли перед большим или, наоборот, более великий в добродетели должен преклониться перед порочным?

— Ответ ясен.

— Думаю. Теперь пойдем дальше: скажи мне по совести, убивал ли ты стрелами чужих детей?

— Конечно, никогда! Неужели ты думаешь обо мне так дурно? Я не разбойник.

— И не соблазнял, надеюсь, чужих жен?

— Я был честный кожевник и хороший семьянин!.. Не забывай этого, Сократ, прошу тебя!

— Значит, ты не обращался в скота и своею похотливостью не давал верной Лариссе поводов мстить соблазненным тобою женщинам и ни в чем не повинным детям?

— Право, ты меня сердишь, Сократ.

— Но, быть может, ты отнял наследство у родного отца и заключил его в темницу?

— Никогда!.. Но к чему эти обидные вопросы?

— Погоди, друг. Может быть, мы как-нибудь и придем вместе к какому-либо заключению... Скажи, считал ли бы ты великим человека, который сделал все, что я сейчас перечислил?

— Ну нет, нет! Я назвал бы такого человека негодяем и обвинил бы его публично перед судьями на площади.

— Ну, Елпидий, почему же ты не обвинял на площади Зевса и олимпийцев? Кронид воевал с родным отцом и распалялся скотскою похотью к смертным, а Гера мстила невинным девам, потерпевшим насилие от ее супруга... Не они ли вдвоем обратили несчастную дочь Инаха в жалкую корову? Не Аполлон ли убил стрелами всех детей Ниобеи, а Калленний не воровал ли быков?.. Итак, Елпидий, если правда, что менее добродетельный должен оказывать почтение большему в добродетели, то ведь не ты олимпийцам, а они тебе должны воздвигать алтари.

— Не богохульствуй, нечестивый Сократ, перестань! Тебе ли судить богов?

— Друг, их осудило нечто высшее. Исследуем вопрос: какой признак божества?.. Ты, кажется, сказал: величие, состоящее в добродетели. Не это ли же самое — единственная божественная искра в человеке? Но если ничтожною человеческою добродетелью мы измерили величие богов и мерило оказалось больше измеряемого, то отсюда следует, что само божественное начало осудило олимпийцев. Но тогда...

— Что тогда?

— Тогда, добрый Елпидий, они — не боги, а обманчивые призраки. Не так ли?

— Вот к чему приводит разговор с вами, босоногие философы! Я вижу теперь, что о тебе говорили правду: ты и видом, и всем другим походишь на рыбу-торпиль, которая своим взглядом околдовывает человека. Так же околдовал ты меня лишь затем, чтобы породить в душе моей, твердой в вере, недоумение и колебание. Вот уже в моем уме пошатнулось уважение к Зевесу... Ну нет, говори же теперь один — я не стану отвечать!

— Не сердись, Елпидий, я не желаю тебе зла. Если же ты устал следить за правильностью умозаключений, то позволь рассказать тебе притчу об одном милетском юноше. Ум отдыхает на притчах, а между тем и отдых бывает не бесплоден.

— Говори, если твой рассказ не очень длинен и имеет в виду хорошее нравоучение.

— Он имеет в виду истину, друг Елпидий, и я постараюсь его сократить.

Видишь ли. Когда-то, в древние времена, Милет

подвергся нападению варваров. В числе юношей, уведенных в плен, был один отрок, сын мудрейшего и лучшего из всех граждан страны. Дорóгой ребенок впал в сильную болезнь и был брошен в беспамятстве, как негодная добыча.

Глубокою ночью пришел он опять в себя. Высоко над ним мигали звезды, кругом расстилалась пустыня, а вдали раздавались хищные крики зверей. Он был один...

Он был совершенно один, и, кроме того, боги отняли у него память всех событий его предыдущей жизни. Тщетно он напрягал свой ум — в нем было так же темно и пусто, как в этой неприветливой пустыне. И только где-то, за далью туманных и неясных образов, стояла мечта об оставленной родине. В этой светлой стране чудился ему образ лучшего из всех людей, и тогда в сердце звучало слово: «Отец!..» Не находишь ли ты, что судьба этого юноши напоминает судьбу всего человечества?

— Как это?

— Не так же ли мы просыпаемся к жизни на этой земле со смутным воспоминанием о другой родине?.. И не мелькает ли у нас в душе великий образ Неведомого?..

— Продолжай, Сократ. Это, кажется, поучительно. Я слушаю.

— Ободренный юноша поднялся на ноги и пошел нетвердыми шагами, избегая опасностей. После долгого пути, когда, казалось, последние силы готовы были изменить ему, он увидел в туманной дали огонь, который освещал тьму и разгонял холод. В усталую душу вступила тогда кроткая надежда. Воспоминания об отчем крове ожили, и юноша пошел на огонь с криком: «Это ты, это ты, отец мой!»

— Это и был дом отца?

— Нет, это была стоянка диких кочевников... Много лет после того он вел жалкую жизнь пленного раба, мечтая о далекой родине, об отдыхе на родной груди отца. Порой нетвердая рука его пыталась вызвать неясный образ из мертвой глины, дерева или камня. Бывали даже минуты, когда, усталый, он обнимал собственное произведение, поклонялся ему и орошал его слезами. Однако камень оставался холодным камнем, и, вырастая, юноша разбивал свои изделия, которые казались ему уже жалким оскорблением его заветной мечты.

Наконец судьба привела скитальца к доброму варва-

ру, который спросил его о причине его всегдашней грусти. Когда юноша доверил ему тоску и надежды своей души, варвар, человек мудрый, сказал:

— Мир был бы лучше, если бы в нем была такая страна и тот, о котором ты говоришь. Но по какому же признаку узнаешь ты отца своего?

— В моей стране,— ответил юноша,— чтили мудрость и добродетель, а отца моего все признавали учителем.

— Хорошо,— ответил варвар.— Надо думать, что и в тебе есть зерно его учения. Итак, возьми же посох и иди рано в путь. Ищи совершенной мудрости и правды, и если найдешь их, сложи свой посох — это будет твоя родина и твой отец...

И юноша рано на заре пустился в дорогу...

— Он нашел, кого искал?

— Он ищет его до сих пор. Он узнал много стран, много городов, много людей. Он изучил земные пути, переплыл бурные моря, исследовал тропы светил, указующих пути в безбрежных пустынях. И всякий раз, когда в трудном пути, в темноте ночи, глазам его являлся приветный огонь, сердце его билось сильнее и в душе вставала надежда. «Это приют в доме отца моего!» Когда же радушный хозяин предлагал истомленному страннику привет, благословение и отдых у своего очага, то растроганный юноша припадал к его ногам и говорил: «Благодарю тебя, отец мой! Не узнаешь ли ты своего пропавшего сына?»

И многие готовы были усыновить его, потому что в те времена похищения детей были часты... Но после первых восторгов юноша начинал замечать в воображаемом отце следы несовершенства, а иногда и пороков. Тогда он начинал исследовать и искушать, приставая к нему со своими вопросами о правде и неправде... И его скоро прогоняли из-под гостеприимного крова на труд и холод нового пути. Не один раз говорил он себе: «Останусь у этого последнего очага, сохраню эту последнюю веру. Пусть будут они мне вместо отеческого крова...»

— Знаешь что: это, пожалуй, было бы всего благоразумнее, Сократ.

— Порой он думал, как и ты. Но привычка к исследованию и смутная мечта о родном отце не давали ему покоя. И опять отряхал он прах от своих ног, и опять брал страннический посох, и не всегда бурная ночь

заставала его под кровлей... Не находишь ли ты, что судьба юноши опять напоминает судьбу человеческого рода?

— Почему?

— Не так же ли род людской заменяет детскую веру испытанием и сомнением? Не так же ли творит он сам образ Неведомого из дерева, камня, из обряда и предания, из вдохновенной песни поэта и из догадок мудреца?.. И потом находит этот образ несовершенным и разбивает его, чтобы опять удалиться в пустыню сомнений... И все для того, чтобы искать лучшей веры, все выше и выше... И не суждено ли роду земному искать, все возвышаясь бесконечно, потому что и Неведомый есть бесконечность!..

— О лукавый мудрец, о рыба-торпиль! Я понимаю теперь, к чему ведет твоя притча!.. Ну, так я скажу тебе прямо: пусть только мелькнет свет в этой тьме, и ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнениями.

— Друг, свет уже мелькает,— ответил Сократ.

V

Казалось, слова философа должны были оправдаться. Где-то высоко, за дымною пеленой, скользнул далекий луч и исчез в горных пределах. За ним другой, третий... Казалось, там, за пределами тьмы, реют какие-то светлые гении, свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыхание, готовится какое-то великое торжество.

Но это было далеко. А над землей тени сгущались, клубились дымные тучи, свиваясь и развиваясь, перегоняя друг друга без конца и перерыва...

Синий огонь упал с отдаленной вершины в глубокую пропасть, и тучи поднялись выше, покрывая небо до самого зенита.

А лучи уходили все дальше и дальше, как будто им не было дела до этой мрачной и затененной равнины.

Сократ стоял, следя за ними грустным взглядом. Елпидий со страхом смотрел на вершину.

— Посмотри, Сократ, что видишь ты там на горе?

— Друг,— ответил философ,— исследуем положение. Так как земная жизнь должна иметь пределы, то думаю, что предел этот на рубеже двух начал: в борьбе света и тьмы венец наших усилий. А так как у нас не

отнята способность мышления, то думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно, чтобы мы исследовали самые пределы наших стремлений. Итак, Елпидий, приготовимся достойным образом встретить зарю позади этих туч...

— О добрый товарищ! Если такова заря, то я предпочел бы, чтобы вечно длилась прежняя безотрадная, долгая, но спокойная ночь... Не находишь ли ты, что время проходило у нас сносно в поучительной беседе? А теперь душа содрогается перед надвигающейся грозой. Нет, что ни говори, а там, впереди, не простые тени безжизненной ночи... Вот еще одна Зевсова стрела метнулась в бездонную пропасть...

Ктезипп посмотрел на вершину, и ужас сковал его душу. Великие мрачные образы олимпийцев теснились, венчая гору, загораживая дорогу. Последний луч скользнул еще раз поверх туманных нимбов и умер, как слабое воспоминание. И ночь с надвигающеюся грозой воцарилась безраздельно, а темные образы заняли все небо... В середине, с головой, увенчанною нимбом, увидел Ктезипп могучего Кронида. Кругом толпились гневные фигуры старших богов, смятенные и в мрачном движении. Как стаи птиц, летящие в вечернюю даль, как пыль, взметаемая ураганом, как осенние листья, гонимые бореем, реяли длинною тучей бесчисленные меньшие божества народной веры, заполняя пространство...

Когда же тучи двинулись с вершины и мрачный ужас ринулся перед ними, обвеивая землю, Ктезипп упал ниц: он признавался впоследствии, что в эту страшную минуту он забыл все выводы и все заключения, так как душа его умалилась и над ней властно пронесся страх...

Он только слушал.

Два голоса звучали там, где молчала перед бурей вся оцепеневшая природа. Один — могучий и грозный голос божества, другой был слабый голос человека, приносимый ветром со склона горы, где Ктезипп оставил Сократа.

— Ты ли,— говорил голос из тучи,— дерзкий Сократ, надменный разумом, боровшийся с богами земли и неба? Не было бессмертных веселее и светлее нас, олимпийцев,— теперь давно уже проводим мы свои дни в сумерках от неверия и сомнений, воцарившихся на земле... Однако никогда еще эти туманы не сгущались так сильно, как с тех пор, когда среди любезных некогда

Афин послышалось ненавистное слово твое, сын Софрониска. Почему не следовал ты заветам отца твоего? Добрый Софрониск позволял себе, особенно в молодые годы, небольшие кощунства, но все же не один раз запах его жертв радовал наше обоняние...

— Остановись, Кронид,— сказал Сократ,— и разреши мое недоумение: итак, малодушное лицемерие предпочитаешь ты исканию истины?

Вслед за этим вопросом скалы дрогнули от громового удара. Первое дыхание грозы промчалось и стихло в дальних ущельях, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожал от гнева восседавший на ее вершине... А в пугливой тишине сгустившейся ночи слышались только дальние стоны. Казалось, это в самом сердце земли стонали от удара Кронида скованные титаны...

— Где ты теперь, дерзкий вопрошатель? — раздался насмешливый голос олимпийца.

— Я здесь, Кронид, здесь, на том же самом месте, и только твой ответ подвинет меня дальше. Я жду.

Гром заворчал в туче, как дикий зверь, удивленный бесстрашием ливийца-укротителя, когда он безоружный подходит к нему с ясным взглядом. И через несколько мгновений голос прошумел вновь над равниной:

— О сын Софрониска! Не довольно ли тебе, что на земле ты расплодил столько сомнений, что даже здесь, на Олимпе, они окружили нас темными облаками! Поистине, иные дни, когда ты беседовал на площадях, в академиях или в публичных раздевальнях,— нам казалось, что ты разрушил уже на земле все алтари и что это пыль от развалин несется к нам в горния... Тебе мало: ты и здесь, перед лицом моим, не признаешь власти бессмертных...

— Зевс, ты сердишься. Скажи, кто дал мне то гениальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться к истине?

В туче царствовало таинственное безмолвие.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итак, я исследую дело. Или это божественное начало дано тобою, или другим. Если оно дано тобою, то тебе же я несу его в дар как созревший плод моей жизни, как пламя от зароненной тобою искры. Смотри, Кронид, я сохранил твой дар; в лучшем углу моего сердца я взрастил твое семя. Вот он, огонь моей души, который горел в горькую минуту, когда я собственной рукой обрезывал нить моей жизни.

Отчего же ты не примешь его, зачем ты сердишься, как плохой наставник, которому старость мешает разглядеть, что отрок-ученик чертит на послушном воске его собственные повеления?.. Кто же ты, приказывающий мне погасить священный огонь, освещавший мою жизнь с тех пор, как в нее проник первый луч святой мысли? Солнце не говорит звездам: «Угасните, чтобы мне взойти». Оно всходит, и слабое сияние звезды утопает в свете бесконечно сильнейшем. День не говорит факелу: «Погасни — ты мне мешаешь». Он разгорается, и факел дымит, но не светит. Божество, к которому я иду,— не ты, боящийся сомнений. Он, как день, он, как солнце, светит сам, не угашая ничьего света. Тот, который скажет мне: «Странник, дай мне твой факел, он не нужен тебе больше, потому что я — источник всякого света...» Тот, кто скажет: «Сложи на моем алтаре слабый дар твоих сомнений, потому что во мне разрешение...» Вот мой Бог, которого я ищу! Если это ты, то прими мои вопросы. Никто не убивает своего детища, а мои сомнения — порождение вечного духа, которому имя — истина!

Темные тучи разорвались от края и до края небесными огнями, и в криках бури опять раздался могучий голос:

— К чему вели твои сомнения, надменный мудрец, отринувший смирение, лучшее украшение земных добродетелей? Ты оставил приютный кров простодушной веры, чтобы вступить в пустыню сомнений. Ты видел его — этот мертвый простор, оставленный живыми богами. Тебе ли одолеть его, ничтожному червю, ползающему в прахе своего жалкого отрицания? Тебе ли оживить мир, тебе ли постигнуть неведомое божество, которому ты не умеешь молиться? Ничтожный мусорщик, запачканный пылью разрушенных алтарей,— ты ли тот зодчий, которому суждено воздвигать новые храмы? На что же надеешься ты, отринувший старых богов и не знающий нового? Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа,— таков ваш мир, жалкие черви, истачивающие живую веру, прибежище простых сердец, вселенную обратившие в мертвый хаос... Что же?.. Где ты теперь, ничтожный и дерзкий мудрец?

Буря одна властно гремела на просторе... Потом стихли громы, ветер смежил свои крылья, и только потоки дождя лились во мгле, точно обильные, неу-

держимые слезы, готовые поглотить землю, покрыть ее потоком неутолимой скорби...

И Ктезиппу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолк бесстрашный голос, привыкший к неустанным вопросам. Но через минуту он раздался снова на том же месте:

— Слова твои, Кронид, попадают лучше твоих громов. Ты бросил в смущенную душу то, что давно уже и не раз звучало в моем сердце, и каждый раз оно изнемогало под бременем невыносимой скорби. Да, я оставил приютный кров, где царила простодушная вера; да, я видел ее, пустыню, лишенную живых богов, окутанную ночью непроглядных сомнений. Но я бесстрашно вступил в нее, потому что мне светил мой гений, божественное начало всякой жизни. Исследуем вопрос: не во имя ли Того, кто дает жизнь, курятся фимиамы на твоих алтарях? Ты — похититель чужого: не тебе, а Ему поклоняется простодушная вера, но не Его ли также ищет неусыпающее сомнение? Да, я не зодчий, я не создатель нового храма, не мне было суждено на старом месте поднять от земли к небу величавое здание грядущей веры. Я — мусорщик, запачканный пылью разрушения. Но, Кронид, совесть говорит мне, что и работа мусорщика нужна для будущего храма. Когда на расчищенном месте стройно и величаво воздвигнется чудное здание и в нем воцарится живое божество новой веры, я, скромный мусорщик, приду к нему и скажу: «Вот я, без устали ползавший в прахе отрицания. Окруженному туманом и пылью, мне некогда было поднять глаза от земли, в моем уме лишь слабо рисовалась мечта будущего созидания... Отринешь ли Ты меня, праведный, истинный и великий?..»

В туче царило удивленное молчание, а Сократ возвысил голос и продолжал:

— Солнечный луч падает на грязную лужу, и легкий пар, оставив на земле грязные части, тяжелые и бренные, тянется к светлому Гелиосу и тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к Тебе, Неведомый, чье имя — Тайна... Я искал Тебя, потому что Ты в истине, я стремился к Тебе, потому что Ты в справедливости, я любил Тебя, потому что Ты в любви, для Тебя я умер, потому что Ты — источник жизни... Неужели Ты отринешь меня, Неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть — прими



их как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о Тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их Ты, которого я не знаю имени, не дай туманным призракам умершей веры заградить мой путь к Твоему вечному свету... Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания.

Итак, расступись же, мертвый туман, я иду своею дорогой к Тому, Кого искал всю мою жизнь...

Я иду. . . . .

Гром загремел, но короткий, отрывистый, как будто эгид выпал из ослабевшей руки громовержца. Голоса бури, колеблясь, ринулись по уступам гор, прошумели в теснинах и, удаляясь, замирали в ущельях. И на их месте слышались иные, неведомые, чудные звуки.

Когда Ктезипп открыл изумленные глаза, перед ним встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов быстро неслись по лазури, точно золотой узор на краях чьей-то ризы. Другие мелькали по дальним уступам и ущельям, и Елпидий, маленькая фигура которого виднелась над расщелиной, простирал к ним руки, как бы умоляя исчезающих о решении судьбы.

А вершина горы уже вся вышла из таинственных облаков и сияла, как факел, над синею мглой долин. И хотя не было на ней ни громовержца Кронида, ни других олимпийцев, только горная вершина, свет солнца и высокое небо, но Ктезипп ясно чувствовал, что вся природа до последней былинки проникнута биением единой таинственной жизни. Чье-то дыхание слышалось в ласкающем веянии воздуха, чей-то голос звучал чудною гармонией, чьи-то чуялись невидимые шаги в торжественном шествии сияющего дня. И еще человек стоял на освещенной вершине и простирал руки в молчаливом восторге и могучем стремлении.

Мгновение — и все исчезло, и сияние обыкновенного дня показалось проснувшейся душе Ктезиппа жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощущением природы, проникнутой веянием единой неведомой жизни.

. . . .

В глубоком молчании выслушали ученики погибшего философа странный рассказ Ктезиппа. Платон первый прервал молчание.

— Исследуем,— сказал он,— сон и его значение.

— Исследуем,— ответили остальные.

1889—1890

СУДНЫЙ ДЕНЬ
(Иом-кипур) [1]

Малорусская сказка

Огонь погас, а месяц всходит.
В лесу пасется волколак.
Шевченко

I

Вот что: выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночною дорогой... А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то надбережным яворам... И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?

Все может случиться. Вот с знакомым моим, новокаменским мельником, тоже раз приключилась история... Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что

[1] Через десять дней после еврейского нового года, который празднуется раннею осенью, наступает у евреев праздник иом-кипур (очищения). Местное христианское население называет этот день «судным днем». Существует поверье, что в этот день еврейский черт, Хапун, уносит из синагоги одного еврея. К этому поверью подали повод, вероятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающие празднование иом-кипура и совершающиеся в маленьких городишках Западного края на виду у христианского населения.

хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю, было это на самом деле или не было...

Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо, как было.

Раз вечером, после вечерней службы в Новой Каменке,— а мельница от села верстах этак в полуторах, не более,— мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Вот как чешет, вражий сын,— говорили добрые люди с великим решпектом [1],— хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так вот и он читает: речь как кованое колесо по камню гремит, а слова никак не ухватишь».

А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господа бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.

После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.

Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз — неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самою серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:

---

[1] Почтением, уважением (от *фр.*— respect).— *Ред.*

— Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?

Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного! — и шел себе дальше прегордою поступью.

А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот,— мельник все-таки останавливался и говорил сам:

— А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!

И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:

«Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи...»

Тут поравнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бáхорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды — это уж всему свету известно — строго наблюдают свою веру: ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бáхори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой и хитрый же! — подумал про себя мельник.— Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать — где нашим!»

Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю,— и спросил:

— Янкель! Эй, Янкель! Дома ты или, может, тебя нету?

— Нету, не видите, что ли? — отвечал наймит из-за прилавка.

— А где?

— Где — в городе, вот где,— отвечал наймит.— Вы разве не знаете, какой у них день?

— Какой?

— Иом-кипур!

«Вот объяснил, так объяснил!» — подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в «Часослове» еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в «Апостоле» никаким способом. Зато в чем другом ни за что, бывало, не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз: «не знаю», а наймит тотчас: «а я так знаю». Неприятный человек... Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапкою ногтями заскреб, а он радуется.

— Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?

— А что мне и знать всякий жидовский праздник! — ответил мельник с досадой.— Разве я у них служу или что?

— Всякий? То-то вот и есть, что не всякий! Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу: такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает.

— Ну, вы скажете!

— Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали.

— А?

Мельник только свистнул — как же это он, в самом деле, не догадался? — и заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разостланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-моканки и слышалось жужжание как будто от нескольких здоровенных, в рост человека, пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем, вторая жена

и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова схватить было невозможно. Однако же было что-то такое в этом молении удивительное: казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? — кто их знает! Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах...

У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе — и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал:

— Молятся!.. Так, говоришь, Янкель поехал в город?

— Поехал.

— И что ему за охота? Ну как его-то как раз Хапун и цапнет?

— То-то и оно! — ответил наймит.— Кабы так на меня, то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль,— а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате — небось из хаты не выхватит.

— А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?

— Почему?.. Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда как в лавку.

— А почему в лавку?

— Потому, что в лавке шапок видимо-невидимо.

— Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге: там тоже жидов видимо-невидимо! Толкутся, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы и до заставы. А где толкун мошкары толчется, туда, известно, и птица летит. Дурак бы был и Хапун, если бы стал вместо того по лесам да по селам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жид, а в которой, может, и не найдется.

— Ну, таких мало.

— Хоть мало, а все-таки... притом, из многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельник подумал, что опять его наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все неслись жужжание, и плач, и причитание жидов.

— Да это еще правда ли? — заговорил мельник, которому захотелось подразнить наймита.— Может, так

люди брешут! Один дурень сбрехнет, а другой и поверит.

Наймиту эти слова не понравились.

— Разве это я сам выдумал,— сказал он,— или мой отец, или сват... Когда это известно всему крещеному народу.

— А вы ж сами это видели? — задорно спросил мельник.

Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого черта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте.

— А вы ж, говорит, сами видели? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что!

Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой — волк его заешь! — и он человек был, чтобы совсем сдаться.

— Лгать не стану, говорит, сам никогда не видал. Ну, а вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?

— Нет, не видел, тоже лгать не буду.

— А он-таки есть, хоть вы его и не видали.

Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза.

«Вот что правда, то правда,— подумал он,— таки Киев есть, хоть я его не видал... Видно, надо верить, когда добрые люди говорят».

— Ну, хорошо... От кого ж вы это слышали?

— Ба! от кого? А вы от кого про Киев слыхали?

— Тю-тю! Ну и язык у вас!.. Чистая бритва, чтоб ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать... Если все говорят, то, значит, правда. Не была бы правда, то все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

— Тьфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я ж уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул... А только я б хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

— А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит...

— А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!

— Эге-ге, так, видно, вы и этого не знаете, что бывает в судный день?..

— Знал, то б и не спрашивал. Слышу давно — люди

болтают, вот как и ты: Хапун, Хапун, а в какой разум это говорится, и не знаю.

— Так бы сразу и говорили, что не знаете... Если хочете знать, так я и расскажу, потому что я побывал-таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу.

— А не грех тебе? — усомнился мельник.

— Другому кому грех, а солдату все можно! Нам такая и бумага выдается.

— Разве что бумага...

После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду.

Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский черт. Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего черта, такой же черный и с такими же рогами, и крылья у него, как у здоровенного нетопыря; только носит пейсы да ермолку и силу имеет над одними жидами. Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь, где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пугливая собака. А над жидами дается ему воля: каждый год выбирает себе по одному и уносит...

Для этого-то вот выбора и назначается *иом-кипур*, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки. Перед вечером все моются в речке или на ставах [1], а как зайдет солнце, идут бедняги в свою школу [2], и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог: все орут в голос, а глаза от страха закрывают... А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда, Хапун вылетает из своего места и вьется над школой, и в окна бьет крылом, и высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, Хапун, как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, которого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину

---

[1] Став — пруд.

[2] Простой народ в Юго-Западном крае называет синагоги школами.

впиваются чертовы когти. А! рассказывать об этом и то даже мороз по-за шкурой пройдет, а каково-то бедному жиду!.. Само собою — кричит во все горло. Ну, да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей и слышит, так что ж тут делать,— рад, что не ему выпала злая доля!..

Наймит Харько сам слыхал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный... Это служка из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем как другие надевают в передней патынки (потому что в школу входят в одних чулках) и тихо расходятся по домам.

Видел также Харько, как они останавливались кучками против месяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо... А в это время, когда уже все до одного разойдутся, на полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара патынков и ждет своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами Хапун тащит хозяина патынков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная да темная. А ежели тихая да ясная, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал...

— А почему? — спросил мельник.

— А потому, что вот видите вы: стоит любому, даже и не хитрому, крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяке: «Кинь! Это мое!» — он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк [1], и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото, на мягкое место. А то все равно, пропадет без всякой пользы... Ни себе, ни черту.

— Вот так штука! — сказал мельник в раздумье и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи. Небо было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако как облако, но вот что показалось мельнику немного странно: кажись, и ветру нет, и лист

---

[1] Коршун.

на кустах стоит — не шелохнется, как заколдованный, а облако летит, как птица, и прямо к городу.

— А поглядите-ка, что я вам покажу,— сказал мельник наймиту.

Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно:

— Ну, так что ж? Нашли, что показывать: облак, так и облак! Бог с ним...

— Да вы поглядите-ка еще — ветер есть?

— Та-та-та-а... Вот оно что! — догадался наймит.— Прямо в город мандрует...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху.

А из окон по-прежнему неслось жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы... Жиденята плакали, надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом...

— А! пора и домой,— очнулся мельник.— А я было хотел гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за них,— сказал на это наймит, глядя в сторону.

Но мельник притворился, что не слыхал этих слов. Деньги были не такие маленькие, чтобы вот так, просто, отдать какому-нибудь пройди-свету, отставному солдату.

— Прощайте-ка,— сказал поэтому мельник.

— Прощайте и вы! А деньги я таки принял бы.

— Не беспокойте себя: отдам и самому.

— Это как себе хотите. А взять и я взял бы, беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать. Видно, кроме вас никакая собака уже не завернет сегодня.

Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белою краской кварта, рюмка и жестяной крючок (шкалик). А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы, в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-пречерная тень.

Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом...

II

Мельник прошел не более десяти сажен, как в садочке по-за тыном что-то зашуршало и зашумело, будто

вспорхнули две большие птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубок с девкой, испуганные тем, что мельник сразу вышел из темноты. Впрочем, парубок, видно, был не из страшливых: отойдя еще подальше в тень, так что едва белели под вишнями две фигуры, он крепкою рукой придержал всполохнувшуюся девушку и опять повел тихие речи. А пройдя еще немного, мельник услышал что-то такое, что даже остановился от большой досады...

— А ты — не знаю, как тебя,— подождал бы хоть целоваться,— сказал он.— А то чмокаешь на все село,— сказал он, подойдя к самому тыну.

— А тебе, собачий сын, надо в чужие двери нос совать? — ответил парубок из тени.— Так вот погоди, я и тебя поцелую дрючком по ногам. Будешь вперед знать, как людям делать помеху.

— Ну-ну! — сказал мельник, отходя.— Подумаешь, важную работу делает... Да и подлый же какой-то парубок, как чмокает, даже человеку стало как будто завидно. Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал в голове и потом, привернувши к сторонке, занес ногу через тын и пошел огородом к вдовиной избушке, что стояла немного поодаль, край села, под высокою топóлей... Хатка была малюсенькая да еще сгорбилась и похилилась к земле. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядеть, будь ночь сколько-нибудь потемнее. Но теперь хатка вся так и горела от месячного света, солома на ней казалась золотая, а стена серебряная, и оконце чернело на стене, как прищуренный глаз. Огня в окне не было. Должно быть, у старухи с дочкой нечем было вечерять, незачем было и светить. Мельник постоял, потом тихонько стукнул два раза в оконце и отошел к сторонке.

Недолго еще и постоял, как две полные девичьи руки крепко обвились вокруг его шеи, а меж усов так даже загорелось что-то, как приникли к мельниковым устам горячие девичьи губы. Э, что тут рассказывать! Если вас кто так целовал, то вы и сами знаете, а если никогда с вами ничего такого не было, то не стоит вам и говорить.

— Филиппко мой, милый, желанный! — говорила, ласкаясь, девушка,— пришел-таки... А я уж ждала-заждалась, думала, иссохну без тебя, как та былинка без воды...

«Э, не иссохла-таки, слава тебе, господи! — подумал



про себя мельник, прижимая рукой не очень-то худощавый стан девушки.— Слава богу, еще ничего».

— Когда же рушники готовить будем? — заговорила девушка, все еще держа руки на плечах Филиппа и обдавая его горячим взглядом черных очей.— Ведь уж скоро филипповки.

Эта речь пришлась мельнику не так по вкусу, как девичьи поцелуи. «Видишь ты, куда гнет,— подумал он про себя.— Эх, Филипп, Филипп, задаст она тебе теперь потасовку». Но все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза в сторону, он промолвил:

— Э, какая ты, Галя, ла́сая. Сейчас тебе и рушники. Как же это можно, когда я теперь сам мельник и скоро, может, стану первый богатырь (богач) на селе, а ты — бедная вдовина дочка?

Девку шатнуло от того слова, будто ее ужалила змея. Она отскочила от Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... ох, бедная ж моя голова!.. Так чего ж это ты, подлый человек, стучал в оконце?

— Эге! — ответил мельник,— чего стучал... А что же мне и не стучать, если твоя мать должна мне деньги? А ты выскочила да прямо целоваться. Что ж мне... Я тоже умею целоваться не хуже людей.

И он опять протянул к ней руку, но только что его рука коснулась девичьего стана, как стан этот вздрогнул, будто девку ужалила гадюка.

— Геть! — крикнула она так сердито, что мельник попятился назад.— Я тебе не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вот подойди еще, я тебя так огрею, что ты после того забудешь ласовать на три года.

Мельник растерялся.

— Вот какая гордячка! А что я, прости господи, жид, что ли, тебе дался, что ты вот так паскудно лаешься?

— А то не жид, что ли? За полтину уже рубль нарастил, да еще тебе мало: ко мне полез за процентами. Геть! — говорю тебе,— постылый!

— Ну девка! — сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветила кулаком.— Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на

стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачем я это пришел? — говорит мельник старухе.

— Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая,— засмеялся мельник,— а за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить.

— Вот же таки за чужими и пошел,— задорно сказала Галя, взявшись в боки и наступая на мельника,— не за своими же!

— Фу, скаже́нная [1] девка! — сказал тут мельник, отступивши еще шага на два.— Ей-богу, такой скаженной девки во всем селе не сыщется. Да не то что в селе, а во всей губернии. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вот тут одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдет в свидетели, так я бы тебя в суд потянул за бесчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, девка!

— А что мне одуматься, когда это чистая правда?

— Какая ж это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?

— Брешешь, брешешь, как рудая собака! Когда был еще подсыпкой [2] да со мной женихался, хотел в дом идти и не говорил, что назад потребуешь. А как дядько помер да сам ты стал мельником, так весь долг уже перебрал, и еще тебе мало?

— А мука?

— Ну что мука?.. За муку сколько следовало?

— По копе [3], вот сколько! Дешевле никто не отдаст, хоть куда хочешь поезжай, хоть себя отдай в придачу.

— А с нас ты сколько уже перебрал?

— Тю-тю, куда махнула! Язык у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я ж тебе на то отвечу: а проценты? Ну что, взяла?

Но Галя уже ничего не ответила. С девками оно часто так бывает: говорит-говорит, лопочет-лопочет, как мельница на всех поставах, да вдруг и станет... Подумаешь, воды не хватило... Так где! Как раз полились рекой

---

[1] Сумасшедшая.

[2] Подсыпка — работник на мельнице, засыпающий зерно на жернова.

[3] Копа — в малороссийском счете значит шестьдесят. Копа грошей — тридцать копеек.

горькие слезы и отошла в сторону, все утирая глаза широким рукавом белой сорочки.

— От так! — сказал мельник, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный.— Чего б это я кидался на людей. Не лаялась бы, так нечего бы и плакать.

— Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

— Молчи же и ты, когда так!

— Молчи уже, молчи, моя доню,— прибавила старая мать, тяжко вздохнувши. Старуха боялась, видно, рассердить мельника. Видно, у старухи нечем было заплатить в этот срок.

— Не стану молчать, мамо, не стану, не стану! — ответила девушка, точно в мельнице опять пошли ворочаться все колеса.— Вот же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выцарапаю, чтобы не смел на меня славу напрасно наводить, да в окна стучать, да целоваться!.. Зачем стучал, говори, а то как хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельник и богатырь. Небось прежде не гордился, сам женихался да ласковыми словами сыпал. А теперь уж нос задрал, что и шапка на макушке не удержится!

— Ой, доню, молчи уже, моя смирная сиротинка! — сокрушенно вздохнув, опять промолвила старуха.— А вы, пан мельник, не взыщите на глупой девке. Молодой разум с молодым сердцем — что молодое пиво на хмелю: и мутно, и бурлит. А устоится, так станет людям на усладу.

— А мне что? — сказал мельник.— Мне от нее ни горечи, ни услады не нужно, потому что я вам не ровня. Мне мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядеть не стану.

— Ох, нет же у нас! Подожди еще, заработаем с дочкой вдвоем, то и отдам. Ох, горе мое, Филиппушка, и с тобою, и с нею. Ты ж сам знаешь, я тебя, как сына, любила, не думала не гадала, что ты с меня, старой, те долги поверстаешь да еще с процентами... Хоть бы дочку, что ли, замуж отдать, и женихи есть добрые — так вот не идет же ни за кого, хоть ты что хочешь. С тех пор как ты с нею женихался, будто заворожил девку. Лучше, говорит, меня в сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяла вам до зари вот тут простаивать... Ой, лихо мне!..

— А как же мне быть? — сказал мельник.— Ты, старая, этих дел не понимаешь: у богатого человека

расход большой. Вот я жиду должен, так отдаю — отдавайте и вы мне.

— Подожди еще хоть с месяц.

Мельник поскреб в голове и подумал. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Га́лина узорная сорочка недалеко белела.

— А я, смотри, за это еще десять грошей накину,— сказал он.— Лучше отдала бы.

— Что ж делать! Видно, моя доля такая,— вздохнула старуха.

— Ну, значит, так оно и будет. Я не жид, я таки добрый себе человяга. Другой бы, уж я верно знаю, накинул бы двадцатку, а я накину десять грошиков и подожду еще до филипповок. Да смотри, тогда уже стану жаловаться в правлении.

И он, не поклонившись, повернулся и пошел себе за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще белела узорная сорочка,— белела на черной тени под вишеньем, как белесая звездочка,— и нельзя было мельнику видеть, как плакали черные очи, как тянулись к нему белые руки, как вздыхала девичья грудь.

— Не плачь, доню, не плачь, ясочко,— говорила старая При́ся.— Не плачь, видно такая божия воля.

— Ох, мамо, мамо, хоть бы дала ты мне очи ему выцарапать! Может, мне стало бы легче...

III

После этого мысли мельника стали как-то еще скучнее.

«Вот, что-то все не так идет на этом свете,— думал он про себя.— Как-то человеку все бывает неприятно, а отчего — и не придумаешь... Вот теперь девка прогнала... Жидом назвала, эге-ге!.. Кабы я был жид да имел такие деньги, да торговлю... да разве так стал бы я жить, как теперь? Нет, не так! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельнице сам, ночь недоспи, днем недоешь; гляди за водой, чтоб не утекла, гляди за камнем, гляди за валом, гляди на валу за шестернями, гляди на шестернях за пальцами, чтобы не повыскочили да чтобы забирали ровно... Э, гляди еще и за проклятым работником-подсыпкой. Разве можно положиться на наймита? Только уйди на минуту, сейчас и он, подлый человек, куда-

нибудь к девкам утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, с тех пор как дядько — царствие ему небесное! — убухался с пьяных глаз в омут, стал я сам хозяином и деньжонки таки стали заглядывать в мои карманы... Так опять что в них? За рублем каким-нибудь ходишь, ругают тебя и за глаза, да и в глаза не стыдятся, а много ли прибытку? Пустяки! Никогда крещеному человеку не перепадет столько, как жиду. Вот когда бы еще жида унесла нелегкая из села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Ни к кому не пошли бы, как ко мне, и за копейкой, когда надо на подати, и за товаром. Ге! можно бы и шиночек, пожалуй, открыть... А на мельнице или бы кого посадил, или хоть продал бы. Ну ее! Как-то все человек еще не человек, пока работает. То ли дело, когда от грошика грошик сам родится. Этого только дурак не понимает... Заведи себе пару свиней; глядишь — свинья зверь плодущий — через год уж чуть не стадо! Так вот и деньги: пускаешь их по глупым людям, будто на пастбище, только не зевай да умей опять согнать по времени: от гроша родится десять грошей, от карбованца — десять карбованцев...»

Тут мельник вышел уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологий спуск к реке. Впереди уже слышно было — так, чуть-чуть, когда подыхивал ночной ветерок,— как сонная вода звенит в лото́ках. А сзади, оглянувшись еще раз, мельник увидел спящее в садах село и под высокими тополями маленькую вдовину хатку... Он остановился и подумал немного, почесываясь в голове.

— Э, дурак я был бы! — сказал он наконец, пускаясь в дальнейший путь.— Пожалуй, не выдумай дядько в ту ночь, напившись наливочки, залезть в омут, теперь меня бы уж окрутили с Галею, а она вот мне и неровня. Эх и сладко же, правда, целуется эта девка — у-у как сладко!.. Вот и говорю, что как-то все не так делается на этом свете. Если б к этакому личику да хорошее приданое... ну хоть такое, как кодненский Макогоненко дает за своею Мотрей... Э, что уж тут и говорить!..

Он кинул из-под горы последний взгляд назад, когда на селе раздался вдруг удар колокола. Что-то как будто упало с колокольни, что виднелась среди села, на горочке, и полетело, звеня и колыхаясь, над полями.

«Эге, это уже, видно, становится на свете полночь»,— подумал он про себя и, зевнув во всю глотку, стал быстро спускаться под гору, думая опять о своем стаде. Ему так

и виделись его карбованцы, как они, точно живые, ходят по разным рукам, в разных делах и все пасутся себе, и все плодятся. Он даже засмеялся, представивши, как разные дурни думают, что стараются для себя. А придет срок, и он, хозяин стада, опять сгонит его в свой кованый сундук вместе с приплодом.

И все это были мысли приятные. Только воспоминание о жиде опять испортило эти приятные мысли. Мельнику стало скучно, что жид захватил себе все пастбища и его бедным карбованцам нечем кормиться, негде плодиться, точно стаду баранов на выгоне, где уже побывали жидовские козы... Тут уж, известно, не раскормишься.

«Э, чтоб его чертяка забрал, проклятого!» — подумал мельник, и ему показалось, что вот это самое и есть то, отчего ему так скучно... Вот это самое только и есть плохое на свете. Проклятые жиды мешают крещеному человеку собирать свой доход.

Тут, в половине горы, где тихий и будто сонный шум воды в лотóках слышался уже без перерывов,— мельник вдруг остановился как вкопанный и ударил себя ладонью по лбу.

— Ба, вот была бы штука!.. Право, хорошая штука была бы, ей-богу! Ведь нынче как раз судный день. Что, если б жидовскому черту полюбился как раз наш шинкарь Янкель?.. Да где! Не выйдет. Мало ли там, в городе, жидов? К тому же еще Янкель — жидище грузный, старый да костистый, как ерш. Что в нем толку? Нет, не такой он, мельник, счастливый человек, чтобы Хапун выбрал себе из тысячи как раз ихнего Янкеля.

На минуту в голове мельника, как беспокойные муравьи, закопошились другие мысли:

«Эх, Филипп, Филипп! Нехорошо и думать такое крещеному человеку, что ты себе теперь думаешь. Опомнись! Ведь у Янкеля останутся дети, будет кому долг отдать... А второе-таки и грешно — Янкель тебе худого не делал. Может, другим и есть за что поругать старого шинкаря, так ведь с других-то и ты сам не прочь взять лихву...»

Но на эти неприятные мысли, что стали было покусывать его совесть, как собачонки, мельник выпустил другие, еще посердитее:

«Все-таки жидюга так жидюга, не ровня же крещеному человеку. Если я и беру лихву — ну и беру, этого

нельзя сказать, что не беру,— так ведь лучше же, я думаю, отдать процент своему брату, крещеному, чем некрещеному жиду».

В эту минуту и ударило в последний раз на колокольне.

Должно быть, звонарь, Иван Кадило, заснул себе под церковью и дергал веревку спросонок — так долго вызванивал полночь. Зато в последний раз, обрадовавшись концу, он бухнул так здóрово, что мельник даже вздрогнул, когда звон загудел из-за горы, над его головой, и понесся через речку, над лесом, в далекие поля, по которым вьется дорога к городу...

«Вот теперь уже все спят на свете,— подумал про себя мельник, и что-то его ухватило за сердце.— Все спят себе, кому где надо, только жиды толкутся и плачут в своей школе, да я стою вот тут, как неприкаянная душа, над омутом и думаю нехорошее...»

И показалось ему в тот час все как-то странно... «Слышу, говорит, что это звон затихает в поле, а самому кажется, будто кто невидимка бежит по шляху и стонет... Вижу, что лес за речкой стоит весь в росе и светится роса от месяца, а сам думаю: как же это его в летнюю ночь задернуло морозным инеем? А как вспомнил еще, что в омуте дядько утоп,— а я немало-таки радовался тому случаю,— так и совсем оробел. Не знаю — на мельницу идти, не знаю — тут уж стоять...»

— Гаврило! Эй, Гаврило! — крикнул он тут подсыпке-работнику.— Так и есть, на мельнице пусто, а он, лодырь, опять помандровал на село, к девкам.

Вышел Филипп на светлое место, на середину плотины. Слышит: вода просасывается в шлюзах, а ему кажется, что это кто-то крадется из омута и карабкается на колеса...

«Э, лучше пойду-таки спать»,— подумал он про себя... Только прежде еще раз оглянулся.

Месяц давно перебрался уже через самую верхушку неба и смотрелся на воду... Мельнику показалось удивительно, как это хватает в его маленькой речке столько глубины — и для месяца, и для синего неба со всеми звездами, и для того маленького темного облачка, которое, однако, несется легко и быстро, как пушинка, по направлению из города.

Но так как глаза его уже слипались, то удивлялся он недолго и, отворив отмычкой наружную дверь и запер-

шись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, как вернется гуляка подсыпка,— отправился к себе на постель...

IV

«Эге-ге, встань, Филипп!.. Вот так штука! — вдруг подумал он, подымаясь в темноте с постели, точно его кто стукнул молотком по темени.— Да я ж и забыл: ведь это возвращается из города то самое облачко, которое недавно покатилось туда, да еще мы с жидовским наймитом дивились, что оно летит себе без ветру. Да и теперь ветер, кажись, невелик и не с той стороны. Погоди! История, кажется, тут не простая...»

Сильно клонило мельника ко сну. Но... Вот он вышел босиком на плотину и стал на самой середине, почесывая себе брюхо и спину (на мельнице таки было не без блох!). В спину ему подувал с запруженной реки ветерок, а спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летело не так ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, как подстреленная птица. Когда же оно налетело на луну, то мельник уже ясно понял, что́ это за история, потому что на светлом месяце так и вырезались черные крылья, а под ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура, с длинною, трясущеюся бородою...

«Э-эй! Вот тебе и штука,— подумал мельник.— Несет одного. Что ж теперь делать? Если крикнуть: «Кинь, это мое!» — так ведь, пожалуй, бедный жид расшибется или утонет. Высоко!»

Но тут он увидел, что дело меняется: черт со своею ношей закружился в воздухе и стал опускаться все ниже. «Видно, пожадничал да захватил себе ношу не под силу,— подумал мельник.— Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида,— все-таки живая душа, не сравняешь с нечистым. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровее!»

Но вместо этого, сам не знает уж как, он изо всех ног побежал с плотины и спрятался под густыми яворами, что мочили свои зеленые ветви, как русалки, в темной воде мельничного затора. Тут, под деревьями, было темно, как в бочке, и мельник был уверен, что никто его не увидит. А у него в это время уж и зуб не попадал на зуб, а руки и ноги тряслись так, как мельничный рукав

во время работы. Однако брала-таки охота посмотреть, что будет дальше.

Черт со своею ношей то совсем припадал к земле, то опять подымался выше леса, но было видно, что ему никак не справиться. Раза два он коснулся даже воды, и от жида пошли по воде круги, но тотчас же чертяка взмахивал крыльями и взмывал со своею добычей, как чайка, выдернувшая из воды крупную рыбу. Наконец, закатившись двумя или тремя широкими кругами в воздухе, черт бессильно шлепнулся на самую середину плотины и растянулся, как неживой... Полузамученный, обмерший жид упал тут же рядом.

А надо вам сказать, что наш мельник уже давно узнал, кого это приволок из города жидовский Хапун. А узнавши — обрадовался и повеселел: «А слава ж тебе, господи,— сказал он про себя,— таки это не кто иной, только наш новокаменский шинкарь! Ну, что-то будет дальше, а только кажется мне так, что в это дело мне мешаться не следует, потому что две собаки грызутся, третьей приставать незачем... Опять же моя хата с краю, я ничего не знаю... А если б меня тут не было!.. Не обязан же я жида караулить...»

И еще про себя думал: «Ну, Филиппушка, теперь твое время настанет в Новой Каменке!..»

V

Долгое время оба — и бедный жид, и чертяка — лежали на плотине совсем без движения. Луна уже стала краснеть, закатываться и повисла над лесом, как будто ожидала только, что-то будет дальше. На селе крикнул было хриплый петух и тявкнула раза два какая-то собака, которой, верно, приснился дурной сон. Но ни другие петухи, ни другие собаки не отозвались — видно, до свету еще было порядочно далеко.

Мельник издрог и стал уже подумывать, что это все ему приснилось, тем более что на плотине совсем потемнело и нельзя было разобрать, что там такое чернеет на середине. Но когда долетел из села одинокий крик петуха, в кучке что-то зашевелилось. Янкель поднял голову в ермолке, потом огляделся, привстал и тихонько, по-журавлиному приподнимая худые ноги в одних чулках, попытался улепетнуть.

— Эй, эй! придержи его, а то ведь уйдет,— чуть было

не крикнул испугавшийся мельник, но увидел, что черт уже прихватил шинкаря за длинную фалду.

— Погоди,— сказал он,— еще рано... Смотри ты, какой прыткий! Я не успел еще отдохнуть, а ты уже собрался дальше. Тебе-то хорошо, а каково мне тащить тебя, такого здоровенного! Чуть не издох.

— Ну,— сказал жид, стараясь выдернуть фалду,— отдыхайте себе на здоровье, а я до своей корчмы и пешком дойду.

Черт даже привстал.

— Что такое? Что, я тебе в балагулы [1], что ли, нанялся, возить тебя с шабаша домой, собачий сын? Ты еще шутишь...

— Каќово могут быть шутки,— ответил хитрый Янкель, прикидываясь, будто он совсем не понимает, чего от него нужно черту.— Я вам очень благодарен за то, что вы меня доставили досюдова, а отсюдова я дойду сам. Это даже вовсе недалекое расстояние. Зачем вам себя беспокоить?

Черт аж подскочил от злости. Он как-то затрепыхался на одном месте, как курица, когда ей отрежут голову, и сразу подшиб Янкеля крылом, а сам опять принялся дышать, как кузнечный мех.

«Вот так! — подумал про себя мельник.— Хоть оно, может быть, и грешно хвалить черта, а этого я все-таки похвалю — этот, видно, своего не упустит».

Янкель, присев, стал очень громко кричать. Тут уже и черт не мог ничего поделать: известно, что пока у жида душа держится, до тех пор ему никаким способом не зажмешь глотку — все будет голосить. «Да что толку? — подумал мельник, оглядываясь на пустую мельницу.— Подсыпка теперь гуляет себе с девками, а то и лежит где-нибудь пьяный под тыном».

В ответ на жалобный плач бедного Янкеля только сонная лягушка квакнула на болоте да бугай прокинулся в очерете и бухнул раза два, точно в пустую бочку: бу-у, бу-у!.. Месяц, как будто убедившись, что дело с жидом покончено, опустился окончательно за лес, и на мельницу, на плотину, на реку пала темнота, а над омутом закурился белый туман.

---

[1] Балагула — известный в Западном крае специально еврейский экипаж, нечто вроде еврейского дилижанса; длинная телега, забранная холщовым верхом, запряженная парой лошадей, она бывает битком набита евреями и их рухлядью (бебехами). Балагулой же называется и возница.

Черт беспечно затрепыхал крыльями, потом опять лег, заложив руки за голову, и засмеялся.

— Кричи, сколько хочешь. На мельнице пусто.

— А вы почем знаете? — огрызнулся еврей и продолжал голосить, обращаясь уже прямо к мельнику: — Пан мельник, ой, пан мельник! Серебряный, золотой, бриллиантовый! Пожалуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самых маленьких слова. Я бы вам за это подарил половину долга.

«Весь будет мой!» — сказало что-то в голове у мельника.

Жид перестал кричать, понурив голову, и горько-прегорько заплакал.

Прошло еще сколько-то времени. Месяц совсем ушел уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. Все на земле и на небе, казалось, заснуло самым крепким сном, нигде не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакал, приговаривая:

— Ой, моя Сура, ой, мои детки, мои бедные детки!..

Черт немного отдышался и сел, все еще сгорбившись, на гати. Над гатью, хоть было темно, мельник ясно увидел пару рогов, как у молодого телка, которые так и вырезались на белом тумане, что подымался из омута.

«Совсем как наш!» — подумал мельник и почувствовал себя так, как будто проглотил что-то очень холодное.

В это время он заметил, что жид толкает черта локтем.

— Что ты толкаешься? — спросил тот.

— Пст! Я что вам хочу сказать...

— Что?

— Скажите вы мне на милость, и что это у вас за мода — хватать непременно бедного жида... Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя. Вот тут живет недалеко отличный мельник.

Черт глубоко вздохнул. Может, и ему стало-таки скучно около пустой мельницы над омутом, только он пустился в разговор с жидом. Приподняв с головы ермолку, из-под которой висели длинные пейсы,— он заскреб когтями в голове так сильно, как самый злющий кот скребет по доске, когда от него уйдет мышь,— и потом сказал:

— Эх, Янкель, не знаешь ты нашего дела! К ним я не могу и приступиться.

— Ну! И что тут долго приступаться, что за большо-

во хитрость? Я сам знаю, как вы меня сразу хапину́ли, что я не успел даже и крикнуть.

Черт весело засмеялся, так что даже спугнул какую-то ночную птицу на болоте, и сказал:

— Что правда, то правда: вас хватать легко... А знаешь ты, почему?

— Ну-у?

— Потому, что вы и сами хапаете здо́рово. Я тебе скажу, что такого грешного народа, как вы, жиды, и нет другого на свете.

— Ой-вай, удивительно! А како́во же это на нас греха?

— А вот послушай...

Тут черт повернулся к жиду и стал считать по пальцам.

— Дерете с людей проценты — раз!

— Раз,— повторил Янкель, тоже загибая палец.

— Людским по́том-кровью кормитесь — два!

— Два.

— Спаиваете людей водкой — три!

— Три.

— Да еще горелку разбавляете водой — четыре!

— Ну, пускай себе четыре. А еще?

— Мало тебе, что ли? Ай, Янкель, Янкель!

— Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дела. Вы думаете, мельник не берет проценты, вы думаете, мельник не кормится людским потом и кровью?..

— Ну, не бреши на мельника. Он человек крещеный! А крещеный человек должен жалеть не только своих, а всех людей, хотя бы и вас, жидов. Нет, Янкель, трудно к крещеному приступиться.

— Ой-вай, каково это ошибка! — крикнул жид весело.— Ну, так я вам вот что буду говорить.

Он вскочил, и черт также приподнялся, и оба стояли друг против друга. Жид что-то прошептал, указав через спину на яворы, и, загнув палец, показал его черту:

— Раз!

— Брешешь, не может этого быть! — сказал черт, немного даже испугавшись, и сам посмотрел на яворы, где притаился Филипп.

— Пхе, я лучше знаю! А вы погодите.

Он опять прошептал и сказал:

— Два! А это вот,— и он еще раз зашептал черту на ухо,— будет три, как честный еврей!..

Черт покачал головой и повторил в раздумье:

— Не может быть.

— Давайте об заклад побьемся. Если моя правда, то вы через год меня отпустите целого и еще заплатите мне убытки...

— Ха! Я согласен. Вот это была бы штука так штука! Тогда бы я не дал маху...

— Ну, я вам говорю, вы сделаете славный гешефт!..

В это время на селе крикнул тот же петух, и хотя крик был такой же сонный и на него опять никто нигде не откликнулся среди молчаливой ночи, но Хапун встрепенулся.

— Э! Ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Собирайся!

Он взмахнул крыльями, взлетел сажени на две над плотиной и опять, как коршун, кинулся на бедного Янкеля, запустивши в спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь к полету...

Ох, и жалобно же кричал старый Янкель, протягивая руки туда, где за рекой стояла на селе его корчма, и называя по имени жену и деток:

— Ой, моя Сурке, Шлемка, Ителе, Мовше! Ой! господин мельник, господин мельник, пожалуйста, заступитесь, скажите три слова! Я ж вижу вас, вот вы стоите тут под явором. Пожалейте бедного жида, ведь и жид тоже имеет живую душу.

Очень жалобно причитал бедный Янкель! У мельника будто кто схватил рукою сердце и сжал в горсти. А чертяка точно ждал чего — все трепыхался крыльями, как молодой стрепет, не умеющий летать, и тихо-тихо размахивал Янкелем над плотиной...

«Вот подлый чертяка,— подумал про себя мельник, прячась получше за явором,— только мучает бедного жида! А там, гляди, и петухи еще запоют...»

И только он подумал это, как черт захохотал на всю реку и разом взвился кверху... Мельник задрал голову, но через минуту черт казался уже не больше вороны, потом воробья, потом мелькнул, как муха, как комарик... и исчез.

А на мельника тут-то и напал настоящий страх: затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом, и уж сам он не помнит хорошенько, что с ним было дальше...

VI

— Стук-стук!..

— Стук-стук-стук!.. Стук-стук!..

Что-то стучало в дверь мельницы, так что гул ходил по всему зданию, отдаваясь во всех углах. Мельник подумал, уж не чертяка ли вернулся,— недаром шептался о чем-то с жидом,— и потому он зарылся с головой в подушку.

— Стук-стук!.. Стук-стук!.. Эй, хозяин, отчиняй!

— Не отчиню.

— А почему так не отчините?

Мельник приподнял голову.

— Э, кажись, голос подсыпки Гаврилы... Гаврило, ты?

— А то кто?

— Побожись!

— Ну?

— Побожись!

— Да ну же, ей-богу, я! Где ж это видано, чтоб я да не я был? Еще и божись. Вот чудасия...

Мельник все-таки поверил не сразу. Он взошел наверх и тихонько посмотрел из оконца, что было над дверьми. Действительно, внизу у стены спокойно стоял подсыпка и делал такое дело, что, пожалуй, никто и не слыхал, чтобы черти когда-нибудь такое делали. У мельника отлегло от сердца, он сошел вниз и отпер дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда он увидел мельника в дверях.

— Э, хозяин, что такое с вами?

— А что?

— Да побойся бога, зачем это ты морду всю в муке вымазал? Белая, как стена!

— А ты, часом, не по-над речкою ли шел?

— А по-над речкою.

— А не глядел ли кверху?

— А может, глядел и кверху.

— А не видал ли, часом, того?

— Кого?

— Кого!.. Дурень! Того, что хапнул шинкаря Янкеля.

— А какой его бес хапнул?

— Какой!.. Известно какой — жидовский, Хапун! Не знаешь разве, какой у них сегодня день!..

Подсыпка посмотрел на мельника мутным взглядом и спросил:

— А вы на селе, часом, не были?

— Был.

— А в шинок не заходили?

— Заходил.

— А горелки не выпили?

— Тьфу! Вот и говори с дурнем. Горелку я пил у попа, а все-таки своими глазами вот сейчас видел: чертяка на плотине отдыхал вместе с жидом.

— Где?

— Вот тут, на самой середине.

— Ну и что?

— Ну и...— мельник свистнул и махнул рукой по воздуху.

Подсыпка посмотрел на плотину, потом, задравши голову, на небо и почесал в чуприне.

— Э, вот это так чудеса! Что ж теперь будет? Как же теперь без жида?

— А на что тебе непременно жид, а?

— Э, не говорите, хозяин: без жида как-то оно не того... без жида не можно и быть...

— Тю!.. Дурень, так дурень и есть!

— Что вы лаетесь? Я и сам не скажу, что умный, а все-таки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить — в шинок. Вот вы и скажите мне, когда вы такой умный: кто ж у нас теперь будет шинковать?

— Кто?

— А таки кто?

— А может, и я?

— Вы?

Подсыпка посмотрел на мельника, вылупивши глаза, потом покачал головою, щелкнул языком и сказал:

— Ну разве что так!

Тут только мельник заметил, что подсыпку плохо держат ноги и что парубки опять подбили ему левый глаз. Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человеку при взгляде на нее хотелось непременно плюнуть. А поди ты: до девчат был самый проворный человек, и не раз таки парни делали на него облаву и бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво, а то чудно́, что было-таки за что бить!

«Вот ведь нет на свете такой паскудной хари,—

подумал, глядя на него, мельник,— которую бы ни одна девка не полюбила. А то и две, и три, и десять... Тьфу ты пропасть!..»

— Вот что, Гаврилушко,— сказал все-таки мельник ласковым голосом,— поди ляг со мною. Когда человек видел такое, что я видел, так что-то бывает страшно.

— А мне что? То и лягу.

Через минуту какую-нибудь подсыпка начал уже посвистывать носом. А скажу вам, такого свистуна носом, как тот подсыпка, другого и не слыхал. Кто этого не любит, так уж с ним в одной хате не ложись — всю ночь не уснешь...

— Гаврило,— сказал мельник,— эй, Гаврило!

— А что еще? Чего бы я это и сам не спал, и другому не давал?

— Били тебя опять?

— Ну так что?

— Где?

— Все надо вам знать. На Кодне.

— Уж и на Кодне?.. Зачем тебя туда понесло?

— Зачем... Чего бы я спрашивал, гы-гы-гы!..

— Мало тебе новокаменских девок!

— Тьфу! Мне на них и смотреть уже на новокаменских обридло. Ни одной по мне нет.

— А Галя вдовина?

— Галя... А что ж такое Галя?

— А ты к ней ходил?

— Так неужели же нет?

Мельника даже подкинуло на постели.

— Брешешь, собачий сын, чтобы твоей матери лихорадка!

— Вот же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешут.

Подсыпка зевнул и сказал засыпающим голосом:

— Помните, хозяин, как у меня правый глаз на всю неделю запух, что и не было видно...

— Ну?

— Она это, собачья дочка, так угостила... Тьфу на нее, вот что!.. А то еще: Галя!

«Разве что так»,— подумал мельник.— Гаврило, а Гаврило!.. Вот, собачий сын, опять засвистел... Гаврило!

— Что еще? Загорелось, что ли?

— Хочешь ты жениться?

— Сапогов еще не сшил. Вот сошью, тогда и подумаю.

— А я бы тебе справил чеботы на дегтю... И шапку, и пояс.

— Разве что так. А вот я что вам скажу, так это будет еще умнее.

— А что?

— А то, что уже на селе петухи кричат. Слышите, как заводят?

И правда: на селе, может быть в Галиной хате, кричал-надрывался горлан петух: ку-ка-ре-ку-у...

— Кук-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у! — отвечали ему на разные голоса и ближние, и дальние, с другого конца села, так что от петушиных криков точно в котле кипело, да и в стенах каморки побелели уже все, даже самые маленькие щели.

Мельник сладко зевнул:

— Ну, теперь они далеко! Поминай Янкеля как звали... Вот штука, так штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то, пожалуй, брехуном назовут. Да мне об этом, пожалуй, и говорить не стоит... Еще скажут, что я... Э, да что тут толковать! Когда бы я сам жида убил или что-нибудь такое, а тут я ни при чем. Что мне было мешаться в это дело? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами; дурень кричит, а разумный молчит... Вот и я себе молчал!..

Так говорил сам себе мельник Филипп, чтобы было легче на совести, и только когда уже вовсе стал засыпать, то из какого-то уголка в его сердце выползла, как жаба из норы, такая мысль:

«Ну, Филипп, настало твое время!»

Эта мысль прогнала у него из головы все другие и села хозяйкою.

С тем и заснул.

VII

Вот раненько утром, роса еще блестит на траве, а мельник уже оделся и идет по дороге к селу. Приходит на село, а там уж люди снуют, как в муравейнике муравьи: «Эй! не слыхали вы новость? Вместо шинкаря привезли из городу одни патынки».

Вот было в то утро в Новой Каменке и разговоров, и пересудов, да немало-таки и греха!

Вдова Янкеля, получив вместо мужа пару патынок,

совсем растерялась и не знала, что делать. Вдобавок еще Янкель, с большого ума, да не надеявшись, что его заберет Хапун, захватил с собою в город всю выручку и все долговые расписки с бумажником. Конечно, мог ли бедный жид думать, что из целого кагала выхватит как раз его?

— Вот так-то всегда человек: не чует не гадает, что над ним невзгода, как тот Хапун, летает,— толковали про себя громадские люди, покачивая головами и расходясь от шинка, где молодая еврейка и ее ба́хори (дети) бились об землю и рвали на себе волосы. А между прочим, каждый думал про себя: «Вот, верно, и моя запись улетела теперь к черту на кулички!»

Сказать правду, так не очень много нашлось в громаде таких людей, у которых заговорила маленько совесть: «А таки не грех бы отдать жидовке, если не с процентами, то хоть чистые деньги...» А если уж говорить всю правду целиком — то никто не отдал ни ломаного ше́ляга...

Не отдал и мельник. Ну, да мельник себя в счет не ставил.

Вот вдова Янкеля и просила, и молила, и в ногах валялась, чтобы господа громадяне согласились отдать хоть по полтине за рубль, хоть по двадцати грошей, чтоб им всем сиротам не подохнуть с голоду да как-нибудь до городу добраться. И не у одного таки хозяина с добрым сердцем слезы текли по усам, а кое-кто толкнул-таки локтем соседа:

— Побоялись бы вы бога, сосед! Вы ж, кажется, что-то такое должны были жиду. Отдали бы вот... Ей-богу, надо бы вам хоть сколько-нибудь отдать.

Но сосед отвечал:

— А что мне отдавать, когда я ему своими руками все деньги принес, до последнего грошика? Второй раз стану платить, что ли? Вот вы, сосед, другое дело...

— А почему это другое дело, когда как раз то же самое, как и у вас? Незадолго до отъезда пришел ко мне Янкель, да как стал просить: отдай да отдай,— я и отдал.

Мельник слушал все это, и у него болело сердце... Эх, народ какой! Нисколько не боятся бога! Ну, панове громадо, видно, при вас плохо не клади — как раз утянете; да и кто вам палец в рот сунет, тот чистый дурак!.. Нет, уж от меня не дождетесь... Вы мне этак в кашу не наплюете. Лучше уж я сам вам наплюю...

Одна только старая При́ся принесла жидовке два десятка яиц да половину новины и отдала за сколько-то грошей, что осталась должна шинкарю.

— Бери, небо́го, не взыщи! Осталось там за мною еще сколько-то, так отдам, как бог даст. Последнее и то принесла.

— Вот подлая баба! — обозлился мельник.— Вчера мне не отдала, а для жидовки так вот и нашлось. Ну и народ! Старым и то нельзя стало верить. Крещеному человеку не могла отдать... Погоди, старая, сочтусь я с тобой после...

Вот собрала Янкелиха своих бахорей, продала за бесценок «бебехи» и водку, какая осталась,— а и осталося немного (Янкель хотел из города бочку везти), да еще люди говорили, будто Харько нацедил себе из остатков ведерко-другое,— и побрела пешком из Новой Каменки. Бахори за нею... Двух несла на руках, третий тащился, ухватясь за юбку, а двое старших бежали вприпрыжку...

И опять миряне скребли свои затылки. У кого была совесть, тот себе думал: «Хоть бы подводу дать за жидовские деньги...» Да, видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значит, он с жидом не рассчитался. А мельник опять думал: «Ну народ! Вот так же и меня будут рады спровадить, если я когда-нибудь дам маху».

Так-то бедная вдова и поплелась себе в город, и уж бог ее знает, что там с нею подеялось. Может, присосалась где с детьми к какому-нибудь делу, а может, и пропали все до одного с голоду. Все бывает! А впрочем, жиды своего не покидают. Худо-худо, а все-таки дадут как-нибудь прожить на свете.

Стала после этого громада толковать, кто ж теперь у них, в Новой Каменке, будет шинкарем? Потому что, видите ли, хоть Янкеля не стало, а шинок все стоял себе на пригорочке, и на дверях остались намазанные белою краской кварта и жестяной крючок...

И даже Харько сидел себе на пригорочке и покуривал люльку, выжидая, кого-то бог пошлет ему в хозяева.

Правда, один раз, под вечер, когда громадские люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о том, кто теперь будет у них шинковать и корчмарить,— подошел к ним батюшка и, низенько поклонясь всем (громада — великий человек, пред громадою не грех поклониться хоть и батюшке), начал говорить о том, что вот хорошо бы составить приговор и шинок закрыть на веки вечные.

Он бы, батюшка, и бумагу своею рукой написал, и отослал бы ее к преосвященному. И было бы весьма радостно, и благолепно, и миру преблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы стали было говорить, что батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалось совсем неправильно и даже обидно.

«Вот тебе и батько,— подумал он с сердцем,— вот тебе и приятель! Да нет, погоди еще, пан-отче, что будет...»

— Вот это таки, батюшка, ваша правда,— льстиво заговорил он,— что от той бумаги будет благополучно... А только не знаю я кому: громаде или вам. Сами вы — не взыщите на моем слове! — всегда водочку из города привозите, то вам и не надо шинка. А таки и то вам на руку, что владыка станет вашу бумагу читать да похваливать.

Громадяне усмехнулись себе в усы, а батюшка только плюнул от великой досады, нахлобучил соломенную шляпу и пошел прочь от шинка по улице, будто не за тем и приходил...

Ну что уж тут рассказывать! Я думаю, вы и без того догадались, что мельник задумал сам корчмарить в той жидовской корчме. А задумавши, поговорил хорошенько с громадою, угостил-таки кого надо в земском суде, с исправником умненько потолковал, потом с казначеем, а наконец со становым приставом да с акцизным надзирателем.

Вернувшись после всего этого на село, пошел мельник к шинку, а там сидит Харько и покуривает на пригорочке люльку. Мельник только мотнул ему головой, как Харько,— хоть и гордый человек,— тотчас вскочил на ровные ноги и подбежал к нему.

— Ну что скажешь? — спросил у него мельник.

— А что мне говорить? Подожду, не скажете ли вы мне чего-нибудь.

— То-то!

Не стал уже теперь мельника словами гвоздить, а сгреб в обе руки картуз и, выслушавши, что ему сказал Филипп, ответил умненько:

— Рад стараться для вашей хозяйской милости!

И стал мельник шинковать в Новой Каменке лучше Янкеля, и стал сдавать людям на выпас свои карбованцы, а как придет срок — сгонять их опять в свою скрыню, вместе с приплодом. И никто уже не мешал ему в Новой Каменке.

А что люди не раз от него плакали горькими слезами — ну и это тоже правда... Таки плакали не мало: может, не меньше, чем от Янкеля, а может, еще и побольше — этого уж я вам не скажу наверное. Кто там мерил мерою людское горе, кто считал счетом людские слезы?..

Никто не мерил, никто и не считал, а старые люди так говорят: идет или ходит, на одно выходит, что клюкой, что палкой — все спине не сладко... Не знаю, как кто, а я думаю, что это правда...

VIII

Вот, признаться вам, и не хотелось бы мне про своего приятеля такое рассказывать, а делать нечего: начал, так надо довести до конца — из песни, говорится, и слова одного не выкинешь...

Вот, видите, какое дело... Старому Янкелю только и нужна была людская копейка. Бывало, где хоть краем уха заслышит, что у человека болтается в кармане рубль или хоть два, так у него сейчас и засверлит в сердце, сейчас и придумывает такую причину, чтобы тот рубль, как карася из чужого пруда, выудить. Удалось — он и радуется себе со своею Суркой.

Ну а уж мельнику этого мало. Янкель сам перед всяким человеком в три погибели гнулся, а мельник людей гнет, а сам голову дерет кверху, как индюк. Янкель, бывало, юркнет к становому с заднего хода и трусится у порога, а мельник валится на крыльцо, как в свою хату. Янкелю, если под пьяную руку кто и в ухо заедет, так он сильно не обижался: повизжит, да и перестанет, разве потом выторгует лишний пятак. А мельник и сам не одному христианину так чуприну скубнет, что, пожалуй, и в руках останется, а из глаз искры, как на кузнице из-под молота, посыплются... Да, вот какое дело: мельнику и денежки отдай, и почет. Перед иконой люди низко кланялись, а перед моим приятелем еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходит сердитый да невеселый; будто его щенок какой за сердце теребит. И все себе думает:

«А не так что-то на свете устроено — нет, не так! Что-то человеку и с деньгами не так весело, как бы хотелось».

Вот раз Харько его и спрашивает:

— А что вы это, хозяин, невеселый все ходите, будто

кто вас в помои окунул? Чего еще ваша хозяйская душа хочет?

— Может, если б я женился, то стало бы мне повеселее.

— Так оженитесь, на здоровье вам.

— То-то вот и оно. А как тут оженишься, когда дело не выходит, с какой стороны за него ни ухватись? Я уж скажу тебе правду: как был я еще не мельник, а только подсыпка, то любился тут на селе с Галей вдовиной, может знаешь... И если б дядько не утоп, то был бы я уже женатый. А теперь сам ты рассуди: ведь я ей не ровня.

— Какая тут ровня! Вам теперь только и жениться, что на богача Макогона дочке, на Мотре.

— Вот! Я и сам вижу, и люди говорят все одним голосом, что по моим деньгам Макогоновы как раз придутся... Так опять... не по вкусу мне она! Сидит целый день, как копна сена, да семечки лущит. Как взгляну на нее, так будто кто меня за нос возьмет да и отворотит в сторону... То ли дело Галя!.. Вот и говорю: не так както на свете устроено. Одну полюбил бы — хвать, а деньги-то у другой... Вот иссохну когда-нибудь, как былинка... Светом гнушаюсь.

Солдат вынул изо рта свою носогрейку, сплюнул в сторону и говорит:

— Плохо! Другой человек ни за что и не придумал бы, как этому делу помочь, а я присоветую, так не пожалеете, что послушались. А пожалуй, еще и отдадите новые сапоги, что остались от Опанаса в залоге, а?..

— Ну, за такое дело и сапогов не жаль, только верно ли ты придумал?..

И действительно, придумал подлый солдат,— бес его не взял! — такое придумал, что если б все вышло по его слову, то теперь уж на мельнике черти на том свете воду давно возили бы...

— Вот,— говорит,— слушайте хорошенько. Стало быть, есть вас трое людей — один мужик да две девки. И, стало быть, нельзя никак одному на двух жениться, потому что вы не турецкой веры.

«Вот, подлый, как все верно сказал! — подумал мельник.— Что-то скажет дальше?»

— Хорошо! Как вы богатый человек и Мотря богатая невеста, так тут уж и малому ребенку ясно: посылайте сватов к старому Макогону.

— Правда! Да только я это знал и без тебя... А как же с Галей?

— А вы дослушали до конца? Или, может, сами знаете, что я хотел сказать?..

— Ну-ну, уж и осердился!

— Вы всякого человека рассердите. Не такой я человек, чтобы начать речь да и не кончить. Будет и о Гале речь. Она вас любила?

— А таки так!

— А вы тогда кто были, как она вас любила?

— Подсыпка.

— Так это опять малый ребенок поймет: когда девка любила подсыпку, то и быть ей замужем за подсыпкой.

Мельник вылупил глаза и в голове у него, точно на мельнице в помол, все пошло кругом.

— Да я же теперь не подсыпка!

— Вот беда какая. А разве у вас на мельнице нет подсыпки?..

— Это Гаврило?.. Э-э, вот ты что придумал. Пускай же, когда так, он тебе и сапоги дарит за такую придумку. А я скажу на это, что не дождет ни он, ни его дядья с тетками, чтоб я такое дело потерпел. Вот лучше пойду да ноги ему переломаю.

— А! Какой горячий человек, хоть яйца в нем пеки!.. Да я ж совсем другое хотел вам сказать...

— А что ж ты еще после такой шутки можешь сказать, когда мне это не нравится?

— А вы послушайте.

Харько вынул люльку изо рта, посмотрел на мельника, прищурившши один глаз, и так прищелкнул языком, что у того сразу стало веселее на сердце...

— А вы, говорю, ее любили и бедную?..

— То-то что любил!..

— Ну так и любите себе на здоровье, когда она будет за подсыпкой. Вот теперь и моей речи конец: вот вы все трое и будете жить на одной мельнице, а четвертый дурень не в счет... Ага! теперь поняли, чем я вас угощаю, медом или дегтем? Нет! Харька били не по голове, а куда следует, оттого и умный вышел: знает, кому достанется орех, кому скорлупа, а кому новые сапоги...

— А может, еще и не выйдет дело?

— Почему ж ему и не выйти?

— Мало ли почему. Вот старый Макогон не согласится.

— Вот! Когда б я с ним не говорил!..

— Ну?

— То-то. Ехал из городу с водкой, а он — навстречу.

То да се, и говорю: «Вот вашей дочери жених — наш мельник».

— А он что?

— «Не дождет, говорит, ваша бабушка! Что, говорит, он стоит?»

— А ты что?

— А я говорю: «Вы, видно, не знаете, что нашего жида Хапун унес?»

— «А когда так, говорит,— то дело другое: как жида на селе не стало, то и мельник — стоющий человек...»

— Ну, хорошо, Макогон согласится. Так еще Галя пойдет ли за подсыпку?..

— Э, как девку с матерью погонят из хаты, то рада будет жить и на мельнице.

— Так-то оно так...

IX

Мельник почесался... А делу этому, вот, что я вам рассказываю, идет уж не день, а без малого целый год. Не успел как-то мельник и оглянуться — куда девались и филипповки, и великий пост, и весна, и лето. И стоит мельник опять у порога шинка, а подле, опершись спиной о косяк, Харько. Глядь, а на небе такой самый месяц, как год назад был, и так же речка искрится, и улица такая же белая, и такая же черная тень лежит с мельником рядом на серебряной земле. И что-то такое мельнику вспомнилось.

— Э, послушай, Харько!

— А что?

— Какой сегодня день?

— Понедельник.

— А тогда, помнишь, как раз суббота была.

— Мало ли их было суббот...

— Тогда, год назад, в судный день.

— А, вот вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.

— А теперь, когда у них судный день придется?

— Вот я и сам не скажу, когда он придется. Жида поблизости нет, так и не знаю.

— А небо, гляди, какое чистое, как раз такое, как и в тот день...

И мельник со страхом посмотрел на окно жидовской хаты, не увидит ли опять, как жиденята мотают головами, и жужжат, и молятся о своем батьке.

Э, нет! То все уже прошло. От Янкеля не осталось, должно быть, и косточек, сироты пошли по дальнему свету, а в хате темно, как в могиле... И на душе у мельника так же темно, как в этой пустой жидовской хате. «Вот, не выручил я жида, осиротил жиденят,— подумал он про себя.— А теперь что-то такое затеваю со вдовиной дочкой...»

— Эй, хорошо ли оно у нас будет? — спросил он Харька.

— Чем плохо? Оно, правда, есть и такие люди, что меду не едят. Может, вы из таких...

— Не из таких я, а все-таки... Ну прощай!

— Прощайте и вы.

Мельник пошел с пригорка, а Харько опять посвистал ему вслед. Посвистал хоть и не так обидно, как тот раз, а все-таки мельника задело за живое.

— А ты что свищешь, вражий сын? — сказал он, обернувшись.

— Вот уж и посвистать нельзя стало человеку! — обиделся Харько.— Я у капитана в денщиках жил, и то свистал, а у вас нельзя.

«Правда,— подумал мельник,— отчего бы ему и не свистать. А только зачем это все так делается, как в тот вечер?..»

Он пошел с пригорка, а Харько все-таки посвистал еще, хоть и тише... Пошел мельник мимо вишневых садов, глядь — опять будто две больших птицы порхнули в траве, и опять в тени белеет высокая смушковая шапка да девичья шитая сорочка и кто-то чмокает так, что в кустах отдается... Тьфу ты пропасть! Не стал уж тут мельник и усовещивать проклятого парня — боялся, что тот ему ответит как раз по-прошлогоднему... И подошел наш Филипп тихими шагами к вдовиному перелазу.

Вот и хатка горит под месяцем, и оконце жмурится, и высокий тополь купается себе в месячном свете... Мельник постоял у перелаза, почесался под шапкой и опять занес ногу через тын.

— Стук-стук!

«Ох, и будет опять буча, как тот раз, а то и похуже,— подумал про себя мельник.— Проклятый Харько своими проклятыми словами так мне все хорошо расписал... А теперь, как станешь вспоминать, оно и не того... и не выходит в тех словах настоящего толку. Ну, что будет, то и будет!» — и он брякнул опять.

Вот в оконце промелькнуло белое лицо и черные очи.

— Мамо моя, мамонько,— зашептала Галя.— А это же опять проклятущий мельник под оконцем стоит да по стеклу брякает.

«Эх, не выскочит на этот раз, не обоймет, не поцелует хоть ошибкой, как тогда!..» — подумал про себя мельник и таки угадал: вышла девка тихонько из хаты и стала себе поодаль, сложив руки под белою грудью.

— А чего ты опять стучишь?

Хотелось мельнику охватить девичий стан да показать ей сейчас, зачем стучал, и даже, правду сказать, уже пододвинулся он бочком к Гале, да вспомнил, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорит:

— А что мне и не стучать, когда вы мне столько задолжали, что никогда и не выплатитесь? Того и хата ваша не стоит.

— А когда знаешь, что никогда не выплатим, то незачем и стучать по ночам, безбожный человек! Старую мать у меня в могилу гонишь.

— А какой ее бес, Галю, в могилу гонит? Если бы ты только захотела, я бы твоей матери старость успокоил!

— Брешешь все!

— Нет, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я так жить, чтобы с тобой не любиться!..

— Бреши, как собака на ветер... А кто задумал к Макогону сватов засылать?

— Да уж думал или нет, а я тебе щирую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну без тебя... А как теперь будет у нас, я тебе сейчас по порядку расскажу, а ты, если ты умная девка, послушаешься меня. Да только смотри, уговор: слушай ты меня ухом, да отвечай языком, а руками чтобы ни-ни! А то я рассержусь.

— Чудно что-то ты принимаешься,— сказала Галя, сложивши руки.— Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

— Э, не дурницу... Вот видишь ты... как это Харько начинал?..

— Харько? А что тут между нами Харьку еще начинать?

— Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошего... Отвечай: ты меня любила?

— Ну, стала бы я такую скверную харю целовать, когда б не любила?..

— А я кто тогда был: подсыпка или нет?

— А подсыпка. Дал бы бог, чтоб и никогда не был мельником.

— Тю! не говори лишних слов, а то я собьюсь... Выходит так, что ты любила подсыпку, так, значит, и судьба тебе выйти замуж за подсыпку и жить на мельнице. А как я тебя прежде любил, так и после буду любить, хоть бы сватался к десяти Мотрям.

Галя даже глаза себе протерла — не снится ли ей сон.

— А что это ты такое несешь, человече? Или я вовсе дура, или у тебя в голове одной клепки не хватает. Как же это я пойду за подсыпку, когда ты теперь мельник? И как ты на мне женишься, когда сватов пошлешь к Мотре, а?.. Что ты это несешь, человече, перекрестись ты левою рукой.

— Вот еще! — сказал мельник.— Разве же у меня на мельнице нет подсыпки? А Гаврило... чем тебе не подсыпка? Что маленько дурень, это правда, так нам это, Галечко, еще лучше, я тебе по правде скажу.

Тут только девка разобрала, куда мельник клонит хитрую речь. Всплеснула руками да как заголосит:

— Ой, мамо, мамонько, что он тут говорит! Да это ж он, видно, в турки хочет записаться да двух жен завести. Тащи ты, мамо, кочергу из хаты, а я покамест своими руками с ним расправлюсь...

Да на мельника! А мельник от нее. Отбежал до перелаза, стал на нем ногой и говорит:

— А, так-то ты, гадюка! Так выбирайтесь обе с матерью из хаты. Завтра отберу за долги. Геть!

А она ему:

— Выбирайся и ты, турка, сейчас из моего саду, пока он мой. А то как вцеплюсь вот сейчас ногтями, то и Мотря твоя не узнает, где у тебя что было!..

Вот и говори с нею! Плюнул мельник, скорехонько соскочил с тына и пошел из села сердитый. Вышел на гребень горы, откуда уже слышно было, как вода в лотоках шумит, так еще обернулся и погрозился кулаком...

А в это время как раз: динь, динь...

Опять зазвонили на селе, на звоннице, самую полночь...

X

Мельник подошел к своей мельнице, а мельница вся в росе, и месяц светит, и лес стоит и сверкает, и буга́й, проклятая птица, бухает в очеретах, не спит,



будто поджидает кого, будто кого выкликает из омута...

Жутко стало мельнику Филиппу.

— Эй, Гаврило! — крикнул он на мельницу.

— У-у, у-у,— отозвался с болота бугай, а на мельнице никто ни чи-чирк.

«Э, проклятый парубок! опять помандровал к девкам...» — подумал мельник, и не хотелось что-то ему идти в пустую мельницу. Хоть и привык, а все-таки вспоминалось иной раз, что под мельничным полом, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плавают в темной воде.

Он оглянулся к городу. Тихо, светло, туман чуть-чуть закурился над речкой, что уплывает себе за лес, и не видно ее в светлой мгле... А на небе ни облачка...

Назад посмотрел и опять удивился, откуда в его запруде столько глубины: и для месяца, и для звезд, и для всего синего неба...

Глядь, а в воде по-над звездами будто комарик летит... Пригляделся — вырос комарик, как муха, потом стал как воробей, как ворона, а вот уж как здоровый шуляк.

— Цур тобі, пек тобі [1],— сказал мельник и, подняв глаза, увидел, что это не в воде, а по воздуху летит что-то прямо к мельнице.

— А бей тебя сила господня! Это, видно, опять Хапун в город поспешает за добычей. Видишь ты, собачья вера, как заленился на этот раз: полночь пробило, а он еще только в дорогу собрался...

Он стоял так, с задранною головой, а по воздуху уже, как орел, летело, кружась, облако и опускалось книзу; а из того облака что-то жужжало так, как в хорошем пчелином рою, когда рой вылетит из пасеки поверх саду...

— А, опять у меня на плотине отдыхать задумал? Видишь ты, какую себе моду завел. Погоди, поставлю на тот год фигуру (крест), так небойсь не станешь по дороге, как в заезжий дом, на мою плотину заезжать... Э, а что ж это он так шумит, как змеек с трещоткой, что ребята запускают в городе? Надо, видно, опять за явором притаиться да посмотреть.

Не успел отбежать к яворам, поглядел кверху и чуть не крикнул от страха... Видит — гость уже близко над

---

[1] «Цур тобі, пек тобі» — заклинание.

мельничною крышей, да еще в руках держит... Вот ни за что и не угадаете, что́ такое принес чертяка в когтях.

Жида Янкеля! Да, того самого Янкеля, которого год назад утащил, теперь приволок обратно. Держит Янкеля крепко за спину, а Янкель держит в руках большущий узел, завязанный в простыне, и оба ругаются в воздухе, да так шибко, будто десять жидов заспорили на базаре из-за одного мужика...

Камнем упал черт на плотину. Если бы не мягкий узел, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потом оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдеть.

— Ой, ой!.. И что это за свинство,— закричал Янкель,— не можете вы полегче на землю спуститься!.. Я думаю, у вас в руках живой человек.

— Человек да еще узел, чтоб вам обоим провалиться сквозь землю!..

— Пхе! Чем вам мешает мой узелок? Я его сам держу, вас не заставляю...

— Узелок! Целая гора всяких бебехов. Насилу дотащил, у-ух! На это и уговора не было...

— Ну а где это видно, чтобы человек ехал в дорогу без вещей?.. Везете человека, везите и вещи, это уж и без всякого уговора можно понимать... Разве можно хозяину свое добро бросить?.. Вы, я давно вижу, хотите обмануть бедного Янкеля, так и придираетесь...

— А!.. Кто тебя, лисицу, обманет, тот и трех дней не проживет. Я уж не рад, что и связался...

— Вы думаете, я очень рад, что познакомился и-с-вами? Ой-вай, важный пуриц!.. А вы лучше скажите мне, какой у нас уговор был. Ну, вы, может, забыли, так я вам припомню: мы бились об заклад. Может, вы скажете: мы не бились об заклад? Вот это будет хорошее дело, если вы отречетесь!

— Кто тебе говорит, что не бились? Разве я тебе сказал, что не бились?

— Ну, как же вам и сказать, что не бились, когда мы бились вот здесь, на этом самом месте. Может, вы не помните, о чем, так я сейчас припомню. Вы говорите: жиды берут проценты, жиды спаивают народ, жиды жалеют своих, а чужих не жалеют... Ну, может, вы этого не говорили, а я, может, вам не ответил на это: вот тут стоит мельник за явором. Если б он жалел жида, то крикнул бы вам: «Господин черт, кидайте — у него жена, дети». Но он не крикнет... Раз!

«Вот как угадал, подлый!» — подумал про себя мельник, а черт сказал:

— Ну, раз!

— А еще я говорю, помните мое слово: как меня здесь не станет, мельник откроет шинок и станет разбавлять водку, а проценты он и теперь дерет как следует... Два!

— Ну, два,— подтвердил черт, а мельник поскреб в голове: «Как это он все мог угадать, проклятый?»

— А еще я говорю: нам чужие желают, чтоб нас черти взяли, это правда... А как вы думаете, если б здесь сейчас были наши жидки да увидели, что вы со мной хотите делать,— какой бы они тут гевалт подняли, а? А об мельнике через год, кого ни спросите, свои братья скажут: а пусть его черт унесет... Три!

— Ну, три!.. я и не отрекаюсь.

— Вот это хороший интерес был бы, если б вы еще отрекались. Какой бы вы были после этого честный еврейский черт? А вы лучше скажите, какой уговор?

— Я все исполнил оставил тебя на год живым — раз. Понес сюда — два ..

— А три? Что же будет три?

— Чего еще? Выиграешь заклад — отпущу тебя на все четыре стороны.

— А убытки?.. Разве вы не должны вернуть мне убытки?..

— Убытки? Какие ж у тебя могут быть убытки, когда мы тебе дали торговать у нас без всяких патентов целый год?.. Ну что? Такой барыш на земле в три года не возьмешь... Смотри сам: я тебя захватил отсюда в одном лапсердаке, даже без патынков, а сюда какой ты узел приволок, а? Откуда же он взялся, если у тебя все были убытки?

— Ой-вай! Опять узлом попрекаете!.. Что я себе там торговал, это мое счастье... Разве вы считали мой барыш? А я вам скажу по правде, что я от вашей торговли взял чистый убыток, а тут, на земле, год потерял...

— Ах ты, ширлатан! — крикнул черт.

— Я ширлатан? Нет, это вы сами ширлатан, шейгиц, лайдак, паршивец!..

Тут они опять заспорили так шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трясли ермолками и поднимались на цыпочки, как два петуха, готовые сцепиться. Наконец черт спохватился первый:

— А! Еще не известно, кто выиграл! Что мельник тебя не пожалел, это правда, а остальное еще посмотрим, еще надо у людей спросить, может, он и не думал открыть шинок.

«Два открыл! — почесался опять мельник.— Э, надо было хоть годик обождать,— остался бы Янкель в дураках, а то тут что-то такое неладное выходит...»

И он оглянулся на свою мельницу: нельзя ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село? Но в это время в лесу, за плотиной, послышались чьи-то неровные шаги и бормотанье. Янкель схватил на плечи свой узел и бегом побежал к тем же яворам. Мельник едва успел спрятаться за толстую ветлу, как оба — и черт, и Янкель — были уже тут, а в это время в конце плотины показался подсыпка Гаврило. Свитка на Гавриле драная, с одного плеча спущена, шапка набоку, а босые ноги все одна с другой спорят: одной хочется направо, а другая, назло, налево норовит. Одна опять в свою сторону потянет, а другая так бедного подсыпку к себе кинет, что вот-вот голова в одно место улетит, а спина с ногами в другое. Так вот и идет бедный парубок, выписывая по всей плотине узоры, от одного края до другого, а вперед что-то мало подвигается.

Видит чертяка, что подсыпка совсем пьян, вышел себе да и стал посредине плотины в своем собственном виде. Известно, с пьяными людьми какая церемония!

— Здравствуйте, говорит, добрый человек! А где это вы так намалевались?..

Тут только мельник в первый раз заметил, какой Гаврило стал за год оборванный и несчастный. А все оттого, чтó у хозяина заработает, у хозяина и пропьет; денег от мельника давно уже не видал, а все забирал водкой. Подошел подсыпка вплоть к самому черту, уперся сразу обеими ногами в гать и сказал:

— Тпру-у-у... Вот бесовы ноги, с норовом каким! Когда надо, не идут, а как увидели, что у человека перед самым носом торчит что-то, тут они и прут себе вперед. А ты это что такое, я что-то не разберу никак...

— Я себе, с позволения вашего, черт...

— Ну-у? Брешешь, я думаю. Э!.. А пожалуй, твоя правда. И рога, и хвост — все как следует. А пейсы по бокам морды зачем?

— Да я себе, не в обиду вам сказать, жидовский черт.

— А!.. Вот видишь ты, какая оказия!.. Так это не ты ли в прошлом годе нашего Янкеля уволок?

— Ну, ну! Я самый.

— А теперь же кого? Меня, что ли? То я и закричу, ей-богу закричу... Ты еще не знаешь, какая у меня глотка.

— Э, не кричи напрасно, добрый человек. На что ты мне сдался?..

— Может, мельника? Позвать тебе, так я и позову. Э нет, постой! А кто ж у нас шинковать станет?

— А у него разве есть шинок?

— У него?.. Нет, у него два; один на селе, а другой при дороге...

— Ха-ха-ха! Не оттого ли тебе мельника и жалко?

— Ой! Как ты смеешься здорово... Ха! Не такой я человек, чтоб его пожалеть!.. Нет, не так я сказал!.. Это он не такой человек, чтоб я его пожалел. Он думает, Гаврилко — дурень... Ну, это таки правда: я себе не очень умный человек, не взыщите вы с меня. А все-таки когда ем, то в чужой рот каши не кладу, а только в свой. И как оженюсь, то опять для себя же. Правду я говорю или нет?

— Правда оно правда, ну а только я не знаю, к чему она клонит.

— Хе, может, тебе не надо знать, то ты и не знаешь, а как мне надо знать, то я и знаю, зачем он меня женить хочет. Ой, знаю я хорошо, даром что я не очень догадливый человек. Вот и тот раз, как вы Янкеля схапали, я об нем пожалел: «Кто ж теперь,— говорю хозяину,— у нас шинковать будет?» А он и говорит: «Тю, дурень! Разве не найдется кому? А хоть бы и я вот!» Так и теперь: возьмете вы себе мельника — найдется у нас кому жидовать и без него... Ну а я тебе, добрый человек... тьфу, тьфу, не взыщите, ваша милость! Вот же человеком назвал поганого черта... Теперь я тебе вот что скажу: что-то мне того, что-то спать хочется. Ты себе как хочешь... бери его себе сам, а я пойду лягу, вот что, потому что я маленько нездоров. Вот и будет хорошо... Ага!..

Тут подсыпка опять стал заплетать ногами и насилу отпер двери, как уже повалился и захрапел.

Черт весело засмеялся и, став на краю плотины, моргнул Янкелю под яворы:

— А кажется, твоя правда, Янкель. Что-то выходит похоже... Дай, однако, мне какую одежину на подержание... Я заплачу...

Янкель стал смотреть на свет какие-то шаровары, чтобы ошибкой не дать черту новых, а в это время за

рекой, по дороге из лесу, показалась пара волов. Волы сонно качали головами, телега чуть-чуть поскрипывала колесами, а на телеге лежал мужик Опанас Нескорый, без свитки, без шапки и сапогов, и во все горло орал песни.

Добрый был мужик Опанас, да только, бедняга, очень водку любил. Бывало, только снарядится куда выехать, а уж Харько у шинка сторожит и кличет:

— Не выпить ли тебе чарочку, Нескорый? Куда торопиться?

Он и выпьет.

Выедет после того за село, через плотину, а там уж, у другого шиночка, сам мельник кличет:

— А не выпьешь ли чарочку, Нескорый? Куда тебе поспешать?

Он и тут выпьет. Глядишь — и вернется домой, никуда не ездивши.

Да, добрый был мужик, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками... А все-таки человек был веселый и все, бывало, песни поет. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а он как песню или прибаутку сложил, так думает, что горе избыл. Так и теперь: лежит себе в телеге и поет во все горло, что даже лягушки с берега кидаются в воду:

Волы мои крутороги
Идут по дороге...
А меня не носят ноги,
Ой, не носят ноги!
Пропил свитку, и чеботья,
И шапку с затылка...
А у мельника в шиночке
Хороша горілка...

— Эй, а какая там бесова тварюка посередь гати стоит, что и волам не пройти? Вот, когда бы не лень было мне сойти с воза, я б тебе показал, как посередь дороги становиться... Цоб, цоб, цоб-бе!..

— Постой на одну минуту, добрый человек,— сказал черт сладким голосом.— Мне бы с тобой потолковать немного...

— Немного? Ну толкуй, а то некогда. Пожалуй, в Каменке шинок заперли, так и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, как тебя назвать... Ну?

— О ком это ты такую хорошую песню пел?

— Спасибо, что похвалил. Пел я об мельнике, что вот тут на мельнице живет, а что хороша ли песня или нет,

то лучше мне знать, потому что я себе сам пою. Может, кто от той песни скачет, а кто и плачет, вот что... Цоб, цоб, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

— Стою.

— Чего ж ты стоишь?

— В песне твоей говорится, что горелка у мельника хороша?

— Вот ты какой... хитрый! Человек и песню еще до конца не допел, а он уж придрался к слову. Где у беса хороша!.. Ты, видно, не слыхал поговорки: вперед батька не лезь в пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будет. Когда так, то я лучше тебе до конца спою:

А у мельника в шиночке
Хороша горілка...
Ой, горілки две бутылки,
И... воды бутылка...

Ну что, все стоишь? Чего ж тебе, когда так, еще надо? Вот я сейчас вылезу-таки с воза, посмотрю, долго ли ты настоишься вот тут, а?.. Что ты себе подумаешь, если я начну тебя угощать батогом?..

— Сейчас, сейчас уйду, добрый человек. Только скажи еще: а что ты себе подумал бы, когда бы здешнего мельника черт забрал, как и Янкеля?..

— А что мне думать? — ничего и не подумаю... Таки, сказать по правде, и схапает когда-нибудь, непременно-таки схапает... Э, да ты, вижу, все стоишь... Ну, вылезаю с воза. Гляди, уж и ногу одну поднял...

— Ну, ну! Поезжай себе, когда ты такой сердитый.

— Ушел ты?

— Ушел.

— Цоб, цоб, цоб-бе!

Опять волы закачали рогами, заскрипели ярма и занозы, воз покатился на другой конец гати, а Опанас запел свою песню:

Волы мои крутороги,
Прибавляйте бегу!
Пропил мельнику колеса,
Пропью и телегу.

Колеса стукнули, съезжая с гати, и песня Опанаса стала затихать на горе.

Не успела еще стихнуть, как послышалась другая, из-за реки. Так и звенели, так и заливались женские

голоса, сначала далеко, а там уже и в лесу. Видно, где-нибудь дожинали девчата с молодицами, а может, и отаву на дальнем покосе сгребали, а теперь шли себе позднею дорогой и пели, чтобы не страшно было лесом идти.

Чертяка разом шмыгнул к Янкелю под вербы.

— А ну, давай же чего-нибудь поскорее!

Янкель ткнул ему какую-то рвань. Черт кинул ее на землю и ухватился за узел.

— А! что ты мне даешь, как нищему, что стыдно будет показаться. Давай получше!

Черт выхватил, что ему было нужно, мигом свернулись у него крылья, мягкие, как у нетопыря, мигом вскочил в широкие, как море, синие штаны, надел все остальное, подтянулся поясом, а рога покрыл смушковой шапкой. Только хвост высунулся поверх голенища и бегал по песку, как змея...

Вот после этого чмокнул, топнул, подбоченился, посунулся навстречу молодицам — ни взять ни дать, какой-нибудь добрый мещанин или подпанок из экономов — и стал на середине плотины.

А песня все ближе да все звончее — уже так и веет по-над землей да под ясным месяцем, что, кажется, весь свет разбудит середь ночи. Да вдруг и оборвалась сразу...

Сыпнули молодицы из лесу, будто кто маков цвет из передника на землю просыпал,— увидели на плотине незнакомого щеголя и сбились в кучу у конца гати.

— А что оно такое вон там стоит? — спросила одна.

— Да это мельник,— говорит другая.

— Какой мельник — и не похоже!

— Может, подсыпка.

— Где у подсыпки такая одежа?..

— А отзовись ты, когда ты чтó доброе,— крикнула вдова Бучилиха, что, видно, была побойчее других.

Черт издали поклонился и потом подошел поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, как настоящий подпанок, что хочет казаться паном, и сказал:

— А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себе человек молодой, а зла вам не сделаю. Идите себе спокойно...

Молодицы и девки взошли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили черта. Э, не всегда-таки приятно, как окружат человека десяток-другой вот этаких вострух и начнут пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтем, да посмеиваться. Черта стало-таки немного коробить да крючить, как бересту

на огне, уж и не знает, как ступить, как повернуться. А они все пересмеивают.

«Вот так его, так его, мои ласточки,— подумал про себя мельник, глядя из-за корявой ветлы.— Вспомните, галочки мои, как Филиппко с вами, бывало, песни пел да хороводы водил. А теперь вот какая беда: выручайте ж меня, как муху из паутины». Еще, кажется, если б его так пощипать хоть с минуту — провалился бы чертяка сквозь землю...

Но старая Бучилиха остановила девчат:

— Цур вам, сороки! Совсем парубка засмеяли, что у него и нос опустился книзу, руки-ноги обвисли... А скажи ты нам, небора́че, кого ты над омутом дожидаешься?

— Мельника.

— Приятель ему, видно?

«Чтоб таким приятелям моим всем провалиться сквозь землю!» — хотел крикнуть Филипп, да голос не пошел из горла, а чертяка отвечает:

— Не то чтоб большой приятель, а так себе: сосчитаться за старое надо.

— А давно ты его не видал?

— Давненько.

— Ну, так теперь и не узнаешь. Добрый был когда-то парубок, а теперь уж так голову задрал, что и кочергой до носа не достанешь.

— Ну?

— То-то... Не правду я говорю, девоньки?

— А правда, правда, правда! — застрекотала вся стая.

— Тю! тише немножко,— закричал черт, затыкая уши,— от лучше скажите, что это с ним подеялось и с каких пор?

— А с тех пор, как богачом стал.

— Да деньги стал раздавать в лихву.

— Да шинок открыл.

— Да мужа моего Опана́са с проклятым Харьком так окрутил, что уж мужику и ходу никуда, кроме кабака, не стало.

— Да и наших мужей и батьков споил всех дочиста.

— Ой, ой, лихо нам с ним, с проклятым мельником! — заголосила какая-то, и вместо недавней песни, пошли над рекой вопли да бабьи причитанья.

Поскреб-таки Филипп свой затылок, слушая, как за него заступаются молодицы. А черт, видно, совсем оправился. Смотрит искоса да потирает руки.

— Э, это еще что! — звонко перекричала всех вдова Бучилиха.— А слыхали вы, что он над Галей над вдовиной задумал?

«Тьфу,— плюнул мельник.— Вот сороки проклятые! О чем их не спрашивают, и то им нужно рассказать... И как только узнали? То дело было сегодня на селе, а они уж на покосе все дочиста знают... Ну и бабы, зачем только их бог на свет божий выпускает?..»

— А что бы такое над вдовиной дочкой мой приятель затеял? — спросил черт, глядя по сторонам так, как будто это дело ему не очень даже и любопытно.

И пошли тут сороки выкладывать, и выложили одна перед другой все дочиста!

Черт помотал головой.

— Ай-ай-ай! вот это так уж нехорошо! Этого уж, я думаю, никто и от прежнего шинкаря Янкеля не видал.

— О, да где же такое жиду придумать?

— Вот еще!

— Вот, вижу я, мои кралечки, мои зозуленьки, не очень-то вы моего приятеля любите...

— А пускай же его все черти полюбят, а от нас не дождется...

— Ой-ой-ой! Вот, видно, не много вы ему добра желаете...

— Пускай его потрясет трясця (лихорадка)!

— Пускай лезет в омут за дядьком!

— Э, пусть и его чертяка схапает, как того Янкеля!..

Все засмеялись.

— А правда твоя, Олено, потому, что он хуже жида.

— Жид, по крайней мере, не ласовал, оставлял хоть девчат в покое, знал свою Сурку.

Черт даже подпрыгнул на месте.

— Ну спасибо вам, ласточки мои, за ваше приветливое слово... А не пора ли вам уже идти дальше?

А сам откинул голову, как петух, что хочет закричать на заре погромче, и захохотал, не выдержал. Да загрохотал опять так, что даже вся нечистая сила проснулась на дне речки и пошли над омутом круги. А девки от того смеха шарахнулись так, как стая воробьев, когда в них кинут камнем: будто ветром их сдуло сразу с плотины...

Пошли у мельника по шкуре мурашки, и взглянул он на дорогу к селу: «А как бы это,— думает себе,— приударить и мне хорошенько за девками. Когда-то бегал не

хуже людей». Да вдруг и отлегло у него от сердца, потому что, видит, опять идет к мельничной гати человек, да еще не кто-нибудь, а самый его наймит — Харько.

«Вот, кусни-ка этого,— подумал он про себя,— авось зубы обломаешь. Это мой человек».

XI

Наймит шел босиком, в красной кумачной рубахе, с фуражкой, без козырька, на затылке, и нес на палке новенькие Опанасовы сапоги, от которых так и разило дегтем по всей плотине.

«Вот какой скорый! — подумал мельник.— Уж и взял себе чеботы... Ну, да ничего это. На этого человека я крепко теперь надеюсь».

Увидев на середине плотины незнакомого человека, наймит подумал, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочет отнять у него сапоги. Поэтому он остановился в нескольких шагах от Хапуна и сказал:

— Вот что: лучше и не подходи — не отдам!

— Что ты, спохватись, добрый человек! Разве я сам без сапог? Погляди: еще лучше твоих.

— Так что же ты тут вырос ночью, как корявая верба над омутом?

— А я, видишь ли, хочу тебе задать один вопрос.

— Чудно! Загадку, что ли? Кто же тебе сказал, что я всякую загадку лучше всех разгадаю?

— Слыхал-таки от людей.

Солдат поставил сапоги наземь и, вынув кисет, стал набивать себе трубочку. Потом выкресал из кремня огоньку и, раскуривая под носом густое курево, сказал:

— Ну, теперь вываливай: какие там у тебя загадки?

— Да не то чтобы загадки, а так... Кто здесь, по-твоему, самый лучший человек?

— Я!

— Э, почему так?.. Нет ли кого получше?

— Да ты спрашиваешь: как по-моему?.. Ну, так я сам себя ни за кого не отдам.

— Правда твоя. А мельник... какой человек?

— Мельник?

Солдат выпустил изо рта такой клуб дыма, как белый конский хвост на месячном свете, и искоса поглядел на черта.

— А вы не из акцизу?

— Нет.

— Может, не при полиции ли где служите... по какой тайности?

— Да нет же!.. Такой умник, а не умеет отличить простого человека от непростого.

— Кто это тебе сказал?.. Да я у тебя в костях и то все вижу... А что спросил, так это так себе, на всякий случай. Так ты говоришь: какой человек мельник?

— Эге!

— Так себе человек: не высокий, не низкий... из небольших середний.

— Э, не то ты говоришь!..

— Не то? А что бы такое еще тебе сказать?.. Может, хочешь знать, где у него бородавка?

— Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту: хороший мельник человек или плохой?

Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:

— А ты таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши.

Черт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце.

«Вот язык, так язык,— подумал он.— Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а он вот и пригодился — смотрите, как чертяку отбреет!..»

— Любишь кушать не разжевавши, я тебе говорю! — строго повторил солдат.— Так тебе и скажи: хороший человек или нет? Для меня, вот, всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб едал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себе думаешь: на дурака напал, что ли?

«Вот так, вот-та́ки так его,— сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости.— Я не я буду, когда у него черт через полчаса не станет глупее овцы! Я на крылосе читаю, что никто слова не поймет... так оттого, что скоро. А он вот и тихо говорит, а поди пойми, что сказал...»

Действительно, бедный черт заскреб в голове так сильно, что мало не стянул шапки.

— Постой-ка, служба,— сказал он.— Что-то видится, мы с вами едем-едем, да не доедем. Не в тот переулок завернули...

— Не знаю, как ты, а я из всякого переулка выеду.

— Да ведь я у вас спрашиваю: хороший мельник человек или нет, а вы куда меня завезли?

— А дай же я у тебя спрошу: вода хороша или нет?

— Вода?.. А чем же плоха?

— А когда есть квас, тогда от воды отвернешься — нехороша?

— Пожалуй, нехороша.

— А когда стоит на столе пиво, так тебе и квасу не надо?

— Вот и это правда.

— А поднеси чарочку горелки, и на пиво не поглядишь?

— Так-то оно так...

— Вот то-то и оно-то!

Черта ударило в пот, и из-под свитки хвост у него так и забегал по земле — даже пыль поднялась на плотине. А солдат уже вскинул палку с сапогами на плечи, чтоб идти далее, да в это время чертяка догадался, чем его взять. Отошел себе шага на три и говорит:

— Ну идите, когда так, своею дорогой. А я тут обожду: не пойдет ли, случаем, солдат Харитон Трегубенко.

Солдат остановился.

— А тебе на что его?

— Да так!.. Говорили, солдат Трегубенко — умный человек: может ввести и вывести. Я и подумал, не вы ли это сами будете. А вижу, нет! С вами путаешься кругом, а на дорогу никак не выедешь...

Солдат поставил сапоги наземь.

— А ну, спроси у меня еще.

— Э, что тут и спрашивать!

— А ты попробуй.

— Ну вот что. Скажи мне: кто был лучше — Янкель-шинкарь или мельник?

— Вот так бы и говорил сразу, а то не люблю таких людей, что подле самого мосту ищут броду. Иному человеку лучше десять верст исколесить проселками, чем одну версту прямою дорогой. Вот и я тебе сейчас все толком, по пунктам, как говорится, скажу: у Янкеля был шинок, а у мельника — два.

«Э, что-то уж и не так заговорил,— подумал с горестью мельник.— Пожалуй, об этом лучше бы и не заговаривать...»

А солдат говорит дальше:

— У Янкеля я ходил в лаптях, а тут у меня и сапоги выросли...

— А откуда они выросли?

— Хе, откуда!.. В нашем деле все так, как в колодце с двумя ведрами: одно полнеет, другое пустеет — одно идет кверху, другое книзу. У меня были лапти — стали сапоги. А погляди ты на Опанаса Нескорого: был в сапогах, теперь стал босой, потому что дурень. А к умному ведро приходит полное, уходит пустое... Понял?

Черт слушал внимательно и сказал:

— Постой! Кажется, подъезжаем помаленьку, как раз куда надо.

— То-то! Я про то и сразу тебе говорил! Назови ты мне Янкеля хоть квасом, так мельник будет пиво, а если б ты подал мне доброго вина, то я бы и от пива отступился...

У черта кончик хвоста так резво забегал по плотине, что даже Харько заметил. Он выпустил клуб дыму прямо черту в лицо и будто нечаянно прищемил хвост ногою. Черт подпрыгнул и завизжал, как здоровая собака: оба испугались, у обоих раскрылись глаза, и оба стояли с полминуты, глядя друг на друга и не говоря ни одного слова.

Наконец Харько посвистал по-своему и сказал:

— Эге-ге-ге-е! Вот штука так штука...

— А вы как думали? — ответил черт.

— Вот вы какая птица!

— А вот, как меня видите...

— Так это вы, значит, того... в прошлом годе?..

— Ага!

— А теперь... за ним?

— Ну, ну... Что скажете?

Харько затянулся, пыхнул дымом и ответил:

— Бери! Не запла́чу... Я человек бедный, мое дело — сторона. Сяду себе с люлькой у шинка, буду третьего дожидаться.

Черт опять загрохотал, а солдат закинул сапоги на спину и пошел скорым шагом. А как проходил мимо купы яворов, то мельник слышал, что он бормочет:

— Вот оно что: одного унес, за другим прилетел... Ну, моя хата с краю!.. Засватал черт жида — мельнику досталось приданое; теперь сватает мельника, а приданое — мне. Солдат кому ни служит, ни о ком не тужит. Выручка на руках — пожалуй, можно и самому за дело

приняться. Не станет теперь Харька Трегубенка, а будет Харитон Иванович Трегубов. Только уж я не дурак: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И стал подыматься на гору.

Оглянулся мельник кругом: а кто ж ему теперь поможет? Нет никого. Дорога потемнела, на болоте заквакала сонная лягушка, в очеретах бухнул сердито бугай... А месяц только краем ока выглядывает из-за леса: «А что теперь будет с мельником Филиппом?..»

Глянул, моргнул и ушел себе за леса...

А на плотине черт стоит, за бока держится, хохочет. Дрожит от того хохота старая мельница, так что из щелей мучная пыль пылит, в лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная — проснулись, забегали, показывается кто тенью из лесу, кто неясною марой на воде; заходил и омут, закурился-задымился белым туманом, и пошли по нем круги. Глянул мельник — и обмер: из-под воды смотрит на него синее лицо с тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точь-в-точь дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам...

Жид Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, подняв одежу, которую скинул с себя черт, и, шмыгнув под яворы, наскоро завязал узел. Не говорит уже ничего об убытках; да скажу вам, тут на всякого человека напала бы робость. Какие уже тут убытки!.. Вскинул узел на плечи и тихонько зашлепал себе по тропинке за мельницей в гору, за другими...

Пустился и мельник на свою мельницу — хоть запереться да разбудить подсыпку. Только вышел из-под яворов, а черт — к нему. Филипп от него, да за дверь да в каморку, да поскорее засвечать огни, чтобы не так было страшно, да упал на пол и давай голосить во весь голос — подумайте вот! — совсем так, как жиды в своей школе...

А тот уж летает-вьется над крышей, да в оконце свою любопытную харю сует, да крылом бьет в стекло — не знает, куда пробраться, чтобы захватить себе лакомый кусок...

Вдруг — шасть... Хлопнулось что-то об пол, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый в трубу вле-

тел, ударился, подскочил... И слышит мельник.— сидит уже на спине и запускает когти.

Ничего не поделаешь!..

Шасть опять... потемнело в глазах, поволок мельника по темному да тесному месту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей, и вдруг... Вот уже труба внизу вместе с мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омут падают куда-то в пропасть... А в тихой мельничной запруде, что лежит внизу гладкая, точно на тарелке, виднеется опрокинутое небо, и звезды мигают себе тихонечко, вот как всегда... И еще видит мельник: в той синей глубине, перекрывая звезды, летит будто шуляк, потом будто ворона, потом будто воробей, а вот уж как большая муха...

«А это ж он меня выволок так высоко,— подумал мельник.— Вот тебе, Филиппко, и доход, и богатство, и шинки, и роскошь. А нет ли там где крещеной души, чтобы крикнула: „Кинь, это мое!“»

Нет никого! Прямо под ним спит себе мельница, и только из омута огромная усатая рожа утопшего дядьки Омелька глядит стеклянными глазами и тихо смеется, и моргает усом...

Дальше на гору подымается жид, сгорбившись под тяжелым белым узлом. В половине горы Харько стоит и, покрыв ладонью глаза, смотрит в небо. Э, не подумает он выручать хозяина, потому что вся выручка от шинка остается на его долю.

Вот рассеянная стайка девчат обогнала уже Опанаса Нескорого с его волами. Девчата летят, как сумасшедшие, а Нескорый хоть и глядит прямо в небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны от водки, а язык как колода... Некому, некому крикнуть: «Кинь, это мое!»

А вот и село. Вот запертый шинок, спящие хаты, садочки; вот и высокие топóли, и маленькая вдовина избушка. Сидят на завалинке старая Прися с дочкой и плачут, обнявшись... А что ж они плачут? Не оттого ли, что завтра их мельник прогонит из родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не поминают меня лихом! Собрался с духом и крикнул:

— А не плачь, Галю, не плачь, небого! Уж прощаю вам все долги с процентами... Ой, лихо мне, хуже вашего: волочет меня нечистый, как паук маленькую мушку...

Видно, чутко девичье сердце... Где бы, кажется, услыхать на таком дальнем расстоянии, а Галя все-таки дрогнула и подняла кверху черные, заплаканные очи.

— Прощайте вы, карие оченята,— вздыхает мельник да вдруг видит: схватилась девушка руками за грудь, да как наберет воздуху, да как крикнет:

— Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое!

Точно цепом, с большого размаху, резнуло черта по ушам: встрепенулся, распустились когти, и понесся Филипп книзу, как перышко, поворачиваясь с боку на бок.

Летит, а чертяка, как камень, за ним. Только долетит и придержит мельника, а Галя опять:

— Кинь, проклятый,— мое!

Он и отпустит, а мельник опять полетит, да так до трех раз, а уже внизу и багно (болото), что между селом и мельницей, расстилается все шире да шире.

Тар-рах! Ударился мельник в мягкое багно со всего размаха, так что моча́га вся колыхнулась, будто на пружинах, да снова мельника сажени на две кверху и подкинула. Упал опять, схватился на ровные ноги, да бегом лётом, да через спящего подсыпку, да чуть не вышиб с петлями дверей — и ну под гору во все лопатки чесать босиком... Сам бежит и только вскрикивает — все ему кажется, вот-вот чертяка на него налетит.

Добежал до крайней избы, да через тын лётом, да в двери, да стал середь вдовиной избы и тут только опомнился:

— А вот я и у вас, слава богу!

XII

Вот вы подумайте себе, добрые люди, какую штуку устроил: рано поутру, еще и солнце только что думает всходить, и коров еще не выгоняли, а он, без шапки, простоволосый, да без сапогов, босой, да весь расхристанный, ввалился в избу ко вдове с молодою дочкой! Э, что там еще без шапки: слава богу, что хоть чего другого не потерял по дороге, тогда бы уж навеки бедных баб осрамил!.. Да еще и говорит:

— А слава ж богу! Вот я и у вас.

Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочи-

ла в одной сорочке с лавки да поскорее запаску на себя, да плахту, да к мельнику:

— Ты что это, злодей, делаешь? Опился, что ли,— своей хаты не нашел, в нашу вот такой ввалился, а?

А мельник стоит против нее, глядит приятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорит:

— Ну бей себе сколько хочешь.

Она его — раз!

— Бей еще!

Она его и два.

— Вот так. Может, еще дашь?

Она и три. Да тут видит, что ему ничем-ничего, стоит себе и глядит на нее приятным оком, всплеснула руками и заплакала.

— Ой, лихо мне, бедной сиротинке, кто за меня заступится!.. Ой, и что ж это за человек такой! Мало ему, что обманул меня, молодую, что в турецкую веру хотел сманить, так еще и славу на меня, сироту, навел, на все село осрамил. А теперь вот поглядите на него, добрые люди: я его уж три раза ударила, а он хоть бы повернулся. Ой, и что ж мне еще с таким человеком делать, научите меня! Я ж и не знаю уже...

А мельник спрашивает:

— Ну, будешь еще бить или нет, говори прямо? Не будешь, так я уж и на лавку сяду — устал.

У Гали опять было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тут дело что-то не очень простое, и говорит дочери:

— Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, так прямо ладонями и плещешь по чужой щеке. Не видишь разве, парубок что-то с глузду съехал (помешался). А скажи, небора́че, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: «Слава богу, вот я и у вас!» — когда тебе тут не надо и быть...

Мельник протер глаза и говорит:

— Вот скажите вы мне, тетушка, по совести: что я, сплю или я по свету хожу? А со вчерашнего вечера прошла одна ночь или целый год, да я ж теперь к вам со своей мельницы или с неба свалился?

— Тю! перекрестись ты, человече, левою рукой! И что ты это такое несешь языком, а? Видно, тебе приснилось.

— Не знаю, пани матко, не знаю, сам уж ничего не знаю...

Сел было на лавку у окна, глядь — за окном, мимо хаты, по холодочку плетется шинкарь Янкель с огромным узлом на спине. Мельник вскочил на ровные ноги, показывает бабам в окно и говорит:

— Это кто идет, а?

— Да это же наш Янкель.

— А что он несет?

— Узел из городу.

— Так как же вы говорите, что мне приснилось? Да ведь вот и жид воротился. Я его сейчас видел у мельницы, с этим самым узлом.

— А почему же бы ему и не воротиться?

— Да ведь его в том году черт уволок — Хапун.

Ну, одним словом сказать, было тут много дива, как стал мельник рассказывать все, что с ним случилось. А между тем против хаты, на улице, уже и народ начал набираться, да заглядывать в окна, да судачить:

— Вот, говорят, это штука, так уж штука: мельник простоволосый да расхристанный, без сапогов и без шапки через поле прямо к вдове придрал и сидит теперь в хате.

— Эй, скажи ты нам, добрый человек, а к кому ты это такой нарядный бегаешь: к старой Присе или, может, к молоденькой Гале?..

Ну, тут, я думаю, сами вы уж догадались, что такую славу на бедную девушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и сам Филипп признавался мне не один раз, что Галю вдовину всегда любил, а после той ночи, как побывал в когтях у нечистой силы да Галя его вызволила — такая она ему стала приятная, что уж его бы никто и палкой от нее не мог отогнать.

Живут теперь на мельнице и уж детвору навели. А о шинке мельник больше не думал и процентов не брал. И когда, бывало, при нем станет кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля к чертовой матери из села, он только рукой махнет.

— А шинок,— спрашивает у такого человека,— как вы думаете, останется?

— А шинок останется — куда ж его девать.

— А кто ж в нем сидеть будет?.. Может, часом, вы не сядете ли?

— А что ж, пожалуй, и я бы сел...

Так он, бывало, только свистнет.

XIII

Да, так вот какая история случилась с мельником — такая история, что и до сих пор никак не разберешь: было это все или этого вовсе-таки не было. Если сказать — брехня, так не такой мельник человек, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живет на мельнице, и хоть сам признается, что здорово был пьян в эту ночь, а все-таки помнит хорошо, как мельник ему сам двери отворил и еще Гаврило заметил, что у хозяина лицо белее муки. И Янкель пришел на заре, и Опанас приехал домой босой и пьяный... Значит, и присниться все это мельнику — не приснилось.

Ну а опять же и то взять: как же оно могло быть, когда для всего этого нужно целый год, а мельник на другое утро уже к Гале прибежал босиком...

Э, лучше уж, я думаю, и не разбирать этого дела. Было оно там или не было, а только вот что я вам от себя уже скажу: может, есть у вас где-нибудь знакомый мельник или хоть не мельник, да такой человек, у которого два шинка... Да еще, может, жидов ругает, а сам обдирает людей как липку — так прочитайте вы тому своему знакомому вот этот рассказ. Уж я вам поручусь, дело пробованное, бросить он, может, своего дела не бросит — ну а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит.

Ну а есть и такие люди (это тоже дело виданное), что как выслушают эту историю, так и начнут лаяться на тебя, как собаки. Так я таким скажу вот что: лайтесь себе сколько охота, а только я вам посоветую по правде — берегитесь, как бы не случилось чего с вами, как с мельником.

Потому что, видите ли, новокаменские люди не раз после того видели того самого чертяку: с тех пор как попробовал мельника, уже не хочет вернуться к себе без хорошей добычи... Летает, как отставшая птица, и все высматривает...

Так вот, добрые люди, берегитесь вы немного, как бы не случилось с вами чего недоброго...

А пока что прощайте! Если рассказалось что не так, как бы вам хотелось,— не взыщите с меня, простого человека.

1890

РЕКА ИГРАЕТ

Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

**Пожертвуйте проходящии
на колоколо господне.**

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многого-

лосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования,— поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем: теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса — будь мой сон еще несколько крепче,— и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке впере-

гонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного цвету.

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами, и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

Все это было когда-то,
Но только не помню когда...—

невольно вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Этто домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делат, гляди-кося, чего только делат Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды́ ведь это, право беды́...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

— Унесет у меня лодку-те...— говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела.— Беспременно утащит.

— А тебе бы,— говорю я, разминаясь,— вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делат, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится попрежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой: — Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечор еще, гли-кося, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды́ озорная речушка! Этто учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного цвету.

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут,— отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки.— Иванко, а Иванко! Иванко-о-о́!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает

червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет,— говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукашь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-инó, спрашиват еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик.— Что ты какá сильна пришла. Разговариваешь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, нéгодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-ó!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-рошую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: — Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег.— Перево-о-óз!..

— Тятька, а тятька! Паром кричат, вить,— говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват,— спокойно подтверждает Тюлин.— Сговорись там. Может, еще и не надо ему...

Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я,— говорит Тюлин в раздумье,— а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья,— пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишенною основания.

— Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю...— чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирическою.

— Голову, братец, всеё разломило. И отчего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли,— ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж накрасился...

— Выпито. Голову всеё разломило, бе́ды! А ты, может, лучше не ездий.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам,— говорит Тюлин,— тяжелы вить.

— Ты сходи — твое дело!

— Не мне ехать — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну...— опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья.— Проходящий, да-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет,— говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те,— советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!..— слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит,— говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет...— говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды́.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, кака надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно.— Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать,— протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет,— ответил мужик, с натугой налегая на чеге́нь правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду — его чегень тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да што нету их?

— Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды́, право беды́,— безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в гре́би, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли греби-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-и́сь на перевал! — быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепи́! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром ходом подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень,— говорит он, мотая головой,— кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманыват...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного

перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно — мостки давно затопило,— то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «нéгодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду,— советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин.— А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, кака крутоярина.

— Чё ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки.— Ну загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи» — мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом.

— Проси с Тюлина косушку,— говорит полушутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Дол-

говременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим — поднесу... И не одну, слышь, поднесу,— добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут...— скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут,— утешаю я,— может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? Голову всеё разломило...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще кричать где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка,

которую согласно предсказанию знатока-перевозчика унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Беды́! — ответил Тюлин.— Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула — в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой.— Не оглянешься — плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных,— заступился за своих Тюлин.— Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то, на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другим месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяи-

ном. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублев! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти,— говорили артельщики.— Не заманишь!

— Ни за сто рублев не полезем в реку.

— Пущай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пущай покидат бревнушки, пущай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли,— сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут,— успокоил Тюлин.

— Поговори им,— заискивающе сказал торговец.— Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Споишь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «Дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клади на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?

— Пожалуй что и Парфен,— опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко — завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки — нос к корме,— он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон...— указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет,— сказал он, впрочем довольно спокойно.— Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь оттеда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут... Эх, как река-то пылит, беды́! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.— Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее — так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях со-

ловьихинцы слывут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну разумеется, не хочет. Они и не неволят — отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили — надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте» в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам — «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками» [1] — ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги и уходите на сутки — никто не тронет.

---

[1] Красноярками называют фальшивые «бумажки».

— Как же все-таки соловьихинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: нигде, нигде...

— Вот и у Тюлина,— сказал я, улыбаясь,— тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Немудрено,— ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз — дó дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!..— вмешался мой знакомый.— Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-áй!

Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно — так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.



— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,— сказал первый из моих знакомых,— и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы,— я вот рассказывал,— любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои,— говорит один,— как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить».— «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано — не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и при свете огонька на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около

усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с перекатцем, выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от винища. Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся»,— когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики,— этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие,— сказал мне с неудовольствием один из начётчиков.— Нешто это от Писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал...— и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям, или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского

священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся — около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры — уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стрижеными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат,— говорил Ефим.— Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее,— ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно́!

— А что?

— Да так. Этто нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде́ ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потому молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашо́ные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь, дай-ка, и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьця. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» — «А что, мол,— молитьця было похотел».— «Погоди, говорит».— «Чего годить? Самая пора».— «Погоди, мол, после». Ну, после дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погодя, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь

и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитьця целился».— «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету — одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, до́пустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? И тут не до́пустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнушко господне помолюсь.

— Три веры в одным дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицю, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете».— «А потому,— старуха бает,— и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да,— подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову.— Видишь ты, каке́ грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Теперича у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тятькой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хохо-о́... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешиця по Русе́ пошла,— раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это,— сказал, укладываясь, солдат,— не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молокáна опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитьця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже цвету, только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за

другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

. . . .

— Перево-óз!

— Перевоз, перевоз, перрево-ó-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!

— Го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлугаи-водохлебы! где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-óз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от

погрома, вся опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка,— думалось мне,— устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на средине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю,— ответил он, раскуривая.— Мне не к спеху — пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безала-

берным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от *тех* веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891

АТ-ДАВАН [1]

Из сибирской жизни

I

— Н-ну! уж и дор-рога! — сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков.— Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному торо́сья, которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга, в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остался безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным

---

[1] Ат-Даван — станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска.

хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длинною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на па́ди (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгузских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, развертываются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами...

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случалось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крякнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

— Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной по торосу узкой дороги. И, однако, сделав станка два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванович! — пытаюсь я протестовать в таких случаях.— Станок бы еще можно сегодня...

— Куда, к шуту, торопиться-то? — отвечает Михайло Иванович.— Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать — все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

— Народ здесь,— говорил он таинственно,— на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

— А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно... Чудак! — прибавлял он, быстро впадая в «сердце»,— какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Рассея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михайлу Ивановичу «здешняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к известному пределу, после кото-

рого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона — Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры,— теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я вгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора,— но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сланец, с причудливыми слоями, напоминавшими какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие лиственницы, якутская могила с крестом и сру-

бом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой,— все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыхало сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамах, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

— Вот, братец ты мой, и чудесно! — радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за переметы со всякою дорожною снедью.— Эка теплота-то благодатная! Тут уж, шабаш, ночуем беспременно! Эй, кто там!.. писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей...

— Ну нет, Михайло Иванович,— попытался я возразить,— еще рано. До N... доедем, а там и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нет,— послышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человечек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю — все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная

или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает обращение и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

— Как же нет лошадей? — возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте.— Две тройки должны быть на станции.

— Так точно,— покорно ответил он,— должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

— Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте,— произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экие вы, право! — с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки.— Почему да почему? Ну куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит — значит, причина!

— Так точно-с,— обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака,— так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

— Ну хорошо,— сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз.— Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

— Почта́ келле́, Василь Спиридоныч...

— А, почта! — успокоился старичок.— Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ямщики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками, мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убегавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца,— превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока, наконец, представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полузастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекшее лицо,

беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

— Че! — отряхнулся он.— Тымны берть, мороз улахан (очень холо́дно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

— Угощайся,— ответил Копыленков благодушно.— Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

— Верно,— сказал он.— Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

— Одежонка у тебя — ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

— Одежа ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней; летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных сумах верхами. Целый караван вьючных лошадей жмется тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают, в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произве-

дения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежонке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество, без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый — право же, невинный при этих условиях — доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу,— произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

— Слышь, почта, давай чайком побалуемся,— предложил Копыленков.

— Невозможно, господа почтенные,— тороплюсь. Слушай, парень,— дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю,— поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

— Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

— Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти — догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

— Тебе-то что?

— Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

— Ну?

— То-то... Сказывают, осатанел, беда!

— Авось бог милостив. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого? — спросил Копыленков.

— Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

— Так, так, так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у тебя лошадей-то последних и взяли...

— Совершенно верно-с... Судите сами: приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

— Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

— Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

— Удостоил?

— Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? — спохватился он вдруг.— Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово — два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен,— внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо польщенный.

— С превеликим удовольствием разделю компанию,— сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

— В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

— Значит, служил? — спросил Копыленков.

— Так точно-с, по комиссариатской части, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» — хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта — три тройки — двинулась, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черные пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты — целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя Арабын-тойона раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным

очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги — и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала кверху, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась кверху. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромною пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину объякутевшего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные — то протяжные, то истерически-прерывистые — звуки. Это была якутская песня-импровизация — песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже,— подумал я невольно,— как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно

было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, непроизвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван — имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как Эолова арфа, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга... От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал,— песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох в своих горестных странствиях натыкается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, незамеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее

в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал — правда, мимолетно — казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый, тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно-самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути — о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам, он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления,— от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся, наконец, наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными

рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.

— Так, говоришь, прогорел? — спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

— До основания-с! — ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем.— Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

— Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

— Пропал? Ну́, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть? По здешним-то местам, я говорю, да этакой голове...

— Действительно, шельма естественная. Говоришь, поправился?

— Да еще как поправился!..

— Ну дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

— Первым делом — женится он вторично на вдове с капитальцем. Капитал, положим, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

— Живехонька-с! Это ничего не составляет.

— Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

— Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

— Спир-том?.. Ну нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

— Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...[1]

— Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

— Этот ловок. Шире-дале, шире-дале, и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.

— Ах ты братец мой! Вот голова так голова... Пей еще! — предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару — значило бы отказаться окончательно).— Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Г-н Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

— Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? Потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович — наверно изволите знать, прииски у него богатейшие были,— говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоем уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не дозволяет... «Иван Александрович»,— говорю ему...

Г-н Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

— «Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу — понимаешь ты? — с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение

---

[1] Золотой песок. «Торговать пшеничкой» — скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

получить,— забвение горести!» Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд — четыре с полтиной, говядина — восемь рублей! Ни спокою, ни пищи...

— Это верно,— поддержал Михайло Иванович,— корма-то здесь дороги, нечего говорить.

— Эх, нет, не то! — с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменила всю несколько комичную его фигуру.— Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

— Задумываешься? — перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

— Бывает! — угрюмо сознался Кругликов.

— Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

— Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной, или вьюга́ воет... к окну, а в окне — слепая льдина... Отойдешь — и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— В голову ударит — ну и омрачит отчасти... Затуманит, потому — настойка у меня... Водка настоена крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

— Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит, не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища

там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:

— За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

— Да говори ты, братец, толком! — сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

— Что ж, я правду говорю,— ответил Кругликов,— так как, собственно из любви к одной девице, в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как celebrissime [1] Ринальдо-Ринальдини.

— Из пистолета? — протянул он растерянно.— Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

— Так точно-с. Пистолет настоящий.

— Палил?

— Два раза.

— Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

— Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

— Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла...— обратился я к г-ну Кругликову.

— Да,— поддержал мою просьбу и Копыленков,— что ж, братец, расскажи, расскажи — ничего! Что уж тут... Удивительно!

VII

Г-н Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахару

[1] Славнейший *(лат.)*.— *Ред.*

и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

— Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

— Не случалось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

— Это где? — спросил Копыленков.

— Вблизи Петербурга, часа два пароходной езды-с, портовый город.

— Я бывал,— сорвалось у меня.

— Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

— Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

— Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

— Да, город хороший.

— Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

— Верно.

— Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел

несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиц немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в средину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять — лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинулся на Кругликова.

— Ну так что же,— сказал он нетерпеливо,— родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

— Да-с, родом,— отрезал Кругликов с гордостью.— На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнителен и у начальства несколько на виду по причине родителя,

то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

— Не ропщи! — наставительно произнес Копыленков.

— Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще того доходнее...

— А какое? — не вытерпел Михайло Иванович.

— В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень, чтобы сказать, большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно — просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись...

— То есть это что же, насчет чего?..— недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

— Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, размотает его жена, как катушку какую,— вот и приобрел!

— Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

— Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

— Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры,— живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

— Будьте добры, продолжайте,— в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

— Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было — это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент — обучением занимался. Сама напросилась — ну а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую — учи!

— Напрасно,— сказал вскользь Копыленков.— Баловство! Женскому полу это ни к чему...

— Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

— Грех вышел? — забежал вперед Михайло Иванович.

— Никакого греха! — отрезал Кругликов холодно.— И в мыслях не было — оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян — чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все такое-этакое... Возвышенные персоны-с, и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная — сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер — я с должности вернусь — гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте, известно, какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, сходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг

бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она — дите.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет».

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьем грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жмется ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок не долго».

«Да,— говорит и Рая,— наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить — так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я,— Раин родитель отвечает,— столько же, вместе составится двенадцать — куда им больше?»

«Нет,— мой опять говорит,— не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово — заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

«Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»

— Нашла, значит, коса на камень,— засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

— Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

— А что ты думаешь?.. И верно! — опять вставил Копыленков.— До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

— В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе — никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну, и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя — дело прошлое — был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новою рюмкой водки. Рука, подносившая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

— А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал,— жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только, гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, сказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой изо рта не выпускает... Странный, конечно, народ — ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихою улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

— Вот,— сказал он,— посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим.

Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен — хотя, быть может, и не из первых рядов — стояло на обложке книги.

— Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили,— сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

— Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венецыян, подите-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».

Посмотрел на меня этак с головы до ног... «И то, говорит, как об этаком храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецыяна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса

Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та — и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланный, говорит, пришел, говорит, не за...был, не...бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились, и глаза усиленно моргали.

— Что уж это,— произнес он растроганно,— до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

— Простите, господа почтенные,— не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостоин...

— Ну, ну,— защищался Копыленков от нового припадка чувствительности,— ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

— Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, просветлеет,— ну и я на нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намедни купила...»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка — ну да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец

вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю:

«Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

«Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру как сидорову козу...»

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата — бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительскою рукой высечь?..»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно — закон дозволяет».

«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину — сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабине-

те, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... Мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»

«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста — небось замялся... Ну брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление — получше тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости — свет мне не мил: тут — начальник, домой придешь — бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертию письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

— Ну? — прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

— Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак, или маленько поболее, зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданно-

стью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

— Понятное дело! — одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, и подумать не мог... В Сайдашную улицу, к Раисе Павловне...

— Зачем? — невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

— Сватом-с,— ответил он не без гордости.

— Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

— Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

— Ну и девка же... Ах, бедовая! — не выдержал опять Копыленков.

— И вы пошли? — спросил я с невольной укоризной.

— Да ведь повез...— застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапною резкостью повернулся к Копыленкову: — А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

— Очень нужно еще и понимать-то тебя,— отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

— Ну, и м-м-малчи-те-с,— отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

— Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... По-е-хал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну так и знал. Хорош, нечего сказать, принц венециан-

ский... И свирепый сераскир тут же» — это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

— Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-когда-с...» Вот, милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако между тем прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королевна моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

«Васенька...» — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королевна, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

— Вот тут-то,— сказал он с расстановкой,— вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раичкой вечером

сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымает. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

— Убил? — в ужасе приподнялся Копыленков.

— Нет, не убил,— с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов.— По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» — потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

«Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще и плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

— Ну, выпьем! — сказал Копыленков.— Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

— Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Г-н Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими,

характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

— Неужели это?..

— Они-с,— сказал Кругликов почтительно.— Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцывенах и Францылях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

— Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Г-н Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

— Для Арабина? — спросил я.

— Да,— как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробегали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

. . . .

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов, не торопясь, зажигал свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Г-н Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черные глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть от дороги, а может быть также — от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он

был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна — все это не прошло для г-на Кругликова даром.

— Черт возьми! — произнес Арабин нетерпеливо.— Шевелись там!

— Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие,— спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

— Самовар! — буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

— Готов.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоны пожалуйте,— с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

— Н-ну, что-то будет,— наклонясь вдруг ко мне, прошептал он,— беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали — в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей,— это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову.

По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона, в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване — и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахáн Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

— Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало зловещее выражение.

— Молчать! — крикнул он.— Это что... бунт?

— Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног. Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его исступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднима-

лась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце,— так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искоса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

— Я вам пок-кажу бунтовать! — ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о свидетелях, которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приязненные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдце с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

— Вам что надо? — вдруг отчеканил он резко, ставя блюдце на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

— Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

— А-а!.. Ну так,— произнес Арабин, опять принимаясь за чай.— Теперь помню.

— Именно-с,— обрадовался Копыленков.— А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

— Не ваше дело!

— Это справедливо,— смиренно согласился Михайло Иванович.— Может, касающее секрету...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

— Справедливо-с,— в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: — Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел — и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилось на пол. Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением.— Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

X

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задергивал пологом.

— Михаил Иванович,— произнес он с робкою мольбой,— будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

— Хорошо, хорошо, братец! — как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, расскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убегал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера,— таинственные и фантастические под сиянием луны,— надвигались на нас теперь — хмурые и холодные.

— Ну что ж, Михаил Иваныч,— спросил я, когда тройка побежала ровнее,— доставите вы ему место?

— Нет,— ответил Копыленков равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился — взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

— Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

— Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

— Я слышал: требовал прогоны — это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

— Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

— Обязан платить.

— Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

— Закон, Михайло Иванович.

— За-а-кон... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще, какое это слово: «закон»?

— Какое?

— А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя подержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

— Однако вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

— Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

— Подымай! — крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользнув с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

1892

ПАРАДОКС

Очерк

I

Для чего, собственно, создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то время мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине вот уже около недели любимым нашим занятием было — сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас настоящая, живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность,— нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-

то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку, с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов — и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат по большей части предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла,— и тогда брат говорил с досадой:

— Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница...

Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен — выражаясь по-нынешнему — какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы с неопределенным замиранием души спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...

И все это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шепот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте,— потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю,— мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глуби-



ну огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...

В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не прийти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...

Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...

II

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи,— из действительного мира, то есть со стороны нашего дома,

проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

— Панычи, панычи, э-эй! Идить бо до покою!

«Идти до покою» — значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях,— тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец, Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя с медными булавками и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления.— А що се вы робите?

— Так...— ответил брат угрюмо.

Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:

— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стащит червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого

омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна — простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью,— а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

— Воняет,— сказал Павел презрительно.— От, идить до покою, пан кличе.

— Зачем?

— Идить, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, и нам было совестно оставаться на верхушке забора в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрели к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...

III

У крыльца нашей квартиры, на мощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти все это население высыпало на двор и стояло на солнопеке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако отец, си-

девший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, по-видимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударев, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля страха как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному... Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударевым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишневой палочкой в зубах, медленно раздувает щеки и тихо выпускает воображаемый дым,— я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затем уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишневой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помощь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это, собственно, были мысли, сказать трудно; прежде всего они были важны и печальны, а затем, вероятно, все-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу...

Кроме отца и доктора, среди других лиц мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у нее было шестеро, и на ее лице ясно виднелось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако скептическая улыбка видимо сплывала с ее красивого лица, и в синих глазах уже мелькало какое-то испуганное сожаление, обращенное к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то стра́нно — странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища — помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, острыми чертами и большими, проницательными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи

узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружившую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорее... Вы имеете случай увидеть интересную игру природы,— фальшиво ласкающим голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось, и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате... Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень) — он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартирку. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с иголочки и очень любезно, как ни в чем не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живших во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши...

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект с длинными усами и беспокойными впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой.— Так как, повидимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям... все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо натуры, шляхтич из Заславского повета, Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было бы одеть ребенка, потом расстегнул ворот рубахи. Я зажмурился — так резко и болезненно ударило мне в глаза обнаженное уродство этих узких плеч, совершенно лишенных даже признаков рук.

— Видели? — повернулся долгоусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках.— Без обману...— добавил он,— без всякого ощуканьства...— И его беспокойные глаза обежали публику с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих ближних.

— И, однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский — человек очень просвещенный. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять все, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причем толпа шарахнулась от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

— Господи боже!.. Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне,— пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счел нужным толкнуть его локтем в бок. После этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнес среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

— Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно считал приказ преждевременным. Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздраженно, повторил:

— Ты глуп... обойди!..

Полковник Дударев пустил клуб дыма и сказал:

— Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем еще настойчивее повторил долгоусому:

— Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посылает долгоусого на какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошел к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины; на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она все еще испытывает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически поклонившись Дудареву.

— Пан доктор... Очень хорошо... благодарю вас.

Дударев равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно или он чего-то слегка застыдился.

— А! то есть удивительное дело,— сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий,— удивительно, как он узнал, что вы — доктор (Дударев был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

— О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь,— сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, по-видимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее,— сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: — Подойди к этому пану... Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки...

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал ее в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и... все-таки опустил ее в шляпу.

— Теперь продолжай,— сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял свое место и продолжал:

— Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму...

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом — огромная голова подавляла это тело карлика. На



лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустился опять в свою тележку.

— Однако он может передвигаться и сам.

Колеса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и еще более походя на паука, сделало большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки...

— Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершает свой туалет.

Он подал феномену гребенку. Тот взял ее ногой, проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши глазами в толпе, послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

— Наконец, господа, ногою он крестится.

Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряженная тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем феномен кончил, глаза его еще злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

— Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжелое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я замечал много раз, что простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом.

— Пан доктор?..— вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударев только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли,— положил еще монету.

— Извините,— повернулся вдруг феномен к моей матери...— Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма и, вынув серебряную монету, кинул ее на мостовую. Феномен поднял ее, поднес ко рту и сказал:

— Пан доктор, я отдам это первому бедняку, которого встречу... Поверьте слову Яна Залуского. Ну что же ты стал, продолжай,— накинулся он вдруг на своего долгоусого провожатого.

Впечатление этой сцены еще некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

— Наконец, уважаемые господа,— провозгласил долгоусый торжественно,— ногами он подписывает свое имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы,— живо подхватил феномен.— Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую папку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию: «Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

— А теперь,— сказал он, насмешливо поворачивая голову,— кому угодно получить афоризм?.. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее.

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеясь, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана еще монету. Долгоусый проворно подставил шляпу... Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе...

— Подойди сюда, малец,— сказал он,— и ты тоже,— позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас черными глазами, а отец смеялся.

— Ну что ж, ступайте,— сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату... Маленькие и смущенные, мы остановились против тележки, под взглядом странного существа, смеявшимся нам навстречу. Мне казалось, что он сделает над нами что-то такое, от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла... Может быть, он расскажет... но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы... Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягченным взглядом, который становится все мягче и все страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

— Прочитай,— сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:

— «Человек создан для счастья, как птица для полета...»

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что все кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

— Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать. Уляницкий эмансипировался и только величественно повел рукой, показывая, что он и без того был слишком вели-

кодушен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

— Хорошо сказано,— засмеялся он при этом,— только кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

— Счастливая мысль,— насмешливо подхватил феномен.— Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена... Ха-ха! Это правда... Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета...

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное — они как будто затуманились...

— И для счастья тоже...— прибавил он тише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом.— Га! — сказал он громко, обращаясь к долгоусому.— Делать нечего, Матвей, обойди почтенную публику еще раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, по-видимому, представление законченным, опять замялся. По-видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не внушавшую ни симпатии, ни уважения, в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

— Ты глуп! — сказал тот жестко.— Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался еще парадокс... Надо получить и за парадокс... За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла еще раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошел брат.

— Знаешь что,— сказал он,— этот... феномен... еще здесь.

— Где?

— В людской. Мама позвала их обоих обедать... И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки...

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел, наклонясь, с руками назади, и тащил за собой тележку,

в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая мимо флигелька, где жил военный доктор, он серьезно поклонился по направлению к окну, из которого попыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгоусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Уляницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

— До свиданья, благодетель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки... которой у меня, впрочем, нет... ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель... Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота...

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту, и мы могли здесь еще раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговязая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошел старый нищий с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

— Матвей! — окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шагу.

— Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнес:

— А! Ей-богу, глупство!..

— Доставай,— кратко сказал феномен.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у? — совсем жалобно протянул долгоусый, однако полез в карман.

— Не там,— сказал холодно феномен.— Сороковец доктора у тебя в правом кармане... Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился в него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом чело-

века, смертельно оскорбленного, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

— Дьявол вас тут носит, дармоедов,— пробормотал он, принимаясь опять за дышло. Нищий кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захохотал, откинув голову назад... Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

— А ты сегодня в добром гумóре,— угрюмо и язвительно сказал долгоусый.

— А что? — с любопытством сказал феномен.

— Так... пишешь приятные афоризмы и раздаешь голодранцам по сороковцу... Какой, подумают люди, счастливец!

Феномен захохотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

— Ха! Надо себе позволить иногда... притом же ничего не потеряли... Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила...

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризм. Но в эту минуту тележка поравнялась с тем местом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захохотал неприятным смехом.

— А! лоботрясы! Пришли еще раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами... Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону... Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату... Кланяйтесь доктору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки к плечам... А у меня есть племянники, настоящие, с руками... Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья...

Тележка покатилась, но уже в конце переулка феномен еще раз повернулся к нам, кивнул головой кверху,

на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул еще раз:

— Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полета.

Затем он исчез за углом, а мы с братом долго еще стояли, с лицами между балясин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбу в загнившей бадье...

Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, ее глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, както скучно освещенная солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью...

Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью...

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы...

1894

БЕЗ ЯЗЫКА

Рассказ

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между

которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полузасыпанных рвов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и голота подымали кругом пыль, облегая город... то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то реестровыми казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую Библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение,— слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедовали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было *что-то,* и опытные люди *что-то* замечали. О лозищанах говорили, что они *что-то* вспоминают, о *чем-то* воображают и *чем-то* недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!». А иные, посмелее, принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло как-то так, что наследник помещика уступил... Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было,

и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод,— говаривал он,— а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, попрощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Немало уходило таких неспокойных людей и из Лозищей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все это дело кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было — через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою рыжею маркой, какой до того времени еще и не видывали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а, наконец, все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозищах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть,

правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за *тикет*, который и посылает ей в этом письме. А что такое *тикет*, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно-таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне... Писарь (тоже лозищанин родом), и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: mississ Katharina Ioseph Losinsky-Oglobla. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и mississ тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и враг не оставлял ее в покое. Нет-нет да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип

Лозинский далеко, что еще никто из таких далеких стран в Лозищи не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было нелегко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозинскому, по прозванию Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почасту гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли кто о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскались тут два человека из таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда все это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шу-

ляка, бывшего гайдамака,— человек огромного роста, в плечах сажень, руки как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел — настоящий медведь из пущи. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская Библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозищах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-казачьи — книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуску. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, все старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей,— говорили приятели,— в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на

берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенько, догадался первый.

— А знаете, говорит, что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы... И все кругом — чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому нетрудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и черный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух — видно, что сейчас уходить хочет; а пока лозищане оглядывались — раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули

мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человече! — закричал ему Дыма.— Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там, к черту, хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже изо всех немецких голосов ее голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозищан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей,— закричал было Дыма,— а нука, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся — пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять — двадцать сажен, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мглистого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозищане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на

корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров,— и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь,— говорит ему Дыма.— Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил еще, все меньше, все дальше, а там не то что Лозинскую, и его уже трудно стало различать меж другими судами, да еще в тумане. Защекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает,— с досадой перебил Дыма.— Вот если бы ты его в свое время двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает,— ответил Матвей, почесывая в затылке.— Правду тебе сказать — хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма

сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел напрасно денег взять, щелкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс»,— а сам рукой на кабачок показал. Шнапс — это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько:

— Это, должно быть, минский или могилевский, а то из Пущи.

Так и вышло. Поговоривши с немцами, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал лозищан дураками и объяснил, что они сами виноваты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано: «Billetenkasse». Billeten — это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек как слепой или малый ребенок». А Дыма хоть, может быть, думал то же самое, но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось — увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь,— ответил кабатчик.— Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь, говорит, вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что,

говорят, американцы — народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого,— сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами.— Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозищан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыха́ясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назади, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозищане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он: и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтением и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль все идет и идет...

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны,— и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом... Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину — ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели...

И много в эти часы думал Матвей Лозинский — жаль только, что все эти мысли подымались и падали,

как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного,— сказал он мне,— разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыхалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны... Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди...

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням... Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами — они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность...

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поравнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не

о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре... А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел, как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чайки,— и он колыхался и шел, шел и колыхался... А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин... Как-то они его встретят и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он приедет к ним,— все это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря,— он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Поищи себе трясцу (лихорадку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме,— тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно

тошнило, и он кричал, что это проклятое море выворнет его наизнанку, и заклинал христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку наниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет... Порой, кажется, он готов был даже кощунствовать, но все-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговорились с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! рвут друг другу горла — вот и свобода...— сердито ответил тот.— А впрочем,— добавил он, допивая из кружки свое пиво,— и у нас это делают как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород,— сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела,— ответил могилевец уклончиво,— я говорю только, что на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозищанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга — это, конечно, может быть, и правда, но свободой,— думали они,— наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так

и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло...

Теперь с лозищанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его выписал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя,— разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой — одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползали на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талью и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три» — потому что у них три называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»... А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему Библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина, и какой-то простор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет»,— вспоминались слова деда... «Что же,— думал он,— тоже, выходит, «рвали горло»...» Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день пал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника,— прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной; и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в клеенчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел вверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого

льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они — я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал все набираться на носу, как муравьи на плавучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины — и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой,— думал Матвей.— Да здесь человек как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развертывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, неслось рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну — молодую девушку, с которой он познакомился,— и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут деется в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом бóльшая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк, и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгой ночной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких

много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плывешь себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря,— что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться — неизвестно. Стали наши, в белых свитках, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках — с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жмется меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид,— сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголочки и уже вовсе не похожий на жиденка,— однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что,— сказал Дыма с торжествующим видом.— Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший! Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк,— к вашим услугам,— сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... Притом еще с нами, видишь сам, девушка...

— Ну разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело,— ответил мистер Борк с большою политикой.— Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. А у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо,— сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка.— Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!..— крикнул он на молодого человека, который таки оказался его сыном.— Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Таке ту бэгедж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! матерь божья! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа,— сказал про себя Матвей,— а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались,— сказал жид.— Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан, по настилке, на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов,— и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как горелый лес; поднимаешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Господи Иисусе,— шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ними бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем черных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, это человек, наконец, может потерять всякое терпение,— сказал Дыма, ставя свой узел на землю.— Послушай, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием.— Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы, чуть что не так, и сейчас звать полицию...

— Это, верно, называется свобода,— сказал Дыма очень язвительно.— Человеку кинули в лицо огрызок — это свобода... Ну, когда здесь уже такая свобода, то послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать,— взмолился Берко, к имени которого теперь все приходилось прибавлять слово «мистер».— Мы уже скоро дойдем, уже совсем близко. А это они потому, что... как бы вам сказать... Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цирюльник... Ну, он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода — чтоб ее взяли черти,— сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка банана. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу...

— Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать? — сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду,— сказал Дыма решительно.— Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут еще лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо,— что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал: — И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался,— и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите по-своему... то идите куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы как хотите... Джон! Отдай барышне багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! Что там! Пойдем уже.

— Пойдем, пожалуйста,— робко сказала и Анна.

— Га! Что делать! В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать,— ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошел на лестницу.

На первом повороте за конторкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему пять билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись еще выше и вышли на платформу.

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем как наши. «Вот,— думал Матвей,— полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи,— думала в это время и Анна,— а ну как это провалится, а ну как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдали показался какой-то круг, и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти

американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо крытый двор, с высокою соломенной стрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с драбинами для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного пота, запах дегтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз, на ярмарке, или в праздник, проездом в местечках, или в какой-нибудь корчме на шляху — заставать полным-полно народу,— и это их нисколько не смущало. Известное дело — всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин, со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся проезжий барин — то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами — знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и ува-

жение, от гордых сторонились, и если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки нечасто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлестнуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные, как сажа. И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся вдаль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастал и через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько клочьев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было

городское платье, как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись огромным листом газеты, и, отслонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий барин, и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать,— сказал он,— стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк,— зашептал ему осторожно Дыма.— Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну,— обиженно ответил Борк,— что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой,— ответил Дыма все-таки шепотом,— если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фю-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У босса денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают

на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и недосчитался...

Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо,— сказал он, поглаживая свою бородку.— Нет, насчет кошелька, так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо,— то он сделал вид, будто все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что, в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь, притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услыхав, что разговор идет о Тамани-холле,— он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его, с своей стороны, и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-holl,— сказал опять американец, любезно улыбаясь,—вэри-уэлл!

— Вэри-уэлл,— кивнул головой Дыма.— Это значит: очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захохотав.

— Yes,— засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели.

VIII

А Матвей подивился на Дыму («Вот ведь какой дар у этого человека»,— подумал он), но сам сел на постели, грустно понурив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать — все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но все ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать,— думал он,— на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозищах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землей и даже — прости им, господи,— по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма,— сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей.— Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек — пусть же советует, как сыскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо,— то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся — и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша,— шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы... Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда»,— подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем — это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк,— поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко,— сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась.— Скажите пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет,— сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда,— сказала барыня.— В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие — хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую леди из наших крестьянок.

— Ну а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стеклышки на нос и оглядела девушку с ног до головы. Лозищане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею,— ответила Анна...

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и заправить лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почем я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все пере-

минала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно.— Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед... Ну вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но...

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете,— прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего...

— А почему же не пойдет? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А впрочем, в сердце лозищанина примешивалось к этому чувству другое. «*Наша* барыня, наша,— говорил он себе,— даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться...»

— Ну почему же не идет? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не мое дело...

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому и мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка,— сказал Матвей.— Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже,— ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь,— прибавил Матвей,— напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что́ он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно — и смолчал.

— Эх! — сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб

в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт,— обрадовался Дыма,— значит, дойдет.

— Дай-то бог,— это будет чудо господне,— сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили — ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке,— то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно когда, у порога, ирландец, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снует народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда. Роза, девушка, дочь Борка, покрыла стол в соседней комнате белою скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что таким образом на его родине евреи приготовляются всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Ан-

нушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк,— обратился к нему Матвей,— что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увиде-

ли бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру? — сказал лозищанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю — хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги,— подтвердил Матвей.— Такие деньги у нас платят работнику от покрова до пасхи... Правда, на хозяйских харчах.

— Ну вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать.

Потому что когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди. Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну,— ответил Борк, вздохнув,— мы, старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко,— сказал Матвей, начиная сердиться.— Ты, кажется, шутишь со мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да,— сказал он, вздохнув.— Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек,— прибавил он загадочно.— Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже — эпикурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минуту! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон,— сказал ему Борк.— Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом,— поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды, и отцы были христиане — греко-униаты...

— Олл райт! — сказал молодой Джон.— А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберется ответить,— он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом.— Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на какое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему, лучшая вера та, в которой человек родился,— вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется,— ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтоб им провалиться,— сказал Матвей.— Да это значит, сколько голов, столько вѐр.

— А что вы думаете — тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться...

— Посмеяться? В церкви?

— Ну, они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся... Я вам говорю — Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

X

Город гремел, а Лозинский, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им еще в Лозищах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломою, а тесом... а может быть, и соломой — только новой и свежей... И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпевает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари — как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодицы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и все только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный,

глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли — а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, громыхало под ухом... Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты...

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом,— то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирал глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господа.

— Ну что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди

с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку или не нравятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой только во сне,— и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквах, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью,— неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он, наконец, разделся и полез к Матвею под одно одеяло — то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, вглядевшись.— На кого ты похож и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь... Зашел с проклятым ирландцем в цирюльню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги

сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, и двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало — не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл, уэлл, вери уэлл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну, а все-таки, признайся, Матвей... Все-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь,— живо продолжал Дыма, не слушая,— когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван,— сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте.— Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди,— заворчал Дыма, отворачиваясь,— так упрямы, как лозищанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился,— сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай голос за меня... Кто соберет десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это таки справедливо: хочешь себе — дай же и людям... И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду,— что и нам бы можно... Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово devil, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образком в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться и... я вам мешаю... Я сейчас уйду.

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет,— ответила она.— Только... я думала — не будет ли вам неприятно?

— Молитесь,— просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая, бледная луна.

— О чем вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят,— ответила Роза,— у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза.— Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... услали.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после этого стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж,— сказала Роза,— со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко. А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну что людям нужно? У нас все разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они ее очень испугали... и она умерла...

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У нее как-то странно сжалось сердце... И еще долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда наконец обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пронесся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще, при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, которое подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово «Тамани-холл»... Дела этой компании, повидимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих похождений в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений — разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова... Это, конечно, не заслуживало еще осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило, что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида,— думал про него Матвей.— Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьезный

человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво — мисте'г Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея,— они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, такая, скажем, себе компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе что хотят...

— Ну так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они все сделают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьезное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу,— упрямо ответил Матвей.— Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма.— Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошеле, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то эконом уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да...— пробормотал Дыма, немного растерявшись.— Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги, и кончено.

Матвей не нашел что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду,— сказал он,— и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался.

— Ну что ж,— сказал он,— когда ты такой, то заработаю один. Все-таки хоть что-нибудь...

И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

XII

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец, он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку,— сказал он однажды.— Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг — кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-завертят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос, или, если уж не удастся — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда,— подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы.— Во всей Америке бокс очень любят!

И если еще, вдобавок, выищутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека еще лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей.

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они таки выбрали нового мэра, и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо.— А все-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши ненастоящие голоса.

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал Библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей,— сказал он каким-то заискивающим голосом.— Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу,— ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма,— сказал Матвей серьезно.— Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош?

А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку. Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменил себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием.— Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, и я сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь,— обрадовался Дыма.— Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой Библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города...

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако догадавшись, что Падди на этом не кончит,— он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо),— сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично),— сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Ал райт,— повторил за другими и Дыма как-то радостно.— Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру...

Но Матвей как ни в чем не бывало сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего,— подумал Матвей,— если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты,— то все невольно покатились со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам,— сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова.— Га! Вот как дерутся у нас, в Лозищах.

Но после, когда смех постепенно утих и все приня-

лись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего,— ответил Матвей спокойно, опять как ни в чем не бывало принимаясь за Библию,— хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозищанин свалился на пол.

— All right,— одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога,— сказала она только.— О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошною тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные

и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозищах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно, надо как-нибудь и самим ухитряться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индийскую штуку?..

— А... разве я уже все понимаю по-английски,— отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что,— сходим завтра к этому цирюльнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возьмут все черти, вместе с теми, кто продает им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей,— пробовал остано-

вить его Дыма.— Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время, действительно, и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь, и все, проснувшись, смотрели на рассвирепевшего лозищанина.

— Смотрите не смотрите, а это правда,— сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

XIV

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать — ему снилось, что он стоит, не способный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то — не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу: мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят

и пищат на скрипицах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом...— Гей-гей! — закричал Матвей во сне...— А где же тут христиане? Разве не видите, что жиды захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея,— но тот уже смолк, а сон шел своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями и дреколием... Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы спешно пили в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела,— он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по получасу и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну вот видите,— говорил он,— так-то здесь живут, в Новом Свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что́ он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догада-

ется об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного,— тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне — мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... на своей стороне... Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь сложа руки... ничего не высидим... Так вот что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка.— Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это,— сказал Матвей сухо.

— Но это потому,— сбиваясь, сказала Роза,— что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружиться с Анной и даже питала симпатию к этому задумчиво-

му волынцу с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите...— И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего,— сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне.— Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собираться. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробилась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домишко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей,— то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы,— и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздернуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри,— шепнул Матвей Анне,— вот как здесь живется нашим господам,— что уж говорить о простых людях!

— Ну,— ответил Джон,— вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью.— И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках,— еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и рассказы Борка о Мозесе... «Чего доброго,— думал Матвей,— ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может статься с молоденькой, неопытной девушкой, немного еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу — вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом,

в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Верба не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну что скажете?

— К вашей милости,— ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот... Третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж, что и сказать... Поступил на службу или уж как... к какому-то здешнему... Тамани-голлу...

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О господи,— вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все навыворот,— сказала опять барыня.— У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глубже. У барыни спицы забегали быстрее — было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне.— Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная,— вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали

в этой проклятой стране... Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь — начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано!..— сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малюют,— сказал он.

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно.— Все оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда,— сказал Матвей с убеждением.— Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе,— продолжала барыня,— правду говорит один мой знакомый: этот Новый Свет как будто сорвался с петель и летит в преисподнюю...

— И это святая правда,— подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный,— сказала барыня снисходительно,— и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш Свет стоит себе спокойно... люди знают свое место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господа... Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить,— сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон,— усмехнулась барыня.— Ну что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше,— вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна,— сказал Матвей.— Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой,— сказал Джон, глядя на часы,— пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязанье, кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа,— ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила... горничной у госпожи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны,— вздохнула барыня.— В мое время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать,— то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днем...

Краска опять залила лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны,— сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну вот видите,— обратилась барыня к Матвею.— Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату... Может, по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как

и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, поддернув подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней,— наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой,— сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет,— сказала она,— он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая,— сказала барыня,— глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не за тем я взяла тебя... Там пол стоит недомытый.

— Может быть... он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне,— произнесла Анна тихо.

— Ну и слава богу, что только один,— ответила барыня.— Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами прохожих,— опять стал в ряд других,

ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый),— сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, храпел поезд... Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и без надежды найти жилье старой барыни пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозищанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Анны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине,— сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку.— И как вы это все умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками.— А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен!

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка действительно приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня.— Портится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь просто откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии,— сказал один из жильцов, весело засмеявшись... И, проходя в свою комнату, он благосклонно ущипнул Анну за подбородок...

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носу — тогда он сам стал совать руками куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху...

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозищей стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего человека в странной белой одежде видели идущим на 4 avenue [1], потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, невдалеке от огромного здания газеты «Tribune», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на потеху кидали прохожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили свое внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что, собственно, может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

---

[1] Проспект *(англ.).— Ред.*

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилевский жид.

— How do you like this country? — Это значило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна,— вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозищанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженых и слипшихся, сделал одно целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя.

Все это он наскоро снабдил надписью: *«Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее»*, и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета,— он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звон-

кие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанин, да два оборванца вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин, в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий. Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми,— как писала одна благомыслящая газета,— эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый клоб из ясеня или дуба дает вдобавок решительное преимущество полисмену перед любым боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клоба»,— писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клоб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов».

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клобом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для

какого бы то ни было личного воздействия»,— так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам,— он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встряхивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробегал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал около прежней фигуры лозищанина фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по легонькому шлепку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть, даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу,—

если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозищанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт,— то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом — как у нас говорится — взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь вдобавок ко всему стал в этой стороне беспаспортным бродягой,— он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал — не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда? Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой, присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более что, действительно, сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал,

дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит на водку, сошел со стула и полез в карман.

— И стоит,— сказал он громко.— Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще,— сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ»,— подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги новоприбывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл,— вспомнил Матвей объяснение Дымы.— Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, черная собака,— подумал он с горечью.— Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошел дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее...

XIX

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный

народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает своею грудью волны, и на глаза его просились слезы... Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то наверное подошел бы поближе. А если бы подошел, то мог бы увидеть, как из ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев — и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то наверное ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удается, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоро-

вых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножики и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегает на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищенство, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было еще не так много, и, на несчастье Матвея, ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошел от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленой травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта наверное не спросят в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?..»

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья. Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся дру-

гой... Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но вместо этого внезапно целая куча домов опять выступила из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами,— и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда...

Наконец в стороне мелькнул меж ветвей кусок черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой, с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомобиль — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господа! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего

пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к ней, но вода была соленая. Это уже было взморье — два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался,— над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и, наконец, исчез...

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой... Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах, над морем...

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля,— забились и запрыгали на верхушках...

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу...

— Господи Иисусе, святая дева... Всякое дыхание... Помилуй меня, грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густою, тяжелою зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звон. Вагон вынырнул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева,— торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел,— на его верхушке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдали, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост),— сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо

бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу,— так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками... А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутинкой, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы, с фонарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света,— это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску, вместо удивления, и мысли его приняли другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, пла-

вало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора взобрался в вагон, на котором стояла надпись: «Central park» [1]. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось, и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал — No [2],— и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажмуривались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далекие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесами... Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещенного города...

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда

---

[1] Центральный парк *(англ.).— Ред.*

[2] Нет *(англ.).— Ред.*

Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящею волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просыпается что-то волчье...

XXI

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине ночи до него донесся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья,— и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел... Только теперь лозищанину казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением, сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно

положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался,— и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припоминалось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно...

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в той стороне, где высились эти каменные вавилонские башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход...

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до кон-

ца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга...

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом...— Френч? Тэдеско, итальяно?.. (Германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей.— Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит,— подумал он.— А что же будет дальше...» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мглистая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя заря застала висящим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом, бледным как полотно, с испуганными сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также...

он боялся попасть в свидетели... Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьям этой проклятой стороны?..

В это время его увидал сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозищанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожаков рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили агитаторов, утверждали, что только иностранцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности»,— писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившихся на митинг».

Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым

явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было — что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но пощупав совершенно охладевшую руку, спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку, набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление — хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг еще ранее... Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира...» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией»,— писали впоследствии в некоторых газетах) толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда довольно потертых, в сюртуках, правда довольно засаленных, в шляпах, правда довольно измятых, в крахмальных, правда довольно грязных рубахах. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более оборванных, чем остальные. Глаза у них были как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал как музыка — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозищи из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал

его белую свиту и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами...

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство — серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпенками, потом подымались кверху и опускались деревянные палки и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время, с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покатился к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая — и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног,— то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты, с раздутыми и красными щеками, в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешенного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за

музыкой идут сначала рядами, а потом как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колышется знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стража, с десяток людей двигались вместе с толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищей, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит о *нем*, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чем-то глухим

голосом... О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнется и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца — произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, объятый тонкою мглою собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем не возмутимою жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер нес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не

знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозинский, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем давно уже не бывало митинга такого многолюдного, и каждому полисмену в случае свалки приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока все в порядке — а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими,— до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая на всякий случай головы руками...

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клоб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший това-

рищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'а... Уезжавшие вагоны заторопились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направлению к городу,— опять притянулась к туловищу. Затем после короткого размышления вожаки решили, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди как ни в чем не бывало опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилось вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозищанину Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних

оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадках, перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Происшествие на митинге безработных.
Кафр, патагонец или славянин?
Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

Мы дадим портрет дикаря,
убившего полисмена Гопкинса.

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныряли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги и в предместьях Бруклина — и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоеме, не подозревал, что его рисунок получит столь скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьезные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развертывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выяснятся окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, предлагала свое объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоемах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьезной, дано было изложе-

ние события по свежим следам. Заметка носила название *«Митинг безработных»:*

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета площадка и окружающая местность стали наполняться людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксер, лицо, достаточно популярное в этом городе.

К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты),— такой случай внес особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту ночь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, полиция проявила несомненную оплошность. Один из репортеров успел срисовать даже изображение самоубийцы, прежде чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин, очень грустно иллюстрировалась видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело оказалась неудачна вследствие сопротивления, оказанного сильно возбужденной толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было, наконец, сделано — хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция наша пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!
Терпение народа истощено.
Соединяйтесь!
Петиция новому мэру!

Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была еще надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия:

«Чарли Гомперс был горек».
«Он громил богатство и роскошь».
«Порицал порядки этой страны, а этот город называл вавилонской блудницей».

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого нельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue [1], № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развертывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций,— вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы,— остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«*Мнение о происшествии сенатора Робинзона*»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр,— сказал мистер Робинзон нашему репортеру,— что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гопкинса и его товарищей рушилась. И что же — мятежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем

[1] Второй проспект *(англ.).— Ред.*

подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обратить в свою пользу?»*

«В следующем номере,— прибавляла редакция,— мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Тамани-ринг, которого, как известно, мистер Робинзон является деятельным членом, еще не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозревать добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, чтобы

быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство досточтенного сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Тамани-ринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию так же, как не подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению клобов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим,— прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией,— тот день, когда мистеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно,— сказал он,— ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом,— так заканчивалась заметка,— если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение,— мистер Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствие, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии...»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись

разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тожественности с загадочным дикарем. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целость Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с «дикарем» в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня, с буклями на висках, к которой таинственный «дикарь» огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, когда она была одна в своем доме... К счастью, престарелая леди успела захлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул, точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили,—

она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще все для нее в этом уголке было так, как на родине. Все было как на родине, в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее истекала скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга... Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский,— и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того чтобы послушать молодую еврейку... Вернуться и начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной...

Однажды почталион, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штемпель: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю,— ответила Анна.

В письме был только печатный бланк с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу. А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот

твой... Матвей, что ли! — сказала она.— Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозищанина, хотя все же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке — как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим,— сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения.— Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасение.

— Он очень вспыльчив,— сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди.— И... и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он... прошу вас... хотел, верно, поцеловать у него руку...

— Хотел поцеловать?.. и убил?.. Что-то все это странно,— сказала барыня.— Во всяком случае, если его поймают, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда в отсутствие барыни опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем — она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суро-

вый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он считает себя изобретателем. Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унизительны для человеческого достоинства своей неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь,— ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими что-то за ней.— Странно: твое лицо мне мешает... Ты спрашивала мое мнение?.. Ну так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает... А мое дело и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна

пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его наконец дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах — плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История «дикаря» отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрэда, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, неожиданный сюрприз. И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми черными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Ниагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень

смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет наконец настоящая погибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десяток беглецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше,— он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо, и факт прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее слишком умеренных речей Гомперса. Все это привело наконец споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота... Дыма... Лозинский...»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее

напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей,— Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозищанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным весельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображенный, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который продели за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов. Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно как родной,— сказал Матвей.— Никогда тебя не забуду...— Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших

городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда, по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвею случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бродили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи, однообразно и тревожно... Затем Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найáгара, Найáгара-фолл,— сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался, точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мглистой ночи. Будто в тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мглистая туча, соединявшая небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилось в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет...

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору... Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов,— Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку

и показать этим людям, что́ он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными ночами. И по мере того как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того как душа лозищанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни; по мере того как в нем, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение,— по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное, и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть,— преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд,— не раз сменилась и публика, и кондукторская бригада. Но сменявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями,— выделялись среди остальной публики,

привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувшихся в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высыпавшей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым проницательным взглядом. Человек вида странного, пожалуй даже смешного, тем более что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черная,— теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно надеты с ребенка, и сапоги порыжели еще более, чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы щеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для простого народа, а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да еще с сигарой — едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребенком,

и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой, и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть... И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

XXVIII

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр,— спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки,— что это за народ?

— Русские евреи,— ответил спрошенный.— Они основали колонию около Дэбльтоуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры и послышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений,— говорил один высоким тенором, с легким гортанным акцентом.— Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу,— ответил другой грудным баритоном.— Тянет, понимаешь... Эти последние известия...

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так, и при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек, с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея,— и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался глубокий вздох... Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа,— было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof,— окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон,— ответил он на чистом английском языке, протягивая судье руку.— Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересует... Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки,— сказал один из пассажиров.

— О нет,— вмешался другой.— Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно, иностранец,— сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом.— Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке.

— Да... теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да,— кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэбльтоунского курьера» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь,— сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но... до известной степени все-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полисменом Гопкинсом?

— Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове клобом... Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются клобами для известного употребления... И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи,— сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо, задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что

ваши полицейские не злоупотребляют клобами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да,— сказал он.— Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укусить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон — человек любопытный. Позволите вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон.— Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю... Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного.

— И, наверное, они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй...

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил, улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм!

— О, это немного другое дело,— ответил Дикинсон.— Да, я *был* каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях... Сегодня я был на открытии банка в N... . Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр,— сказал серьезно Нилов.— Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — мое прошлое и мое настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет,— ответил Нилов.— Однако кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирал глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несся дальше.

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да,— сказал судья,— это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого,— предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование,— продолжал Дикинсон задумчиво.— И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я не прочь попасть в президенты». Мистер Дэглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы построите целый город и станете в нем головой...»

— И это оправдалось,— сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да,— продолжал Дикинсон.— Понять человека — значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: «What is your ambition?» И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, все это странно,— сказал один из собеседников.

Между тем Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова,— вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять,— засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... неспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз...

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэбльтоун, Дэбльтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэбльтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэбльтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придется выйти из вагона... А что же дальше, что его ждет в этом Дэбльтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона... Затем под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взбирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назади. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэбльтоуна...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел,— ответил старик.— Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэбльтоуне раскрывались, и жители выходили на встречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек еще долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэбльтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэбльтоун жадно поглотил изве-

стие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэбльтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэбльтоунского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение...

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи...

Лозищанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью, под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэбльтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон,— сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности

дэбльтоунского стража.— Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную — значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель — очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну а если бы... (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уэлл! Это, конечно, не так определенно. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэбльтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Постойте еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазками и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливой походкой человек довольно неопределенного вида, в ко-

тором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэбльтоуна,— ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на проницательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел запастись специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Гопкинса...

— По последним телеграммам,— сказал холодно судья,— здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важно, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать — вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэбльтоуна исполнит свой долг, сэр,— сказал судья Дикинсон надменно.— Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэбльтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэбльтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только... Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака»,— сказал Вилльямс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения,— город Дэбльтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэбльтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров,— одним словом, весь Дэбльтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перебывал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика,— он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась

ему, человеку без языка и без паспорта,— в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья,— сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели.

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Нилов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все происходившее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой под мышкой, ведет его куда следует. А там уж что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания. Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя,— сказал он.— Your name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Your nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику.— Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозищанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились, и она приподняла над головой руку, щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его наконец поймут, что ему найдется какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в исступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искусает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно — ему, голодному, истерзанному и потрясенному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится,

что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана...

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры — перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца без края... Они ходят, грохочут, плещут, подымаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева,— бормотал он,— помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружились намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже, за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда,— крикнул он,— не верьте этому подлому человеку...

И, возмущенный до глубины души клеветой, он

кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искусал судью, выбранного народом Дэбльтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до исступления — лозищанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперед, с глазами, налившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошел Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэбльтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинения. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Your name?», «Your nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство,— он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэбльтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться,— сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбудив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благоразумного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэбльтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне,— писал он,— город Дэбльтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые-этнографы Нью-Йорка. Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'е, известие о котором обошло всю Америку в столь искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном,— он оказался русским, уроженцем Лозищанской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружественной стране), христианином и — добавим от себя — очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмена Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмена Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам

виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил клобом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэбльтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах еще одну клевету, которой наши нью-йоркские собратья по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся — будущего согражданина. Дело в том, *что он вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что вовсе не делает чести проницательности нью-йоркской полиции),— имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозищанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клобом, то полисмен города Дэбльтоуна испытал бы горькую судьбу полисмена города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэбльтоун — говорим это с гордостью — не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку,— но еще подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем — обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилов — русский джентльмен, о котором сказано выше,— увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэбльтоуна, состоявшая преимущественно

из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилов не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъявлениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да,— ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!..— от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

Нилов только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро напоил его горячим кофе и уложил спать.

XXXII

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах.

Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм легкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолетный образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и поселком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась

при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищи явился его наследник и, созвав сход, предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане еще шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проницательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследие, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нем больше не было слышно ничего определенного. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился этому, что стал протирать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выспались? — спросил он приветливо.— Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя онемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку как избавителю, сегодня чувствовал себя както неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати,— значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы,— значит, Нилов снял с него, сонного, сапоги. Правда, он не разувался во все время долгого пути, и от этого ноги его горели... Но все-таки эти заботы причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозищанский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил все отцовское наследие и теперь несет участь блудного сына на чужой стороне. Но так как все-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределенность в их взаимные отношения. Нилов вел себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить рабо-

ту: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки,— скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми бревнами доставили ему повышение, и спустя недели две он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэбльтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это — выражение одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию...

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня,— сказал он.— Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было

что-то, удержавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья,— ответил Нилов.— Вы ходите в одном и на работу, и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой.— Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди, и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня,— сказал он.— Я не то чтобы там... не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!..— сказал Матвей страстно.— Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А теперь готов работать как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой.— Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом...— продолжал он с усилием,— человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко.— Все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если все-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать.

Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да,— ответил он.— У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке мигали огни Дэбльтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал,— ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо.— Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас,— смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я все-таки еду обратно,— продолжал Нилов,— то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову,— за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны,— чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэбльтоунского курьера» об окончании похождений «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных кичливостью ньюйоркцев, впавших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и веселое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэбльтоуне и потом перешел в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разно, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозищах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе...

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но благодарности как-то не видела. Наоборот, у Анны все больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе,— говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну,— только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого,— говорил он,— но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите пожалуйста,— отвечала барыня с искренним изумлением.— Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается,— отвечал старый господин.— Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех. Дело, видите ли, в том, что...

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина, в свою очередь, изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом буду-

щем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она.— Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло все хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Все здесь такое же,— думал про себя Лозинский,— только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора

молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что черный сюртук сидел на нем как на корове седло.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы,— она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина...

— Ну вот — она нашла себе свою собственную жизнь,— сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ними.— Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот... некому даже убрать комнату.

— Гм... да...— задумчиво ответил изобретатель...— Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно... Но... действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко, как эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться,— говорил он старой барыне.— Мне недостает ее лица и ее добрых синих глаз... Конечно, со временем все заменят машины...

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синею дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела

дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильною, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозищах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэбльтоуне...

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового Света тоску по старой родине...

1895

В ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ

Очерк

I

Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе... Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сгорали в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно...

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Рожь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей...

Было скучно. В густой листве придорожных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

— Осокинцы молебствуют,— сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик...— Беда ведь: жар да сухмень... Гнев господень... Икону подняли — что-то господь даст. Эх вот, прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваливали, а что касающе дождя — ну дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький шатается,— отколь и возьмется, братец мой, туча... И отколь тебе ни возьмется туча...

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом

ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет, и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными раздражающими грезами...

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик, видимо, придирался к одной пристяжке, наделяя ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительного дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно...

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоносого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» — «Балагур,— говорили про него другие ямщики...— С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцой, в сумерки или темною ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта,— он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщиц-

кой памяти,— то немудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость... И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

— Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет,— преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особенным налетом ямщицкой фантазии... Так рождалось на А-ском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой...

— Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря,— говорил иногда исправник.— Как бы иной раз и не того... и не нагорело за твои сказки...

— Убей меня бог, Степан Митрич,— отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно.— От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать...

Вообще, много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на А-ском тракте.

II

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит обмануть его, но самое неприятное — молчаливые, разваренные седоки... Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положения: белокурая го-

ловка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядит на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

— И подлый же конь этот,— сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом.— Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы оммануть. Вот, воо-о-т, во-ат, гляди на него, на ш-шель-му.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

— Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам... Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

— Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

— А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («Точно мешок с мякиной»,— сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

— И-эх, березыньки!..— любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

И э-э-эх-да-э-эх... да Аракчеев-господин...
Да Аракчее-е...

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду — а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой... Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются вполголоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом... Барышня шевельнула бровями.

Да Аракчеев-господин,
Да ен всеё дороженьку березкой усадил...

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рощи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

Да он тебя, дороженька, березкой усадил...
Да всеё Рассеюшку в раззор раззорил!..
И-э-э-эх, моя березынька, дороженька моя...

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев:

И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...
И-й-эх, ты мать, Рассеюшка, хресьянская земля...
Да э-эх, Ракчеив наш, Ракчеив-генерал,
На тую ль на дороженьку... хресьян выгонял...
Да й-э-э-эх...

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика и опять песня.

Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало

печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

— Ну, ты! Что такое — распелся! — говорил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел «своей волей», нахмурив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно — начальство новое»,— подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли.

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду...»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

— Низвините, ваше благородие,— песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

— То-то, песня,— брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась...— Песня! Песни тоже всякие бывают...

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы:

— Ракчеив... Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два ста будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

— То-то вот! — все еще несколько сонным голосом ответил он.— «Два ста»... У Екатерины... в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же, «в раззор разорил»... Распустились!

— Песня, господин, она, как сказать...— возразил Силуян,— она ведь исстари идет... От народу взялась... Старинная это песня... Ежели ее голосом настояще вывести...

— Ну-ну! Будет уж, не выводи! Слыхали.

— Как угодно! — Ямщик окончательно обиделся.

— Что ты это, папочка, отчего? — спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было — она только тогда поняла причину.

— Ах, Леночка,— ответил господин,— ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя как...

— Как на что? — лениво спросила дочь.

— Как... на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои... распоряжения.

— Не буду, папочка,— так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты,— подумал он,— начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насела пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей оживало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, встававший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли...

III

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мглистые тучи... Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все это громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

— Да... вот... А теперь что же мы видим?..

— Ничего, ничего, Лена,— застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки.— Я думал... о прошлом...

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком... Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было... как бы сказать... блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контрадрес,— имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадресе. Странно — но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени.

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это — то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно... Вдруг прославится смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом — и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверкание! Но разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями»... И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют — только уже с другой стороны... А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, égalité!.. [1] Вот тут-то, когда воспоминания

---

[1] Равенство (*фр.*).— *Ред.*

дошли до этого пункта,— у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

— Да! А теперь... Что же мы видим?..

— Поле, папочка, и мостик,— ласково улыбнулась дочь...

Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся. Да, поле, дорога, березки, и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, во ржи они заметили умирающего зайца или подстреленную птицу...

А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги — целая полоса...

Что это было, как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенички. Семен Афанасьевич только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами, потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за m-lle Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен (легко), потом женился, потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро, брат писал нравоучения («Помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства»), и Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности, железнодорожная горячка, хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными истинно русскими человеками, прицеплявшими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами, акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие... В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство (после умершего брата), и все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так и было. «Русские человеки» выплывали — поднимался с ними и Семен Афанасьевич; «русские человеки» утопали в пучине какого-нибудь краха — утопал и Семен Афанасьевич. А иногда и даже чаще бывало и так: они выплывают, а Семен Афанасьевич утопает. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжалось сердце, и в первый

еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, который потом все чаще и чаще вырывался у него как-то механически, порой совершенно неожиданно и нередко вслух — в минуты раздумья:

— А теперь... что же мы видим?..

Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа... Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез, и даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции. Дела становились все мельче, хорошие имена теряли цену, нужны были хорошие связи, а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость... подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то «домой», для покоя и отдыха...

В это именно время подоспела новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву разночинных проходимцев и хищников. Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе... И вот его «призвали к новой работе на старом пепелище»... Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии.

Здесь его встретили радушно. Губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в его номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с «возвращением к настоящей живой работе». Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренно увлекаться. Как старый боевой конь, он почувствовал, что тут где-то, вероятно, опять начнется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял участие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно. Здесь, между прочим, к нему подошел старый, седой господин, его сверстник и друг его юности...

— Василий?

— Семен?

Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза...

— Неужели это ты?..

— Как видишь.

Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни.

— Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда. «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода». Не правда ли: где благородное дело, там и ты!

— Узнаю и тебя, ты не забыл стихов...

— Итак, ты с нами... Меня очень интересовал вопрос: как ты отнесешься к реформе?

Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво:

— Хочется все-таки хоть что-нибудь делать.

— Что-нибудь! Да ведь тут работы непочатый угол. Не правда ли, вспоминаются молодые годы? Посмотри на эту молодежь. В свое время мы так же окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах (глаза его действительно начинали слегка сверкать). Ну скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы...

Седой господин смотрел устало и грустно.

— Вопросы? Как тебе сказать. Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках.

— Березках?

— Ну да! Молодой земский начальник Смурыгин для блага вверенного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги.

— Да? Вот что?.. березками... А знаешь, ведь это хорошо. Это, конечно, не «широкие задачи», в этом нет полета, но прямая практическая польза... нельзя отрицать и этого, мой старый друг.

— Про-се-лочные — пойми! — с удивлением глядя ему в глаза, повторил седой господин.— Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни.

Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представлял себе, в чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку.

— Про-селочные! Да, конечно, это крайность... Но молодость — всегда молодость... Ведь и мы увлекались

в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?..

— Чего?

— Права на увлечение...

— Да, ты вот о чем!.. Посмотри вон туда, у портрета... Группа молодых людей, и в центре... Узнаешь ты этого господина?..

— В очках... густые волосы с проседью?..

— Да. Это известный Заливной.

— А! — ответил Семен Афанасьевич.— Я его лично не знал... это было уже после меня, но как же, помню по газетам!.. Радикал, энтузиаст... Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ? Крайность, конечно, но... крайность, согласись сам, симпатичная... И если теперь он внесет свой энтузиазм...

— Внес уже,— ответил Василий Иванович.— Теперь он требует полного закрытия школ...

Семен Афанасьевич заморгал от неожиданности и растерянно посмотрел на приятеля.

— Ты шутишь... Как же это... то есть я хочу вам сказать: как примирить...

— А очень просто... отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты... Наш генерал — он у нас большой шутник — называет их породой восторженных кобелей... Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед... Зато стоит хозяину повернуть обратно,— и кобель уже заскакивает в новом направлении...

— Ха-ха! Резко, но остроумно... Действительно смешная крайность...

— Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удается отстоять свои школы от резвого натиска... Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности...

— А теперь?

Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько печальным взглядом и ответил задумчиво:

— И теперь жизнь... идет к тому же... Но мы-то идем ли с нею?.. вот вопрос...

— И с такими взглядами,— растерянно спросил Семен Афанасьевич,— ты все-таки... пошел?..

— Пошел, брат... Двадцать лет я был мировым

судьей в своем участке... И мне не хотелось, чтобы тут же... у меня... на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или Заливной закрывал мои школы...

— До этого не дойдет! — сказал Семен Афанасьевич горячо...

— Может быть...— вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с «возвращением к земле, к настоящей работе»... Но умные глаза генерала смотрели пытливо и насмешливо. Семен Афанасьевич немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия...

И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему:

— Да, вот... А теперь — что же мы видим?

. . . .

Поле, дорога, звон проволоки, зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака, друг за другом... Путаются, сливаются. Опять прошлое, потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Полотно заросло травой, пыльная узкая лента както осторожно жмется то к одной стороне, то к другой; видно, что весной здесь езда самая горькая... И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого «земского поэта»:

Земство, с нас налоги
Ты дерешь безбожно;
Почини ж дороги:
Ездить невозможно...

Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени тарантас тихонько спускается в дол и стучит по мосту, а мысль седока так же тихо переползает дальше.

«Мост новый, вообще мосты, кажется, стали лучше, а все-таки! Земство, земство! Кричали, горячились. Между тем что же из этого вышло?.. Мосты лучше, и только. Нельзя же в самом деле, все одни мосты да мосты! Нужно что-нибудь живое. Школы еще? Народное образование?.. Да-а... конечно, нельзя не отдать справедливость... Но, однако... вот Заливной против школы. Это странно, разумеется, но если хорошенько

подумать... Это тоже своего рода течение... Что такое эта земская школа? Полузнание, а ведь в самом деле полузнание хуже незнания... Да, да, возможна и та точка зрения, возможна, возможна... А кто бы мог подумать это, когда сам Заливной требовал фортепиано... Да, скучная эта дорога, когда она кончится?.. Опять мосток... Скоро ли станция?.. Да, вот... что же из всего этого вышло?»

Летят облака, шуршат колеса, старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мякиной, его глаза закрываются...

Старый господин засыпает...

IV

Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли.

Она — одна дочь у отца. Как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву,— она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле, первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института, а потом — так как бабушка умерла — несколько лет с отцом. Это было самое тяжелое время ее жизни.

Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамени еще там, в швейцарском отеле; на Малой Морской она выучила ее «Богородице» и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить... В то время, как подруги предавались обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери, она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы,

жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня... среди мечтательного ожидания... И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное «блестящее» общество,— девушка забивалась со старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бегала по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок... У нее не было для сравнения ничего, кроме отелей и института,— она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли, росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем средой. Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни.

Молодость романтична... А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов. Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню... И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью, то прошлое, когда в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками... В парках звонко гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза... Любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях (как некогда отец... когда он был совсем другим). Порой ей казалось, что она видит все это: так живо действовали эти рассказы... Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется «она», ее мама, а может быть... и она сама... Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник, такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками... Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан, и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо.

Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла

новая реформа и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле... Лена думала, что она тоже будет жить там и после долгих лет, в которых, как в синей мреющей дали, мелькало что-то таинственное, как облако, яркое, как зарница,— ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на Песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волковом кладбище.

В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя — молодого земского начальника. Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного народа. Они были крепостные его отцов, холодный, суровый закон против них — но он, благородный сын благородных родителей, повинуясь лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги высокопоставленных лиц, ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в бальной зале, под звуки оркестра, выделывая ногами изящные па кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит «ей», уже любимой, о них, о бедном, добром, страдающем народе...

Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез.

— Вы не знаете,— закончила она.— Сам народ думает так же... Жаль, что вы не знали мою няню...

И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие-то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о смурыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурыгиным. Впрочем, она была разочарована,

когда отец представил ей «нашего молодого деятеля». Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами:

— Ма-адое поколение, Семен Афанасьевич...

Он говорил еще что-то, потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью. Как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. Нет, наверное, там, на месте, найдутся еще другие... Они окружат ее отца, они будут все вместе советоваться, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей... И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных «деловых обедов» и ужинов в петербургских ресторанах.

И вот она едет и жадно вглядывается вдаль и ищет: где же эти таинственные усадьбы и парки, где эта обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее жизни... Поля, колокольчик, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно с какой-то важной думой, и отец, вздрагивая, спрашивает:

— Да. А теперь — что же мы видим?..

V

Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начинал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков, по земле пробегали неуловимые тени.

Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные, лишь кое-где зеленели еще узкие полоски. Одна из них подходила к дороге, но и она становилась все уже: на ней вихлялись за сохами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалялся наискосок от тракта, другой подходил к проселку лицом к нашим путникам. Его лошадь,

надсаживаясь, дотягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед.

Вдруг лошадь стала выходить из борозды: прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно недавно посаженное, деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал соху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось оно, зацепившись веткой, наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех.

Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей.

— Ты что ж это, дядя... больно смело ее выволок? — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе.— Ай отменили?

Мужик поднял кверху красное потное лицо и усмехнулся... Но, увидев на проезжем барине кокарду, стал вдруг серьезен и задергал лошадь, не дав ей щипнуть былинку у дороги... Вдоль проселка лежали вывернутые сохой березовые саженцы... Только пять-шесть еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая...

Силуян вынул из кармана кисет и, скручивая цигарку из газетной бумаги, сказал как бы про себя, качая головой:

— Отменили, видно... А ведь что склеки-то было... Не приведи господи...

— Обрадовались... дураки! — проворчал Семен Афанасьевич с неудовольствием.— Ну поезжай, что ли.

— Что это, папочка? — спросила Лена, удивленная тем, что отец и ямщик говорят об этой немой сцене как о чем-то понятном для обоих. Сама она не умела читать эту огромную книгу с синею далью, с летучими тенями облаков, с разноцветными лоскутами полей, по которым там и сям ползали люди и животные... Крик вороны, щебетанье жаворонка, шорох берез, медленное движение облаков, надрывающиеся на пашне лошади, мужики с потными лицами, в грязных рубахах, земля, чернеющая следом за сохой, беспомощно падающие деревца — все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на своем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли...

— Оно, скажем так, ваше благородие,— говорил

ямщик, обмусоливая свою цигарку,— оно ведь и дуракам своего-то жалко.

— Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул соху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы. Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню...

— Это...— ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери,— те самые... ну что в городе говорили: смурыгинские березки.

— Так точно, барышня,— пояснил и ямщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку.

Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел права Смурыгин садить их по дорогам, правильно ли поступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение. Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму: черная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей, с каким-то ожесточением выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика.

Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурыгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным.

— Зачем же они это делают? — спросила она в недоумении.

— А потому,— пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи,— что никак невозможно. Выходит — нет такого закону... Закон, значит, милая барышня, на хресьянскую сторону потянул...

Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятным Лене раздражением:

— За-акон! То-оже законы разбирать стали? Вот ты про Аракчеева пел... Он бы вам показал законы...

— Верно! — одобрительно сказал ямщик...— Тот сурьезный был...

— То-то сурьезный!.. С вами, подлецами, иначе и нельзя...

— Ах, папочка! — сказала Лена укоризненно. Ей не нравился этот тон: в Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного, наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с «низшими». Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он

вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частые беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо. Но ведь это только по невежеству... Им надо растолковать... Вообще, там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущее отношение к «доброму народу», и тот «местный колорит», который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо.

— Прости, Леночка, но... я не могу говорить об этом спокойно,— сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил: — Ну, он, конечно, увлекся... Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание... На это есть предводители. Но нельзя же так... ронять авторитет власти... Раз уже сделано...

И, опять повысив голос, явно для ямщика, он сказал с новым раздражением:

— Зимой сам же, б-болван, поедет пьяный с базара, в метель... так, по крайней мере, не собьется куда-нибудь в овраг.

— Зимой, ваше благородие, этто не ездиют,— спокойно ответил Силуян.— Зимой другая у них дорога живет, прямиком через реку.

Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении, но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться.

— Ну хорошо,— сказала она.— Что же им все-таки помешали деревья? Раз они уж посажены.

— Посадишь, милая барышня! Тут что греха-то было, не приведи бог! Старшин по семи ден каталажил, а старостов этих и не есть числа...

На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придержав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара.

— Э-э-вона,— сказал он своим певучим голосом,— во-он куда она, матушка дорожка-те, вдарила во всю тебе степь.

Брови девушки поднялись еще выше.

— Ну так что же все-таки?..

— Да ведь земли-то, ты подумай, сколько под ее нужно. А ведь она, земля-те, хрестьянину дороже всего. Клади хоть по саженке, да длиннику эвона. Ведь она, дорога, не гляди на нее... встанет, до неба достанет!.. Так-то. Да еще деревина-те в силу взойдет — опять корнем распялится. Обходи ее сохой!.. Да нешто это мыслимо...

— Папочка? — полувопросом кинула девушка, но отец не ответил.

— Так отчего же они ему не сказали?

— Чего это?

— Да вот, что ты говоришь... Они бы так и сказали Смурыгину...

— Как, поди, не сказывали! Да вишь — он все за бороду...

— Папочка!

Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки, тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись оводы, и опять потянулась пустота, томление, зной... Старый господин вскоре действительно заснул.

VI

— Далеко ли еще, ямщик?

— Верстов еще с десяток будет.

— А дождем нас не промочит?

— Дай-то господи! Солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет... Прогневался господь на православных. Прошлый-те год измаялся народишко, беда! А ноне, гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот кабы помиловал господь — да нет, только дразнит... Ходят тучи, слоняются по небу, а что толку.

Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился.

— Кажись, в нашей стороне пало уж... Умолили, видно... Э-э-вон, гляди, потемнело... В аккурат над Липоваткой придется...

Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело.

— Липоватка?.. там?..— спросила она.— И ты оттуда?..

— Оттеда... Липоватовские мы, господские были...

Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал:

— В старые-те годы этто все — помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и луга, все было ихнее... Бестужевы — в Бестужевке, Кроли — в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке...

Лена с удивлением оглянулась кругом... Певучий

голос ямщика мгновенно населил этот пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И Кроли, и Анучины, и Медигорские — все это жило в рассказах няни, все эти имена она знала по семейным преданиям, видела их портреты, знала их характеры и семейные отношения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба, где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен, синели остатки вырубленных рощ... Было тихо и пусто, но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас Кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные... Но она протирала глаза и не могла понять — где же все это затерялось в этом молчаливом просторе...

— А ты... Елену Степановну знал? — тихо и как-то застенчиво спросила она.

— Это младшего-то барина, Семена Афанасьевича, жену? Помним. Красавица была, царствие небесное... Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли... Бабы, что есть, голосом голосили...

У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало наконец в словах простого, доброго человека! У нее на мгновение захватило горло, и только через минуту, справившись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца:

— Значит, они... хорошие были? И вам было хорошо?..

Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил:

— Господа ничего... что ж господа... известно... Бурмистры вот шибко примучивали!

— При-мучивали? — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением.

— И-и, беда! не дай бог, как мучили.

Он слегка повернулся, свободно отпустил вожжи и задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом:

— Женщина, например, тетка, у меня была, безмужняя, вдова. Муж у ней, значит, помер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету божьего — где еще зорька не теплится... А летняя-то зоря, сама знаешь, какая! Бьется, бедная, бьется с ребятами, а где же управиться... За другими-те и не поспеет.

— Куда не поспеет? — простодушно спросила Лена.

— А на барщину... Значит, на господ работали... Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот хорошо: запоздает она, а уж нарядчик и заприметил... докладывает бурмистру... «Поч-чему такое? А?..» — «Да я, ваше степенство, с ребятами. Неуправка у меня...» — «Ла-адно, с ребятами. Становись. Эй, сюда двое!» И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им, нарядчикам, по палке в руки, по хар-рошей. Дать ей, говорит, десять... или, скажем, двадцать...

— Папочка,— раздался тихий голос, как будто искавший защиты.

Силуян оглянулся.

— Спит, не трог. Дело старое. Ну хорошо — дать ей двадцать. Сейчас она, милая моя, стоит; один нарядчик с одной стороны, другой, например, по другую сторону и накладывают ей между спины наотмашь.

Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище.

— Между спины-те рубцы вот в это кнутовище. Ну ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни.

— Жни? — машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь, и томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала свой особенный смысл и значение... Эти поля видели это... Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара.

Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему захотелось ее утешить. А так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти.

— Постой, что я тебе скажу. Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь господь-то батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости! На немилостивых-те людей у него, барышня моя, есть сделанной ад-тартар...

Он взмахнул рукой, проваливая немилостивца в тартар, но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала постромки. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями.

— Гляди, потемнело,— сказал Силуян,— никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца

не стало, а все парит, ровно в печи... Ну, мил-лые... иди ровней! Раб-ботай...

Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем на небе, казалось, действительно что-то надумано. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видное, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала одинокая ворона.

Девушка сидела задумчивая и побледневшая . Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех: лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять.

— Прокатил бы я тебя, милая барышня,— место ровное, да папашка-те у нас спит. Вишь, разомлел.

Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего. Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление.

— А что же она... тетушка твоя, господам не жаловалась?

Ямщик лукаво покачал головой.

— Да, вишь, они, господа-те, в етаже жили, высоко...

— В этаже?

— То-то в етаже. Людишки-те толкутся внизу, он и не видит... А может, и видит. Хитрые они тоже, господишки-те.

Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шляпенке.

— Хит-рые? — переспросила девушка упавшим голосом.

— Хи-итрые! Что ты думаешь,— ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и соответственно с этим в нем самом выросло вдохновение былинщика...

— Послушай, милая барышня,— заговорил он после короткого молчания.— Я тебе сни-схо-дительно расскажу, какое у нас дело вышло... Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах,— триденную барщину изделали: три дни чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело — господу богу. Хошь — мо-

лись, хошь — кверху брюхом лежи... Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, люди по всем местам так по три дня и работают. А нас в Липоватке все по четыре дня гонят... Гоняют, милая ты моя, да мучат... Бурмистры да нарядчики... дохнуть не дают...

...Говорил я тебе, ай нет про Деминых? Два брата были: варвары, тираны, немилостивцы, хррапоидолы! И, стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тягла мужиков на них, на варваров, радели... Помирать аспидам не надо. Ну и старались. Семен это — который женщину в два кнута тиранил. Другой брат, Василий, тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа, да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьмешь соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик — к Ваське Демину... Тот тебе двадцать...

...Ну хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы богу молиться — все мимо нас. Зайдут в поле или на ригу посмотреть, только головами качают. Потому что — странний человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое — в прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить: пустяки, мол, все, дело это вековечное, и детям терпеть же надо... Ну, только братану моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову и западя те людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз... выгнали по три дня на барщину, по четвертому гонют, да раным-рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посередь миру и говорят: стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет... Ну, мир стал, нарядчики туда-сюда, никто ничем... все сгрудились, стоят в сумерках; и расходиться не расходятся, и работать не работают — как вот все равно стадо перед грозой... Слышишь, милая, какое дело?

Напоминание было лишне. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении, под влиянием этого выразительного грудного голоса, рисовалась картина: на таких же широких полях, в темноте, перед рассветом, стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не

знает чего, но чувствует, что ждут они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний...

— Слышу,— ответила она тихо.

— Ну, стоят... Что, мол, будет?.. Как тут стало и солнышко подыматься... Показалось из-за лесу... Все глядят: что же, мол, еще?.. А братан мой, Перцев Николай, да Егоров Иван вышли, покрестились на свет божий и говорят: «Смотрите, мол, миряна: вот солнышко всему хрещеному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липоватке... Так ли, мол, миряна?» Ну, все, конечно, говорят: «Так! Это есть справедливо!», «Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят». Да как гаркнет вдруг: «Не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову — не ходи на четыреденку!» Миряна поглядели на солнышко, а уж оно, милое, и вовсе из-за лесу выходит. «Кабыть, говорят, Перцева да Иван Егорова правда. Всем солнышко божие светит, всем и закон дается». Вот как солнышко-те все выкатилось, мир, знаешь, и качнулся. Не идем на четыреденну барщину. Айда по своим полосам! Нарядчики туда-сюда! «Что вы, миряна, бунтуете, что бунтуете?» — «А то и бунтуем, что нет вам закону!» Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину, так и так: Перцев да Егоров народ взбулгачили. «Пад-дать их сюда, па-адлецов эдаких!»

Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди.

— Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение... Вот-те и солнышко! Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать... Только через год ли, два ли, приходит от братана письмо. Что же ты думаешь: требовает к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, владаю себе, например, землей, сколь вспашу, лес, что вырубил, мое! Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею, и вот шлю, напримерно, столько-то бумажек. Тут уж, что у нас подеялось, и сказать тебе не могу. Качнулся тут мир опять: не идем да не идем на четыреденку. Всех на цар-

ское поселение отправляй, к Перцеву! Ну, уговаривали, молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич...

Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сидению.

— Чудной! — усмехнулся Силуян.— Вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, говорит, православные, во всякое время, говорит. Я за вас, говорит, и бумагу подписал, а что касающее этого дела — не могу. Старший брат у меня...» Так ни с чем и отчалил. Ну, да мы все-таки отбились... Вот видишь ты, милая барышня, господь-то чего удумал. Они, значит, так полагали: пропал Перцев, а Перцев-то во! Жену вытребовал... А вот вороги-те наши извелись... Пришла, значит, воля, народу свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно — вихорь!.. Другого брата Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот никак здесь же на этой дороге упал, уснул. Народ идет, песни поют, праздничное дело веселое. Кто лежит? Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер. И приходит, милая ты моя, вечер — откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка, с этого — трри трройки! Летят, все одно тот же вихорь. И ведь подумай ты себе: лошадь, она ведь тварь разумная — человека обегает. А тут, гляди ты, на него пррям-ма! Копытом в голову, рраз! Колесом кованым па м-морде. Разбили, раздребезжили — умчались. Вот смотри же ты, пожалуйста: от лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге, об вечерней поре. А ночью-те буря, да ветер, да стон тебе, да свист. И-и! Что было. А наутро пошел народ, глядит: лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки? И троек таких тыщу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину?.. И семя поганое тоже опять извелось... Н-но, дьяволы!..

Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу. А сам опять повернулся и, указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал:

— Э-вон, Осиновка... Перфильева барина была когда-то... Ну, немилостивец тоже был... У этого у живого живот лопнул.

Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза:

— Про какого Перфильева ты говоришь? Ивана Павловича?

— Верно... Он самый!

— Ну, значит, неправда,— волнуясь, заговорила Лена.— И, значит, все ты неправду говоришь.

— Убей меня бог... Кого хошь спроси...

— И неправда... и не клянись... Я сама Перфильева помню, и ничего это не было, и умер он просто от тифа... И было это не очень давно...

Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил:

— А где его хоронили, когда вы знаете?

— А хоронили в имении.

— Ну верно.

Он грустно помолчал и сказал с убеждением:

— Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло, вот как, милая: у мертвого. Это верно!

Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отзывался о спящем, наконец, за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала...

И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела, поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака — теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи... Они тихо скучивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге... Кое-где, как будто в изнеможении, шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массами, поднявшимися до самого зенита. Мглистые тучи колебались, меняя очертания, живые, изменчивые, зловещие...

И вдруг, откуда-то издали, отрывисто и глухо раскатился гром.

Ямщик остановил лошадей, сволок свою шляпенку и перекрестился. Лошади стригли ушами, отдельные тренькания колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней лощине, стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта, и Лена глядела, как черные точки

слились с низкою тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания... Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал, но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и оводы исчезли. Седок опять закрыл глаза.

В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день, и он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу.

— Ну хорошо,— сказал он, не поворачиваясь,— а с-под Илевого заводу барина, Панкратова, слыхали?

Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была — правда, на дальнем плане — и эта фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери, и Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня, тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью... Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым по странной игре судьбы не везет, несмотря на все внешние шансы, именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь, частью по любви, частью из гордости и мести, женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через два года она изменила ему с доезжачим... Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее, а доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная красавица, не выдержав и года после этого, убежала с ремонтером... Тогда Панкратов возненавидел людей, стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами, сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет: лицо как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце,

оскорбленное людьми,— говорила она,— и он много страдал».

— Он очень любил животных,— сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла,— сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. «Я, говорит, ее из низкости вывел... Когда так, говорит, то я всему ее племю себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь...» Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома. И которые были у него самые любимые десять сук, и принесут, напримерно, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко — сейчас ей собачары приносят щенка, стало быть, для воспитания...

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог,— равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу.— Ты вот послушай, что дальше-то, как господь-батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла... Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а она и того лучше — поищи этаких двух по всему свету белому, ан и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел: из хороших семей оба, достаточные. Ну, только и имел этот Алексей в себе маленичко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз итить, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут, ночное дело, возы скрыпят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно — дело дорожное, как и мы вот сейчас: где какие, напримерно, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе

высоко понимаешь, а нами брезгуешь?..» — «Нет, говорит, товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, говорит, невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы не касающее, а что вот завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать». Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: «Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?»

Вот и западии опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону! Хорошо! Приезжает, ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щеняты скулят. «Этто что такое?» — «А это, жена говорит, сына бог дал».— «А в углу что?» — «А в углу щеняты, сам понимаешь...» — «Ты-то понимаешь ли сама! Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда! — взял одного в руку, другого в другую, примял, да опять положил на месте.— Ну, говорит, молись богу за свой грех великий да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит».

А наутро нарядчики приходят, собачары: «Анна — показывай щенят, здоровы ли они у тебя!» — «Да они, мол, с чегой-то поколели».— «Как, оба?» — «Оба, мол, и поколели».— «Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит: «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щеняты у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» — «А ты, Алексей,— собачар ему говорит,— больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим». Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах — ощупал. «Убиты, говорит, злодеем твари невинные». И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни ов-

сянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более; овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, говорит, невинно убиенных?» — «Вижу, мол. Да что ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную».— «Ты им конец сделал, варвар?» — «Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо!» Как он эти слова сказал... снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула...

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки... Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна...

— Снялся он со стула, да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь... Упал тот навзничь, да прямо... голубушка ты моя!.. Барышня милая! Прямо головой-те... в котел...

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили... весь обварился... Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был... Кинулся в хоромы, схватил ружье... Барин к дворне, а уже дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце...

. . . .

— Папочка! — послышался надтреснутый, слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь.

— Папа,— со слезами в голосе заговорила девушка,— ведь он, Панкратов, в Ментоне умер? Ведь это... ведь это все неправда... Вот он говорит: убили его... и он сам...

Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика:

— Что ты тут наболтал, па-адлец! Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, ска-атина!

Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его настроении.

Тарантас задребезжал и быстро покатился по потемневшему тракту. Колокольчик залился не на шутку, пристяжки изогнули головы, как змейки, березки убегали назад одна за другой, а между ветвей виднелись по сторонам те же поля, те же тучи... Кой-где в сумерках зажигались дальние огоньки...

Лена ничего не думала. Отец видел только ее бледное лицо и большие глаза...

VII

К станции они подкатили во всю мочь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся»,— с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку.

— Пожалуйте, ваше сиятельство,— сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел.

Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный надевал шинель и собирался: у крыльца его ждала тройка.

Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом армячишке. Он в замешательстве отряхал от пыли свою шляпенку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина, с густыми торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился:

— Честь имею представиться. Исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья ямщик доставил вам огорчение, хотя признаюсь... не знаю, чем могу... Власть Семена Афанасьевича... тут роль исправника прекращается... Если могу так выразиться...

Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка довел ее чуть не до кошмара, неужели это

у него такой выразительный, сильный, могучий голос... И эти мрачные рассказы... неужели тоже его?

— Ах нет, ничего,— застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой сцены.— Папочка, ради бога... Не надо, не надо...

Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового начальника и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены.

— Ваше желание — закон... А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!.. Теперь позвольте вас оставить, меня ожидает тут важное дело... Имею честь откланяться.

Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку, и только меланхолический звон колокольчика как будто перекликался все, подавая голос издали, из темноты, на освещенную станцию.

А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо... Но дождя все не было, чувствовалось только медленное передвижение, тревожная суета и все то же бессилие. Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу с рядами бледных берез... Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера в виду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого, оброшенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть давно сорванную с петель, дверь мезонина.

Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо.

— Папа! Папочка! Ничего нет... ничего, ничего этого нет.

— Ты устала, Лена.

Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально.

Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно.

1896

ХУДОЖНИК АЛЫМОВ

Из рассказов о встречных людях

I

Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые Самарские ворота и пошел Жигулями. Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый Царев Курган, точно каравай хлеба разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодноватою вечернею мглою, и шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы.

«Стрела» бежала из всех сил против течения. В то время отчаянные гонки пароходов были на Волге самым обычным явлением. Поволжские газеты были полны негодующими описаниями всевозможных столкновений, поломок и аварий, а порой какой-нибудь особенно громкий взрыв котла, сопровождаемый человеческими жертвами, отдавался отголосками даже в столичной прессе. Но ничто не помогало. Пароходные расписания были составлены таким образом, что с каждой значительной пристани отваливало одновременно по нескольку пароходов. Стоило раздаться свистку на одной из пристаней, как тотчас же гудели другие; капитаны, угрюмо посматривая на соперников, торопили погрузку, пароход отваливал за пароходом, и дымок за дымком исчезали в речной дали, точно летящие вперегонку птицы. Все дело было в том, чтобы первому достигнуть следующей пристани, где уже нетерпеливо дожидаются толпы пассажиров, вглядываясь навстречу. Стоило показаться из-за извилистого яра первому дымку, первой мачте, первому флагу, лишь только первый торжествующий свисток прокатывался над безмолвной рекой, как уже на пристанях начиналось движение: публика сразу узнавала победителя и тянулась к одной пристани, на которой весело взвивался флаг. Все это было, пожалуй, довольно интересно и красиво со стороны, но на этой почве разыгрывались порой безобразные и даже трагические эпизоды. Случалось, что в пылу состязания противники кидались друг на друга, точно в морской баталии.

Теперь за нашей «Стрелой» гнался «Коршун». Оба парохода были неважные, и у обоих силы были почти

равны, поэтому состязание имело характер особенно напряженный и неприятный. Команда была сосредоточенна и зла, капитан неприветлив, публика скучна и недовольна. «Коршун» то и дело наседал на нас, и перед каждым перекатом, где мы поневоле замедляли ход, его нос среди белой пены появлялся вплоть за нашей кормой. Тогда «Стрела» начинала «рыскать», загораживая узкий фарватер, и капитан советовался с лоцманами: его тактика состояла в том, чтобы каким-нибудь способом «отжать» соперника на мель. Такие же христианские намерения до очевидности ясно обнаруживались и в тактике противника. Порой капитаны вооружались рупорами и обменивались такими сочными и здоровыми непечатными приветствиями, что казалось, вся пустынная река, сжатая с обеих сторон зелеными горами и темными ущельями, внезапно оживала. Как будто в каждой лощине — и вблизи и вдали, и вверх и вниз по течению — стояло по такому же капитану с рупором, и все они обстреливали узкое русло своими гулкими ругательствами.

Порой с какой-нибудь отмели или с встречного каравана отделялась лодочка и робко выбегала на русло. С лодочек махали картузами и платками, прося, очевидно, захватить пассажиров. Но пароход только отмахивался и летел дальше, сердито качая лодку разбегавшимся валом. Можно было видеть, как злополучные пассажиры повторяли ту же попытку и с таким же успехом назади: «Коршун» тоже проносился мимо, и лодочка опять сиротливо направлялась к берегу или к каравану барок, тянувшихся между пустынными берегами.

Наконец «Коршун» начал сдавать. Может быть, машинист был более осторожен, или публика более настойчиво грозила протоколом, но только «Коршун» отстал и долго шел, прижимаясь к крутояру, так что казалось, будто он бежит по самому берегу.

Правда, порой он отделялся от гор, выказывая намерение кинуться наперерез, и вообще держался настороже, карауля каждый промах противника, но все же расстояние между пароходами понемногу растягивалось и напряжение гонки слабело.

На мачтах зажглись огни, так как день, видимо, угасал. По временам на длинных прямых плесах нам еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Но сзади нас

догоняли холодные сумерки, быстро поглощавшие все краски угасающего дня; сумерки же выползали на реку из-за каждого уступа, из каждого ущелья, ютились в молчаливых расщелинах и долинах, спускались неуловимой для глаза сеткой сверху.

Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна... Кой-где клок тумана над болотом, кой-где дымок деревеньки или новая труба затерявшегося в Жигулях алебастрового завода, кой-где рыбацкая лодка и костер на песке... И опять безлюдие, тишь, мерное колыхание реки, чуткое эхо, смена синих и зеленых теней, и какие-то неясные, неуловимые, но манящие и беспокоящие воспоминания, реющие в сумерках над великою рекою, колыбелью нашего русского романтизма...

Вскоре угасли и пылающее облако и Волга. На закате недолго тлели еще несколько узких облачков, но и они быстро остывали и меркли. Река похолодела, потемнела, черта берега исчезла и потерялась между темными силуэтами Жигулей и повторившим их в задумчивой реке колеблющимся отражением. Казалось, вершины опрокинутых гор тихо дремлют внизу, а между ними узкой полоской светится там, в глубине, другое, далекое, угасающее небо... Только порой колыхание и трепет, пробегавшие по заснувшей поверхности, взламывали этот мираж, отделяя неподвижную действительность от хрупкой иллюзии... И все это тихо выступало из сумрака, надвигалось, проплывало мимо и поглощалось мглой назади.

Было что-то почти томительное в этой немой, чарующей красоте, заснувшей или мертвой. Какие-то бесформенные образы вставали, теснились, дразнили чуткое воображение и проносились, не давая ни разгадки, ни удовлетворения... Волга, Волга!.. Есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное и, однако, замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе... Вся печаль и все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так полно и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мглистый вечер, с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодною, темною, быть может грозовою, тучей.

II

Однако несколько дней среди молчаливых красот волжского пейзажа все-таки утомляют. Слишком мало определенных впечатлений и слишком много неясных, туманных, призрачных, не успевающих пробиться к сознанию. Точно та самая дымка, что заволакивает волжские берега, ложится также на воображение и на сердце. Что-то в ней шевелится и мелькает и дразнит, но что именно — сказать трудно. А пароход все идет, все так же глухо шумит машина, все так же тянутся берега, и маленький плавучий мирок двигается, весь обвеянный особенной, щемящей скукой...

В этот вечер я долго не мог найти себе места и шатался по пароходу. В третьем классе при слабом свете между колонками и тюками товара виднелись обычные фигуры и слышалось жужжание обычных разговоров.

— И воста, например, в виде змия от земли и до небеси. На небеси жена рождает младенца, а змий простреся его поглотити. И увидевши гадину, ангел...

В первом классе ужинает какой-то желчный господин, страдающий печенью и предпринявший поездку по Волге для здоровья; запах рыбной селянки гонит меня и из второго класса, где несколько молодых людей пьют пиво и играют в карты. На галереях видны полоски света из окон, за которыми тоже пьют чай или ужинают. Трепетные огоньки чуть освещают бегущую воду внизу, и та же тоска неопределенного очарования глядит отовсюду. Я спасаюсь, наконец, на верхнюю площадку и сажусь у капитанской рубки.

Здесь тихо и спокойно. Чуть виднеются две молчаливые фигуры лоцманов, то и дело пошевеливающих штурвальное колесо, а из глубины по временам доносится невнятный, как будто сонный, басок капитана. Он говорит что-то один, лишь изредка старший лоцман подает короткие реплики. Но вот понемногу монолог переходит в диалог, постепенно приобретающий все большее оживление.

— Да тут Морщиха-то еще далече, что ли? — говорит капитан с оттенком неудовольствия.

— Эво! Морщиха-то верст еще с десять. А тут только горы да буераки...

— Да верно ли, что спускают?

— Погляди хоть сам...

Капитан неохотно привстает, и на минуту в рубке все смолкают.

Я посмотрел вперед, но ничего не видел. Горы совершенно потемнели, узкая полоска реки чуть светилась, сзади из-за гор тихо развертывались бесформенные тучи, покрывая реку еще более густой тенью.

Через минуту, однако, я различил между горами и их отражением несколько огоньков, двоившихся и вздрагивавших у самого берега. Можно было угадать, что это двигается вереница плотов...

— Спустили, подлецы, верно! — сказал капитан с неудовольствием, откладывая бинокль,— не приму я... Отмахни, Степа, налево.

Младший лоцман взял зеленый фонарь с кожуха и, став на боковом мостике, замахал им в воздухе. В то же время резкий свисток грянул среди молчаливого вечера, будя гулкое эхо.

— Выгребает на стрежень,— сказал опять лоцман.

Я вгляделся и только теперь наконец заметил, что один огонек, отделившись от остальных, двигался по реке наперерез нашему пути. Вот он достиг края совершенно черного отражения гор, и вдруг темной полоской лодочка вырезалась на фоне узкого просвета реки.

— Клади право,— сказал капитан.— Чай, обойдем.

Загремела штурвальная цепь, корма сильно подалась влево, нос поворачивался к правому берегу. Пароход, видимо, старался обойти эту искорку, качавшуюся на светлой полоске.

— Подгребают,— сказал опять лоцман уверенно.

— Может, все-таки проскочим.

— То-то вот, проскочим ли, Степан Евстигнеич? Отчаянные какие-то или уж вовсе без понятия...

Несколько отрывистых, громких свистков опять неприятно и гулко покатились над рекой... Не довольствуясь этим, капитан схватил рупор и крикнул:

— Лодка — дол-лой!..

Река опять ожила, опять заговорили вверху и внизу чуткие ущелья... «Коршун» внезапно отделился от яра, выровнялся, и его два разноцветные огня уставились на нашу «Стрелу», точно глаза просыпающегося чудовища. Когда эхо затихло, можно было расслышать издали торопливые удары его колес, точно частые взмахи крыльев тревожно летящей птицы.

— Ах, подлецы, чего делают,— произнес капитан

встревоженным голосом и, наклоняясь к говорной трубе, скомандовал: — Средний ход.

— К-куда вас несет, еретики проклятые? — крикнул он опять в рупор и тотчас же опять нагнулся к трубе: — Тихий ход, стоп машина.

Пароход осел и стал как-то вздрагивать изнутри. Наступила тишина, короткая и зловещая, потом поднялось движение. Выбегали из кают пассажиры с салфетками в руках, на ходу вытирая губы, внизу забегали матросы, прибежал помощник капитана и тотчас же стремглав кинулся опять вниз, капитан выскочил на боковой мостик и совсем повис в воздухе, ухватившись за перила. Лодка между тем оказалась уже совсем близко и, как будто подхваченная какой-то невидимой струей, полетела нам навстречу и исчезла из пределов зрения, скрытая бортами и обносом парохода.

Несколько секунд прошло в томительном ожидании, и затем снизу кто-то сказал грубым, сердитым голосом:

— Давай легость — принимайте, что ли, дьяволы...

Вслед за этим решительным окриком что-то взвилось в воздухе, и тонкая легость с гирькой на конце шлепнулась около лодки в воду.

Все вздохнули с облегчением.

— Кто такие? — спросил с недоумением капитан, видимо озадаченный.

— Так какие-то,— ответил снизу матрос.

— Какое имеют полное право останавливать пароход? — постепенно закипая, продолжал капитан и, вдруг вскипев окончательно, крикнул: — Не давай мостков, не принимаю. Пусть к «Коршуну» пристают.

Внизу началась легкая возня. Матросы начали отталкивать лодку, и неизвестно, чем бы окончилось оригинальное столкновение, если бы снизу не раздался вдруг новый голос:

— Постойте, да никак это «Стрела». Степан Евстигнеич, это вы, что ли, на мостике?.. Мое почтение, милейший Степан Евстигнеич!..

Голос был звонкий и приятный, с какими-то смешливо-ласкающими нотами. Капитан, человек простодушный и не особенно быстрый на заключения, видимо вновь был настигнут самым искренним недоумением.

— Что еще? — спросил он с неудовольствием.— Кто меня величает по батюшке?

— Я это, Степан Евстигнеич, вас по батюшке величаю, я, Алымов. Неужто забыли?

— Ксенофонт Ильич?

Внизу радостно замелькала светлая фетровая шляпа.

— Именно, именно, он самый. Прикажите скорее спустить мостки. Право, «Коршун» нагоняет.

— Ах ты б-боже мой!

И вдруг, чтобы дать исход смешанным ощущениям, волновавшим его простую душу, капитан неистово накинулся на матросов:

— Что рты разинули, дьяволы! Давай мостки, живо! Что вы со мной делаете, черти болотные?

— Есть!

Инцидент казался законченным. Публика уходила в каюты. От скуки я сошел вниз, где матросы при свете фонаря принимали новых пассажиров.

Лодка колыхалась внизу, нос ее мне не был виден, и только на корме в полосе света выделялась фигура рулевого, рослого, угрюмого человека в широкополой шляпе и шведской кожаной куртке, короткой и узкой. Я заметил энергичные черты, слегка тронутые оспой, и угрюмый взгляд глубоко сидевших глаз. Должно быть, это он так сердито требовал легость.

Из темноты лодочник подавал наверх багаж пассажиров. Сначала появился дорожный саквояж, довольно щегольского вида, за ним последовал полированный ящик, с какими странствуют художники-пейзажисты, за ящиком — переносный мольберт и зонтик. Очевидно, в лодке находился художник. Но вслед за этим полетел узел, увязанный простыней, за ним — чемодан с распертыми боками и плохо увязанный бечевкой. Из чемодана, а также из следующего узла что-то шлепнулось в воду, и какой-то белый предмет начал тонуть, увлекаемый течением. За ним последовала самоварная труба, выпавшая из какой-то прорехи...

Наконец, за последним узлом появилась фетровая шляпа, покрывавшая красивую голову, с русыми кудрявыми волосами. Большие голубые глаза, щеки с густым загаром, небольшие усы, не покрывавшие полного, несколько чувственного, но очень красиво очерченного рта, небольшая курчавая бородка и какое-то открытое, слегка насмешливое выражение делали очень приятной всю эту фигуру, облеченную в сиреневое, немного выцветшее пальто... Ксенофонт Ильич Алымов остановился на середине лесенки и заботливо протянул руку навстречу подымавшейся за ним новой фигуре.

Это была молодая девушка с миловидным, несколько

застенчивым или испуганным лицом, в простом платочке. Она как будто колебалась секунду, но затем протянула Алымову руку и неловко поднялась на лесенку, как человек, не привыкший к подобной помощи.

— Скоро ли? — раздался сверху голос капитана, проникнутый выражением глубокой тоски.

— Поторопитесь, пожалуйста, Романыч,— сказал Алымов с оттенком легкого раздражения в голосе. Человек в шведской куртке неторопливо расплачивался с лодочником.

— Ну, прощай, Филипп Романович,— сказал тот добродушно, приняв бумажку.— Не поминай лихом — добром, видно, не помянешь. А я тебе скажу по-божецки...

Угрюмый человек, собравшийся уже ступить на лесенку, резко повернулся.

— Свое получил? — спросил он грубо.

— Получил,— ответил мужик, принимаясь прилаживать весла.

— Ну и проваливай.

— Что т-там еще? — послышался с капитанских мостков совсем уже умирающий голос.— Скоро ли?

— Готово.

— Вперед до полного!

Внутри парохода что-то прокатилось от носа к корме, из-под колеса широко хлынула светящаяся белая пена.

— Што вы, черти, потопите ведь! — крикнул лодочник, но в голосе его слышалось скорее веселое возбуждение чем страх. Матросы, скаля белые зубы, смотрели на затруднительное положение волгаря. Глубоко захваченный колесом, темный вал кинул лодку чуть не вровень с обносом парохода, потом она резко мотнулась книзу, и я одно мгновение считал ее уже опрокинутой. Но на следующем валу она колыхнулась уже с поднятыми в уключинах веслами, точно птица с расправленными крыльями, готовая к полету.

— Прощай, барин Алымов, до увидания,— весело крикнул лодочник и прибавил еще что-то, но слова уносило уже назад вместе с лодкой.

— Прощай, Михайла,— ответил Алымов. Его выразительные глаза сверкали живым любопытством художника. Казалось, он старается запомнить этот сердито катящийся вал, освещенную огнями белую пену, лодку, наполовину повисшую в воздухе, лохматую, ничем не

покрытую голову и широкую фигуру волгаря, уверенно взмахивающего веслами над темною глубью.

— Пожалуйте за билетами в кассу,— сказал матрос, сдвигая борты.

— Я возьму всем? — сказал Алымов тоном вопроса.

— Не надо,— пробурчал Романыч, и они вдвоем отправились к кассе. Но, отойдя несколько шагов, Романыч вернулся и, остановившись около девушки, спросил, угрюмо потупясь и как-то вбок: — Вам куда?

Девушка, как мне показалось, сильно побледнела. Что она сказала, я не слышал.

III

Когда я взошел наверх и опять поместился у капитанской рубки, мимо нас огромный и весь в огнях, точно буря, несся «Коршун». Пока «Стрела» успела забрать полный ход, он вынесся вперед, и вскоре висевшая над его кормой, освещенная фонарем, лодка покачивалась иронически в воздухе, над клокотавшей пеной, в нескольких саженях перед нами. Впереди мелькали огоньки переката...

— Кончено,— сказал капитан с унылою злостью.

— Да, теперича уж он выскочил, по всем пристаням пойдет обирать, а в Ставрополе у нас никак погрузка.

— Нанесло их, чертей — сказал капитан и запнулся. У самой рубки забелела фетровая шляпа Алымова. Он без церемонии открыл стеклянную дверь и вошел в рубку.

— Ругаетесь? — сказал он беспечно.

— Не ругаемся,— ответил капитан не особенно приветливо, но все-таки подвигаясь, чтобы дать подле себя место пришедшему.— А что хорошего мало, это верно.

— А ловко мы вас взяли на абордаж — не правда ли?

— Мало ли что. Это ведь отчаянность,— ответил капитан холодно и прибавил с внезапной злобой: — Лодочника, подлеца, в каторгу мало! Ну, потопили бы вас, кто в ответе?

Алымов звонко засмеялся.

— Капитан в ответе. А теперь, спрашивается, за что? Когда же я отмахиваюсь вон еще отколе. Можете вы это понимать?

— Право, могу,— ответил Алымов смиренно.

— Плохо понимаете, видно... Вам вот все смех...

К «Коршуну» небось не пристали,— прибавил он с такой горькой укоризной, что Алымов совсем откинулся, заливаясь своим красивым звенящим смехом. По-видимому, это неуместное веселье грозило окончательно испортить отношения, но беспечный художник внезапно остановился и сказал совершенно другим тоном:

— Правда, что вам от правления поднесен серебряный рупор?

— Правда,— неохотно ответил капитан.

— Это вы в него так громко кричали? Черт знает, точно из пушки.

Капитан промолчал.

— Ну не дуйтесь. Хотите, я завтра с вас портрет нарисую?..

— Ну-у? — протянул капитан с оттенком радостного сомнения.

— Верно. Хотите с рупором?

— Нет,— скромно ответил тот.— Для чего еще с рупором. Хоть так бы.

— С рупором и во всей форме. Мне это ничего не стоит,— сказал Алымов с великолепною небрежностью.

По-видимому, произошло полное примирение.

— Вы билет-то взяли? — спросил капитан ласково.

— Взял второго класса.

— Ну зачем второго? Можно бы и третьего. А место я вам дам в первом. Тут в четырехместной всего один какой-то пассажир едет, просторно. Откуда бог несет?

— С Архиерейской ватаги.

— Это пониже Ставрополя? Что-то больно далеко. Сюда-то как попали?

— Сплыли на рыбацкой лодке, потом на плотах плыли. Стали уху варить, ан вы тут и покажись. Уху бросили.

— Плотовщики съедят за ваше здоровье,— усмехнулся старший лоцман, налегая на колесо.

— А это с вами какие народы? — спросил опять капитан.

— Погорельцы,— серьезно ответил Алымов.

— Не похоже. Как же это?..

— Вот посмотрите, мимо побежим. Может, разве потухло, а то еще и теперь, пожалуй, тлеет.

— От Сенькина буераку отсвечивало... Тут ведь лощинкой-то прямо видать,— сказал опять лоцман.

— Да, вот как,— сказал капитан в раздумье.— Так они как же?

— Да так вот, уложили рухлядишку и едут... собирать на погорелое место.

В рубке опять раздался звонкий смех, а затем Алымов сказал, подымаясь с места:

— Пойдем, что ли, Степан Евстигнеич, выпьем по маленькой. Скучно что-то...

Капитан тоже поднялся.

— Тут прямо,— сказал он, как бы в оправдание перед кем-то.

Оба ушли. Некоторое время слышно было только шуршание штурвальной цепи.

— Хм,— вдруг смешливо фыркнул младший лоцман.

— Только помани,— пояснил пренебрежительно старший.

— Что за народ? — еще через некоторое время лаконически кинул в пространство младший.— Смотри, еще полиция хватится.

— Алымов с ними,— сказал старший.— Положим, человек легкий, со всякими водится.

— Дело не наше,— заключил он, опять помолчав, и затем только шуршание цепи выдавало присутствие обоих в рубке. Лоцмана вообще народ мало разговорчивый. В течение семи месяцев в году, вглядываясь во все изгибы реки, во всякий выступ берега, во всякую заводь и береговую отмель, они привыкают ограничивать свое внимание пределами видимого русла реки, жить и думать только глазами.

Через несколько времени пришел снизу капитан, обтирая на ходу усы рукавами, уселся на своем месте и, помолчав, сказал с выражением живейшего удовольствия:

— В прошлом году с зевекинского капитана ландшафтик снял. Живой, так и глядит!

Лоцмана не ответили. Пароход пробирался среди темноты, которая стала еще гуще от надвигавшейся из-за гор мглистой тучи. Впереди тревожно мелькали еще две-три звезды, но не видимые на темном небе клочья тумана гасили их одну за другой. Полоса на реке тоже исчезла... Горы сменяли свои причудливые очертания, среди которых, лишь когда пароход подходил совсем близко, можно было порой различить то серую скалу, торчащую среди зелени, то узкие долины и ущелья. Изредка слышался шорох лесных вершин, как будто вздрагивавших под надвигавшейся холодной тучей.

Замелькали живые огоньки. Пароход шел у правого берега, а на левом открылась широкая лощина, охваченная уступами гор. В лощине приютилась деревушка. Кое-где ее огоньки лепились и по уступам, перемежаясь с темными пятнами кустарника. На одной из площадок, у самой стены темного леса, уходившего далее к вершинам, светилось полупотухшее широкое огнище; по временам оно почти совсем угасало, и только дыхание порывистого ночного ветра опять раздувало его. Тогда как-то зловеще начинали сверкать угли, обрисовывались черные бревна, низко стлался освещенный дым — и казалось, будто какое-то огненное чудовище шипит, извивается и дышит над тихой лощиной и скромной деревенькой. Красные отсветы ложились на крыши изб, разливались по ближним склонам холмов, падали на реку и опять тихо гасли...

Пароход долго обходил песчаную отмель против самой деревни, и она была вся как на ладони. В крайней избе, над небольшой кручей, открылась дверь, и казалось, что кто-то стоит в освещенном квадрате и смотрит на темную реку и на осторожно пробирающийся по ней пароход. Внизу на песчаной отмели курился рыбацкий огонек. Сделав большой круг, пароход стал удаляться, и я как-то невольно прошел и остановился у кормы, провожая взглядом исчезающую деревеньку...

Внизу под моими ногами кто-то свистнул. Я взглянул туда и увидел у казенки всю интересовавшую меня компанию. Алымов примостился в беспечной позе на связке косяка и покачивался, охватив руками колени. Девушка сидела у самого борта и, казалось, плакала; лица ее не было видно, так как голову она положила на руки. Широкая черная шляпа Романыча виднелась тут же.

Пароход опять повернул; гора закрыла лощину и сама стала удаляться. Новый поворот, опять пятно света вдали, все слабее, все меньше, и скоро уже трудно было угадать самое место, где находилось ущелье и деревенька. Жигули развертывали все новые, однообразные очертания, молчаливые, безлюдные и пустые.

А назади ночная мгла стирала последние признаки оставленных мест.

— Д-да, вот она, полоса жизни! — раздался вдруг в темноте задумчивый и выразительный возглас Алымова.

Его спутники не ответили. Было что-то невыразимо

грустное в этой полоске берега, все более поглощаемого мглой...

Некоторое время на корме длилось молчание. Потом Алымов встал и подошел к девушке.

— Фленушка, Флена Ивановна,— заговорил он нежно, наклоняясь над ней.— Ну не плачьте, голубушка, художник Алымов не может видеть ваших слез, ну право же, право, у художника Алымова поворачивается сердце...

Он еще ниже наклонился над девушкой.

— Вы не верите, вы думаете, что Алымов только и умеет смеяться... Ах, Фленушка, Фленушка! Если бы вы могли заглянуть Алымову в душу... Но вы не хотите, вам это зрелище не интересно.... Бог с вами. А я все-таки скажу вам то, что хотел сказать еще утром. Если бы вы... когда-нибудь... Нет, не выходит,— прервал он себя грустно.— Ну все равно. Когда-то, Фленушка, вы, кажется, считали меня другом. Так вот, на правах старого друга я скажу вам: всего лучше было бы вам бросить Романыча на произвол судьбы и идти себе своей дорогой.

Романыч желчно засмеялся.

— И смеется-то скверно,— кинул в его сторону Алымов.— Ну вспомните, голубушка, оглянитесь хоть немного. Ведь он вел себя с вами как последний дурак и тупица: ломит под пароход, о вас думает столько же, сколько о самоварной трубе, которая нашла вечное успокоение в пучине.

До сих пор Алымов говорил серьезно. Но воспоминание о печальной участи трубы, по-видимому, представило слишком сильное искушение. Он захохотал, откинув голову, и потом сказал виновато и грустно:

— Опять этот проклятый смех... Это прямо несчастье моей жизни! Ну до свидания, дети мои. Все я говорил не то, что нужно. Берите у жизни, что дается, и... примите благословение художника Алымова... Об Алымове же ведайте, что его в случае надобности найдете в буфете.

Он засмеялся совсем весело, и его шляпа исчезла из пределов моего зрения.

— Шут гороховый,— злобно сказал Романыч, в свою очередь подходя к девушке. Я слушал, улыбаясь, полукомические объяснения Алымова, но теперь дальнейшее подслушивание мне показалось неуместным, и я отошел от кормы. Когда, пройдя вдоль палубы, я опять подошел к этому месту, у казенки никого уже не было.

IV

Зато на пароходе ясно сказывалось присутствие живого и беспокойного человека. Через несколько минут Алымов сошелся с компанией молодых людей, вяло изнывавших во втором классе, появился с ними у буфета и организовал на корме импровизированный хор. Концерт вышел довольно оригинальный. На небольшом пространстве, освещенном электрической лампочкой, теснилась кучка молодежи; на фоне темной реки рисовались широкие шляпы, форменные фуражки, порой старое пальтишко, то опять молодцевато выпяченная грудь с блестящими пуговицами. Молодые голоса летели в темноту и отдавались в сонных ущельях, а ритмический плеск воды за кормой аккомпанировал пению...

В боковых галерейках толпилась заинтересованная публика, выползло даже несколько фигур из третьего класса. Два торговца, говорившие недавно о змие, уселись поблизости, прислушиваясь к пению. Только Алымов был, по-видимому, недоволен, нервно обрывал песню за песней и начинал другие.

— Давайте, господа, «Волгу-матушку».

«Во-олга ма-а́тушка бурлива, говорят»,— начинал он высоким, довольно приятным, хотя и слабым тенором.

«Под Самарою,— подхватывал хор,— разбойнички шалят».

— Нет, не выходит,— нетерпеливо махал он рукой.— Давайте другую.

— Да что вам нужно? — спрашивали у него.— Ведь не опера.

— Давайте что-нибудь попроще: «Сердце ли бьется».

«Ноет ли грудь»,— послушно и стройно летело опять над Волгой:

Пей, пока пьется,
Все позабудь...

«Пей, тоска пройдет!» — прозвенело уже совсем хорошо, но Алымов опять остался недоволен.

— Давайте, господа, лучше выпьем в самом деле,— сказал он наконец.— Черт знает, выдохлись, что ли, волжские песни. «Стружок — стружок»... «Сорок два молодца», «В Самаре девицы хороши!». Уж вот можно

сказать... Черт с ними, со всеми сорока двумя и их девицами. Нужна новая жизнь, не правда ли, господа?

По-видимому, он уже успел выпить. Молодежь разошлась вяло и среди взаимного охлаждения, а Алымов вскоре вернулся опять из буфета и стал нервно ходить взад и вперед по палубе.

Два торговца-слушателя продолжали сидеть на том же месте, и один из них остановил проходившего Алымова за полу пальто:

— Барин, Алымов,— сказал он.— Присядь к нам, мы тебя знаем.

— Ну так что же? — спросил Алымов сердито.

— Ты у нас в Синюхе бывал. Картины писал, песни записывал.

— А ты меня к становому на веревочке представлял?

— Было кому и без нас. Да ты, если умен, так на нас, дураков, не сердись. Не знали тебя.

— Ну не сержусь, так что же дальше?

— Присядь вот тут. Понравился ты мне: правду насчет песни нонешней говоришь. Сам я, барин, любитель большой, только наша песня, сказать, старинная. Нонче песня под ножку поется...

— Под ножку? — переспросил Алымов.

— Да, ноге под нее плясать хочется. А старинная песня, настоящая, велась протяжно... Заведут-заведут, и-и! слеза шибает. У нас вот, в Синюхе, про разбойницку жену песня поется старинная. Ты слыхал ли?

— Нет, не слыхал.

— Ах и хороша песня. Кум Елизар, подтянешь, что ли?

— Ну тебя,— угрюмо буркнул кум Елизар.

— Ничего, барин простой, давай подтягивай... Это, стало быть, «Собиралась Машенька за разбойника замуж».

— И никогда так старинные песни не начинаются,— сказал капризно Алымов.

— Ты слушай.

Одноглазый певец хлопнул себя по колену и, слегка запрокинув голову, запел о том,

Как со вечера разбойник
Собирался на разбой,
Со полуночи разбойник
Начал тракты разбивать.

Одноглазый пел гнусавым фальцетом, Елизар поддерживал баском. Это была известная, значительно опошленная искажениями песня о разбойницкой жене, которую, уже, очевидно, от себя, синюхинцы называли Машенькой. На заре она слышит, как брякает кольцо,— значит, муж приехал с промысла, привез подарок. Жена развертывает мужнин подарок и падает на него грудью. «Что ты сделал,— стонет она,— вор-разбойник, отца родного убил!» Отвечает вор-разбойник горько плачущей жене: «Как попался в первую встречу — и отцу я не спущу...»

Боковой свет лампочки освещал мрачные силуэты певцов, с хищными носами, птичьими длинными шеями и торчащими вперед бородами. Лица были темны, носы угреваты, незрячий глаз одного из них отсвечивал порой мертвым блеском. Невольно приходил в голову вопрос: что общего у этих любителей с поэзией и тоской песни?

Впрочем, и трудно было на этот раз уловить ее выражение: и тоска и поэзия, по-видимому, совершенно отсутствовали в песне. Но все же было в ней что-то, привлекавшее какое-то жуткое внимание: что-то гнусливое, жалобно скрипучее и дикое. Такие звуки слышатся иногда бог весть откуда в сонном кошмаре. Но все-таки это было так своеобразно, ни на что не похоже и вместе так характерно, что казалось каким-то чудом, сохранившимся отзвуком мрачной и леденящей старины... Не так ли, в самом деле, выли эту пе́сню, под скрип и визг метели, те настоящие люди, для которых эта песня была действительностью, а нехитрый мотив — ее непосредственным выражением?

При последних нотах песни Алымов торопливо набрасывал в свой карманный альбом.

— Записал? — спросил певец самодовольно.

— Записал,— сквозь зубы ответил Алымов, но для меня лучи лампочки ясно освещали страницу, на которой резко выделялся эскиз двух фигур.

— Хороша ли песня?

Алымов спрятал альбом в карман и сказал разносчикам как-то капризно:

— Др-рянь ваша песня... Для почину отца убил... И напев, черт вас знает, волчий какой-то.

Он повел плечами, как будто от озноба, отошел несколько шагов и остановился у перил, глядя на реку...

Я тоже поднялся. Волга потемнела совершенно, и даже вблизи вода угадывалась только по движению

валов, глухо шумевших внизу. Впереди одиноко светился кузов «Коршуна», точно светляк, вяло ползающий в огромной чернильнице. В рубке осторожно шуршала цепь, и слышались отрывочные замечания лоцманов, чутко и тревожно пронизывавших глазами ночную тьму. Пассажиры разошлись по каютам, окна, выходившие на галерейку, гасли одно за другим, официанты подсчитывали сдаваемую буфетчику выручку, общие комнаты опустели. Только один Алымов еще появлялся то здесь, то там, точно беспокойный трутень в засыпающем улье.

Я тоже вошел в каюту и улегся, не зажигая огня. Окно было полуоткрыто и едва отличалось от темных стен. Ленивый и влажный ветер, врывавшийся снаружи, плохо разгонял духоту, скопившуюся за день от раскаленных крашеных стенок парохода. За тонкими перегородками были слышны вздохи и нетерпеливая возня. Мой сосед, страдавший печенью, по-видимому томился еще бессонницей.

По галерее кто-то ходил, и темный силуэт мелькал мимо окон. Потом кто-то уселся невдалеке на скамейке, и до меня донеслось тихое пение. Я осторожно поднялся и подошел к окну. Очень близко от него, облокотясь на белый крашеный столик под стенкой, сидел Алымов. Его шляпа лежала на столике, он проводил рукой по лбу и волосам, как будто стараясь прогнать этим движением что-то неприятное, потом стал тихо напевать. Зеленоватый свет фонаря полоской падал на палубу и на переплет перил, отделяя от остальной темноты уголок, в котором уютно примостился Алымов... Он, вероятно, отдавался этому ощущению одиночества, и его песня крепла. Он часто возвращался к началу, как будто подыскивая не вполне дававшийся ему мотив, замолкал, опять нервно проводил рукой по лбу и опять начинал. Едва ли когда-нибудь песня бывает непосредственнее и искреннее, чем в такие минуты, когда она просится из души, в темноте и одиночестве. Здесь порой даже человек, никогда не поющий, находит вдруг какие-то неожиданные тихие и искренние звуки, которые могли бы тронуть даже взыскательного слушателя. Очевидно, это была одна из таких минут для господина Алымова.

Я стоял у своего окна точно очарованный... И слова, и мелодия, и голос певца, которому он не давал воли, звучавший будто где-то далеко,— все сливалось в удивительно цельную гармонию с этой темной и загадочной

волжской ночью, с туманными призраками гор, с таинственным эхом ущелий, с мерным колыханием валов, даже, казалось мне, с недавнею ужасною песнью синюхинских прасолов.

Наконец певец как будто нашел свой мотив, и песня зазвучала яснее:

Уж пойду ли я, уж пойду ли я
Под Новгород?
Пойду,
Под Новгород пойду!
Разнесу ли я, разнесу ли я
Стены каменны?
Разнесу!
Кузнецов лихих, весь искусный люд
Я к себе в Москву
Заберу!
А всю земщину-деревенщину
По святой Руси
Размечу! [1]

Смысл песни был, конечно, ясен. Это московский князь идет под Новгород и похваляется разнести каменные стены... Балахна и Городец, и многие места по Волге, и угрюмая Кама, и дикая Вятка, и вологодские леса, и тихие архангельские реки видели у себя новгородских насельников, и даже среди простого народа до сих пор живы предания о грозе, разметавшей из Великого Новгорода земщину-деревенщину, опальных бояр и вольных посадских людей...

Уж я вольницу-своевольницу, —

продолжает московский князь,—

Смертью лютою
Показню!
Я крамольников, своевольников
В омутах-реках
Потоплю!
Не звонить тебе, не звонить тебе,
Буйный колокол,
Не звонить...
Буйный колокол...
Не звонить...

Алымов смолк и довольно долго сидел, опустив голову на руки. По-видимому, песня была кончена, но я все стоял, под обаянием глубокой и искренней тоски, прозвучавшей при последних словах в голосе странного

---

[1] Песня подлинная; записана в Балахнинском уезде в 20-х годах и напечатана в «Нижегор. губ. ведомостях» (1887, № 22).

певца... Точно в самом деле с кидающею в дрожь непосредственностью живого ощущения из темноты волжской ночи, из шума валов и шороха невидных лесов встал этот умерший отголосок исторического стона и несется, как призрак, за бегущим в темноте пароходом...

В угловой каюте, направо, в окне, совсем близко уставившемся в Алымова, шевельнулась и затем осторожно отодвинулась занавеска. Так как окно было под прямым углом, то мне было видно, как в нем мелькнуло женское лицо с темными, густыми, беспорядочно распущенными волосами. Но Алымов сидел вполоборота и ничего не видел. Он опять провел руками по лбу и волосам — и мне показалось, когда он запел опять, что это уже другая песня — столько в ней было мягкой жалости и тоски в противоположность похвальбе и угрозе предыдущей. Но мотив оставался тот же:

Ах, по Волге ли, ах, по реченьке
Плывет стружок,
Плывет...
В той ли лодочке, как лебедушка,
Красна девица
Слезы льет...

Кто-то опять мягко, ласково и задушевно утешает плачущую:

«Эх, не плачь-ка ты, не горюй-ка ты,
Красна девица,
Перестань!
Будем соль варить, торговать зачнем,
Лихо-весело
Заживем!
Лихо-весело заживем!»

Какая-то горькая удаль, которую, вероятно, и искал недавно Алымов в хоре, теперь звучала ясно, сильно и полно в его негромкой песне. И тотчас опять только тоска и слезы... Это, должно быть, отвечает плачущая девушка:

«Ах, и золото, ах, и серебро,
Золота казна
Нипочем...
Золота казна нипочем,
Коли волюшку свою вольную
Не воротим мы,
Не вернем...»

— Не вернем!.. не вернем,— еще несколько раз тихо повторил Алымов, все ниже опуская голову и опять возвращаясь к последним нотам.

Стукнуло еще одно окно; на этот раз над самою головою Алымова.

— Конец, что ли? — спросил недовольный и резкий голос моего страдавшего печенью соседа.— «Не вернем, не вернем и не вверрр-нем!» — ведь это черт знает что такое, наконец. Надо же дать людям заснуть. Пишут в газетах: поездки! Для здоровья! Какое тут, к черту, здоровье...

— Ах, извините, пожалуйста,— ответил Алымов, как будто испуганный внезапным нападением, и быстро вскочил с своего места. Окно захлопнулось, задернулась также занавеска в угловой каюте, но за ней еще раз мелькнуло в темном квадрате бледное женское лицо, которому этот сумрак придавал какую-то особенную, грустную и заманчивую прелесть.

— Merci, monsieur Алымов,— сказал красивый, несколько разнеженный и приятный бархатный голос.

Алымов удивленно повернулся. Занавеска еще колыхалась, но окно было темно и пусто.

— Глуб-боко тронут, сударыня,— тронут и очарован,— сказал Алымов, ломаясь и школьничая. Теперь я заметил ясно, что частые посещения буфета оказали на г-на Алымова сильное действие.

— К услугам вашим, готов петь хоть до зари, если бы не боялся вот этого господина...

— Сударыня! — сказал он затем тихо и вдруг опять громко рассмеялся, стал в позу и, перебирая пальцами, как будто играя на гитаре, запел вполголоса:

Что же, слышит иль не слышит,
Спит она или не спит?..

— Не-ет, не спит, стоит за занавесочкой и слушает. Ай-ай-ай, нехорошо подслушивать, сударыня... Впрочем — спокойной ночи...

К те-бе я буду прилетать,
Гостить я стану до денницы.

— Ха-ха-ха! — И художник Алымов, смеясь, поплелся по галерее, пробуя в темноте то одни, то другие двери. Некоторое время все было тихо.

Только сосед за перегородкой с ожесточением кидался на своей койке.

Еще через минуту в пустой общей зале, в которой горела одна только лампочка, послышались шаги, кто-то откинул ногой стул, потом резко затрещал электрический звонок. Г-н Алымов требовал себе рюмку коньяку.

— Никак невозможно,— говорил с каким-то почтительным неудовольствием полусонный лакей, вероятно дожидавшийся с нетерпением, пока уляжется беспокойный пассажир, чтобы погасить последние огни и улечься, наконец, самому.

— Никак невозможно-с. Второй час на исходе-с.

— Ну черт с тобой,— сказал Алымов капризным и обиженным тоном.— Где тут мое место?

— Пожалуйте, тут вот, в общей... Сделайте ваше одолжение, потише. Тут господин спит уже...

— И пусть спит, черт с ним. Мне какое дело. Постой, скажи: что за человек? Купчина какой-нибудь, на ярмарку?

— Не могу знать, а не похоже, что купцы. Пожалуйте...

— Чиновник?

— Не могу знать, а не похоже опять. В шляпе. Пожалуйте!

— Постой, погоди, успею. Офицер?

— Не офицеры. Пож-жалуйте, будьте настолько добры. Нехорошо: разбудите.

Щелкнула ручка двери, и слабая полоска света влетела в мою каюту. Алымов заглянул в эту щелку, приложившись к ней лицом, и, опять повернувшись к лакею, спросил шепотом:

— Симбирский помещик?

— Не похоже.

— Опять не похоже! Нет, Илюша, это, наконец, невозможно. В России непременно или купец, или чиновник, или офицер... Ведь не мужик, наконец, пойми, Илюша. Мужики в первом классе не ездят.

— Как можно, помилуйте.

— Ну вот видишь. Кто же еще? Постой, постой! Вот мы сейчас с тобой припомним.

И господин Алымов стал декламировать из Некрасова.

Довольно с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновни-ков... двор-рян,
Довольно даже и поэтов...
Но нужно, нужно нам граждан.

— Так вот он кто еще: почетный гражданин какой-нибудь. Говори, Илья: почетный гражданин, что ли?

— Не могу знать, верьте совести. Едут от Астрахани, от самой, а на вопрос, например, кто такие,— не соответствуют. В Сарепте рыбник Иван Семеныч спрашивали... «По своему собственному делу»,— говорит, больше ничего.

— Видишь! А ты меня к несоответствующему человеку посылаешь. Неси рюмку коньяку для храбрости, а то не иду.

— Буфетчик спит, Ксенофонт Ильич,— невозможно. И рад бы, да нельзя... Пожалуйте.

— Ну черт с тобой, пожалую. А в случае чего, помни: ты, Илья, не знаю, как тебя по фамилии звать, за художника Алымова в ответе. Помни, Илья, ну, с богом! Отворяй. Э! Постой. Это еще что?

Г-н Алымов остановился в отворенной двери. Между тем в зале появилось новое лицо: при слабом свете лампочки, точно полуночный призрак, проследовала неизвестно откуда появившаяся дама. Она была высокая, роскошная брюнетка, сильно напомнившая мне неясный образ, мелькавший в угловом окошечке. Она пожималась, как будто от холода, и на красивом лице видно было как будто неудовольствие, что ей мешают спать. Но было и еще что-то. Алымов засмеялся с несколько дерзким видом и захлопнул дверь.

Струя воздуха кинулась от окна, хлопнул конец занавески, г-н Алымов очутился в темноте и не совсем верными стопами прошел через каюту. Он шумно приподнял занавеску, стуча медными кольцами. Потом стал у окна и закурил папиросу. Я тоже чиркнул спичкой.

Алымов быстро повернулся.

— Я вас опять разбудил. Впрочем, какое мне дело? Каюта общая. Вхожу я в общую каюту и ни о чем не забочусь. Вам не нравится мое пение. Правильно. А курить в каюте имею право. Не хочу спать.

— Совершенно справедливо, и потому не возражаю,— ответил я, улыбаясь.

— Какого черта вы смеетесь? — сказал он с неудовольствием, заслышав улыбку в моем ответе.

— Какое вам дело? — ответил я ему в тон; меня это начинало забавлять.— Смеюсь в общей каюте — и кончено.

— Гм... удивительно,— сказал Алымов в каком-то

раздумье.— Однако как вы разговариваете! Постойте-ка...

Он пошарил по стенке и отвернул кнопку электрической лампочки. Комната осветилась, и мы оба некоторое время щурились от непривычки. Алымов первый, бесцеремонно оглядев меня, вдруг рассмеялся и сказал:

— Нет, это не вы меня обругали за пение.

— Действительно, я вас не ругал.

— Вы кто такой?

— Пассажир.

— Глупо! Почему в самом деле не ответить на вопрос.

— Какая надобность предлагать такие вопросы?

— Гм... Удивительно,— опять повторил Алымов и сказал затем: — Чисто русская бесцеремонность, верно! Русский человек не может успокоиться, пока не узнает доподлинно, чем кормится его ближний. Ну и я — русский человек, и притом еще наделенный экстренной любознательностью... Да, да, да! Постойте, ведь это вы там внизу так бесцеремонно присматривались, когда мы приставали к пароходу.

Я засмеялся.

— Согласитесь, что у меня были для этого любопытства некоторые основания.

— Какие, любопытно, основания?

— Да хотя бы и в экстренном способе вашей посадки на пароход. Приятно видеть такую удаль.

— Кой черт, удаль! Сумасшествие! — сказал Алымов с неудовольствием.— Вы думаете, это мы нарочно? Просто оказалось, что наш рулевой не умеет править. Если бы не молодчина гребец — черт знает, что бы вышло. Я что! Я наблюдатель... потонул бы из любопытства, с некоторым удовольствием. А ведь с нами была девушка, она жить хочет. Постойте-ка, тише, тсс...

Г-н Алымов вдруг замолчал и прижался к стене. Мимо окна промелькнула какая-то тень. Алымов высунулся в окно и долго смотрел кому-то вслед.

— Кто это ходит так поздно? — спросил я.

Алымов не ответил. Он закурил новую папиросу и полулег на скамье в задумчивой и мечтательной позе.

— Alte Geschichte [1],— сказал он, пуская кольцо дыма.— Поздравляю, господин Алымов! Ваши добрые знакомые у пристани.

---

[1] Старая сказка *(нем.)*. — *Ред.*

— О ком вы говорите?

— Вам какое дело? Кстати: вы писатель?

Я невольно сделал легкое движение, Алымов громко засмеялся.

Сосед за стеной опять бешено завозился на своем страдальческом ложе. Алымов равнодушно повел в ту сторону глазами и сказал в высшей степени хладнокровно:

— Черт с ним! А я, согласитесь, угадал вашу профессию.

— Допустим, но по каким это признакам? — спросил я.

Алымов опять засмеялся и спросил, в свою очередь:

— Скажите, отчего это: купец, чиновник, даже живописец и актер сразу отвечают на вопрос о своей профессии; торгую, имею собственное имение в Самарской губернии, двадцатого числа получаю из казначейства. Только писатель непременно замнется. Ха, ха! Точно или боится ослепить слушателя, или опасается, что его сочтут прохвостом...

— Ну, полно! Это было, да прошло.

— «Ну, полно»,— передразнил он.— Не бытовое вы явление, господа, на Руси, вот что! Еще в столицах — так. А вот здесь, на Волге, скажите вы хоть тому рыбнику, который вас допрашивал в Сарепте: дескать, пишу. А он посмотрит, что на вас пальто приличное, и спросит: а служите где? Или: а из буфета даром, что ли, тебе отпущают?

Он залился опять звонким смехом и спросил добродушно:

— Не обижаетесь?

— Нимало.

— И отлично, а то я бы сейчас лег спать, а уснуть ни за что не усну. Заметили вы, какой подлый сегодня был день и вечер?

— День как день, а вечер действительно темный.

— Темный; не в этом дело,— сказал Алымов с нотой раздражения.— Нет, такие подлые вечера, к счастью, выдаются не часто: слишком горячий закат и ужасно холодные тоны на востоке. С одной стороны природа горит, с другой — зябнет. Брр... чистая лихорадка для нервов... Ужасно раздражает.

— Вы художник?

Алымов вдруг насторожился, заслышав опять шаги на галерейке. Он поднялся с места, подошел на цыпоч-

ках к кнопке и осторожно завернул ее. Огонь погас, и скоро опять две фигуры мелькнули мимо окна. Алымов опять проводил их глазами, высунувшись наружу, и затем, сев по-прежнему, ответил на мой вопрос:

— Художник, соперник Репина. Вы видали репинских бурлаков?

— Конечно, видел.

— Конечно, видели. А заметили там на первом плане песчаную отмель и старую, растрепанную корзину, вернее — снасть для рыбной ловли, замытую песком?

— Да, помнится что-то.

— Ну вот, моя специальность — такие отмели и такие корзины...

Он засмеялся, впрочем как-то грустно, но тотчас же овладел своим выразительным голосом и продолжал уже совсем весело:

— Да, мы с Репиным давние соперники. У него гораздо лучше выходят бурлаки, а у меня корзины и лапти... Вы на N-ской выставке не были?

— Был и очень хорошо помню ваши эскизы.

— «Старую корягу у устья Керженца»?

— Видел и корягу. Коряга действительно замечательная.

— Я и говорю: куда Репину! Только и умел написать бурлаков, вода — точно с синькой; песок не волжский... а уж о корзине и говорить нечего! — В каюте опять зазвенел его открытый, заразительный смех.

V

Я задумался... Имя художника Алымова было мне уже раньше известно из поволжских газет. Местная пресса гордилась им как своей областной известностью, и авторы заметок всегда прибавляли к его имени эпитеты: «наш» Алымов, или «наш известный пейзажист». Немного странно было то обстоятельство, что при этом почти всегда выходило разноречие в определении его специальности. Одни считали его «нашим известным пейзажистом», другие называли его поволжским жанристом, третьи считали Алымова художником-этнографом и, наконец, «художником бытописателем Поволжья».

Незадолго до описываемой встречи в городе N... состоя-

лась первая, чуть ли не с самого основания Руси, областная художественная выставка. Это было нечто отчасти интересное, отчасти печальное, отчасти трогательное и в значительной мере курьезное. Тут были копии масляными красками с известных олеографий. Патер, смеющийся над рюмкой вина, патер, плачущий над разбитою рюмкой, патер, у которого на нос села муха. Были тут наивные барашки в золоченых рамах, почтительно выставленная пачкотня добрейшей NN, местной меценатки (что делать — областное искусство так нуждается в сильном покровительстве)... Среди этой мелюзги — чуть не целую стену занял художественный левиафан, академическая конкурсная тема, написанная около полустолетия назад рисовальным учителем кадетского корпуса, в то время еще мечтавшим завоевать и карьеру, и славу при помощи тщательно выписанных спин, бедер и торсов. Были сильно потемневшие дубликаты Рембрандтов и Ван Дейков, об удивительном способе приобретения которых и о несомненной идентичности местные любители-коллекционеры пространно повествовали в газете. И что всего удивительнее, пройдя почти всю выставку, я нигде не встретил ничего подлинно местного, близкого, областного. Казалось, все это искусство, преклонявшееся перед экспрессией олеографий и в лучших представителях погружавшееся в смутное воспоминание о блеске академической натуры,— брезгливо сторонится от всего близкого, как будто эти примелькавшиеся поля и воложки, эти острова с осокорями, печальные горы, растрепанные избушки и их грязные обитатели, привозящие художникам в базарные дни молоко и яйца,— как будто вся эта близкая действительность стоит неизмеримо ниже местного таланта...

Только в последней, неудобно освещенной комнате я вдруг наткнулся на приятное исключение. Огромный экран, затянутый темным кретоном, был усеян клочками холста, картона и бумаги с эскизами Алымова. Тут были карандаши, blanc et noir, масляная краска. Все это жило и сверкало, было насквозь проникнуто каким-то своеобразным чутьем местного колорита и давало впечатление несомненного таланта, беспокойного и яркого, но целиком разрешавшегося в этих беглых, незаконченных, схваченных на лету и сгоряча эскизах Поволжья. В одном месте — волна набегает на длинную песчаную косу, в другом — занесенная песком, рассохшаяся лодка, далее — остов баржи, оставшейся на крутояре после

весеннего ледохода, с кокорами, торчащими кверху, точно ребра какого-то чудовищного скелета... На многих клочках были нарисованы обломки досок или старое пнище, или просто лапоть, черневший пятном на сверкающей полоске песков... Порой — три полоски, в которых трудно было даже угадать рисунок реки и береговой дали. Но стоило отойти немного — и с холста начинало светиться небо, дышащее истомой, мгла начинала сгущаться в облако, и в далях чувствовался набирающийся дождь... И все эти пятна воды, клочья облаков, небесная синева, луговые дали, откосы, отмели, островки и заводи, разбросанные яркими лоскутками на темном фоне огромного экрана, производили не то манящее, не то беспокоящее впечатление, в душе набиралось какое-то сильное настроение, оставшееся неразрешенным... Несомненно было, с одной стороны, присутствие таланта, не лишенного искренности, проникнутого какой-то особенной правдой: в каждом самом мелком наброске чувствовалась именно волжская мель, волжский воздух, волжский лапоть, оброненный именно волжским бурлаком на волжском песке. Впрочем, среди видов реки и воды попадались и другие мотивы: лесные перекрестки с чуть тронутыми вечерним солнцем верхами сосновых стволов; густые чащи с таинственным молчанием; на перекрестках — раскольничьи иконы со старыми ликами, с боковых дорожек выбегают тройки с седоками, возвращающимися из каких-нибудь лесных скитов. Разбитые ветром крыши степных уметов, телега в степи с приподнятыми над огоньком оглоблями, странник у монастырских ворот, с посохом в руках и с котомкой на согнутой спине, темная лента переселенческого обоза на прямой дороге, засыпающей где-то под дальнею тучею. Вечер, ворон над болотом, перевоз через узкую лесную речку, рыбак, склонившийся над той же речкой за ночною ловлей «на сеже». Но все-таки преобладали отмели, волны на излете, всасываемые прибрежным песком, обрывки дождевых облаков, несущихся над глинистыми ярами, сторожевые бугры, которых так много на Волге, одинокие осокори, брошенные лодки, развешанные рыбацкие сети, искорки вечерних огней в неопределенном сумраке, землянки бакенщиков, и лапти, корзины, коряги, и опять корзины и лапти...

VI

— Вы мне скажете правду? — спросил вдруг Алымов после короткого молчания, во время которого я вспоминал все эти впечатления.

— Относительно?

— Ну да... относительно моих работ.

— Отчего же. Мне показалось это очень интересным. Разумеется, интереснее всего, что было на выставке.

— Неужели,— засмеялся Алымов,— интереснее даже патера с мухой?

— Простите, я сказал банальную глупость. Ну хорошо, я постараюсь выразить то, что чувствовал перед вашей витриной. Во-первых, все это очень ярко и правдиво, все настоящее, дышит и светит...

— Но?..

— Но... не закончено и разбросано. Как будто материал для ненаписанной картины... Все это напоминает как будто...

— Разбитое зеркало? — подсказал Алымов живо.

— Именно,— вырвалось у меня невольно.

— Именно, именно,— подхватил Алымов, приподымаясь на своем месте.— Знаете, это сравнение пришло мне в голову в первый же раз, как я увидел свои эскизы собранными вместе. До тех пор я набрасывал их в разное время, в разных местах, под различными настроениями, и сам не придавал им никакого значения. Иное писалось между прочим, иное — с намерениями, но все-таки так, «пока и в ожидании». Так и прошли года... Наброски да наброски... А тут эта выставка... Отобрал я свои эскизы, нужно сказать, очень тщательно, только то, где действительно искренно отразился кусочек души. Устроил мне это все приятель, старый художник, а я даже вошел в зал уже вместе с публикой. И знаете, сначала даже не узнал своих работ... Бывает это: подойдешь к себе точно со стороны и смотришь, как на чужого. Такую минуту я пережил в N-ской зале. Черт возьми, думаю, ведь в самом деле все они правы. А уж в это время в N... создавался некоторый шумный успех, присяжные ценители успели провозгласить меня своим областным Рафаэлем... Ведь и в самом деле, думаю,— светится все это, точно окна какие-то прорезаны в темном кретоне... Ну а в общем... стало мне в ту же минуту ужасно жаль чудака, который написал все это. Кажется, и все правда, будто на негативе. Нет, никакому негативу не передать

такой правды. Скорее — зеркало, в котором отразились солнце и небо, и бегущая волна, и пролетающая птица, и проходящий странник... Отразились, да так и застыли, в движении и красках... Вы не находите, что я преувеличиваю?

— Нет — именно это чувствовал и я...

— Да?.. То же и вы чувствовали? Так... ну а дальше что же вы чувствовали?

— Вы скажете лучше сами...

— Ну а дальше — тоска! Как будто все эти волны, и облака, и пятна хотят сойтись, слиться в одну картину, полную настоящей шири, света, воздуха, жизни, глубокого смысла... Но...

Г-н Алымов помолчал.

— Зеркало разбито,— сказал он таким голосом и с такой нотой, какой я даже не подозревал в этом веселом человеке.— Разбито и развешано по клочкам... и так грустно светит кусочками своей яркости и веселья... Верно это?..— спросил он как-то устало.

— Пожалуй, верно... Но...

— Нет, не пожалуй, а действительно верно. «Но» — хотите вы сказать — зеркало еще может собраться. Знаете, я ведь то же думаю! Что ж, в самом деле — еще молод, все эти тучи, и волны, и странники еще ходят в душе... Ну а иногда мне кажется, что так все и останется клочками... Кажется даже, что и всюду клочки... Вы беллетрист?

— Беллетрист.

— Роман написали?

— Романов не писал.

— Почему?

— Не знаю, право,— не задавал себе этого вопроса.

— Ну, врете, батюшка! Просто не хотите пускаться с пьяным Алымовым в откровенности. И черт с вами, молчите себе... А уж я разболтался, так и стану продолжать, пока терпите. Да вот, подите, порой мне начинает казаться, что не один беспутный Алымов — разбитое зеркало, а все кругом, все наше поколение — такая же интересная коллекция. Большие клочки, маленькие клочки, клочки прозрачные, как воздух, клочки запыленные и перекошенные... Возьмите хотя вашу область — литературу: стоит посередине огромное великолепное трюмо старой еще дореформенной работы, остальное... Впрочем, извините, может быть, и я совершенно не прав,— сказал он и опять засмеялся своим

веселым смехом.— Только у меня своя теория на этот предмет. Нет устойчивой светотени... Представьте себе, что вы рисуете пейзаж в ветреный облачный день. Облака вверху плывут и плывут, свет и тени бегут по земле пятнами, появляются, исчезают, меняются сами, меняют все, что вы видите. Что еще за минуту резало глаз светлым пятном, то теперь спряталось в глубокой тени, тут появилось вдруг озеро, которое совсем не было видно, а где сейчас целое село играло на солнце — нет ничего... Как вы станете рисовать?

— Рисуют, однако.

— Именно рисуют. Только что же для этого нужно? Нужно, чтобы вся эта светотень застыла, что ли, в душе, в мозгу, в памяти, в сердце, ну черт ее там знает где еще... Выражаясь высокопарно, нужно, чтобы свое солнце светило в душе. Зажмурился — готово.

— Пожалуй,— сказал я, невольно улыбаясь.

— Да! Вот у нас долго светило крепостное солнце... Видели вы когда-нибудь рисунки Боклевского к «Мертвым душам»? Нет? Будете в N..., посмотрите нарочно. Вот, батюшка, настоящий талант, никогда ничего больше не создавший правда... но его карандаши — это, это... Ну, право, это равно Гоголю. И вот когда впервые мелькнула у меня моя теория... Посмотрите — ведь не боялся человек шаржа: Петр Петрович Петух — ведь это настоящая тыква. Видали вы тыквы на бахчах в хорошее, постоянное жаркое лето: нальется так — целая гора. Вот думалось мне, Петр Петрович Петух: этакие запасы жиру и характерности могли налиться только в долгое, устойчивое лето... Ну и нагляделись на них при устойчивой погоде наши дореформенные мастера: тоже зажмурится — готово. Так целый огород и возникает сразу: и огромные тыквы, и огурцы, и баклажаны, и наливное яблочко, и малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, и даже репей, и лопух у забора — по закону контраста. Представляете? Так все и режется: тыква — вот она, не спрячешь! Чертополох — вот его скоро выполют... Все ясно, определенно, все на своем месте, под ровным и определенным светом... Да если еще оторваться на время и посмотреть заграничные огороды, а потом опять вернуться к своему... да если еще скажут тебе, что это свое, родное скоро перепашут до подпочвы... Боже мой, с какой любовью все это врежется в памяти... Тыква, голубушка, скоро тебя не будет...

Он опять засмеялся и спросил:

— Вам понятно?

— По-моему, несколько парадоксально.

— Ну все равно. Теперь представьте, что и там, в душе, тоже вдруг все вздрогнуло и понеслось. Так же вот, как в облачный день,— все изменчиво, так же несется что-то, перекрывает, меняет, обманывает... Что вчера казалось ослепительно сияющим, то сегодня стало тьмою, что вчера было самой мрачной тенью — вдруг сегодня, если не совсем посветлело, то по крайней мере принимает приличные серые оттенки... Что тогда?

Я промолчал, не желая нарушать течение его причудливой мысли.

— Остается, батюшка, ловить клочки. Разбитое зеркало. А ведь все наше поколение именно таково: дрогнуло что-то — и несется, и летит. Туча не туча, облако не облако... Где-то будто гремит, а больше все-таки мгла какая-то... Несется, закрывает, открывает... Да вот вам: давно ли мы любили народ и верили в него, как сорок тысяч братьев любить и верить не могут. Точно двери какие-то открылись, повалил в них мужик и занял всю арену российского внимания: бурьян из-под заборов забрался на первые гряды. Куда ни повернись — всюду он, и притом в самом лучшем виде... Господи боже! Как мы его, голубчика, любили и как уважали. Где только ни встретим — привет и почет. Говори, голубчик, выскажись! И высказывался! Вон сидит у тракта в будочке поскотник. Обязанность, можно сказать, самая ничтожная: сиди у ворот да глупых телят на улицу обратно загоняй, разве еще когда начальству поскотину отопри. А подойдите-ка к нему: философ глубочайший! Беспортошные, безоброшные — все философы. Порток не имеет, оброку не платит, а поучить нас, бедных, может, потому что и в беспортошности его смысл глубочайший. А уж про выставки и говорить нечего: по всем стенам в золоченых рамах все он был. И ведь не то чтобы какое-нибудь частное увлечение, кружок какой-нибудь. Все общество — сверху донизу обожало. Ретрограды и радикалы одинаково. Одни говорят: он умник, он мудрец, в нем наше спасение, он всю эту фантасмагорию устранит и прежнюю светотень опять наладит; ему ведь, милому, у забора, по его мудрости и смирению,— самое надлежащее место. Другие радостно суетятся: погодите, вот он придет, и все станет совсем по-новому. Я лично из-за него на несколько лет краски и палитру бросил, не пошел в академию, метил в сельские учителя, и, нако-

нец, черт его знает по какой уж равнодействующей, попал в адвокаты.

— Вы адвокат? — удивился я.

Г-н Алымов расхохотался так звонко, что сосед счел необходимым трижды стукнуть кулаком в стену.

— А ведь в самом деле, это с нашей стороны свинство,— сказал Алымов.— Ну хорошо, стану говорить тише. Да, батюшка, рекомендуюсь: адвокат Казанского округа. Благосклонные ко мне поволжские газеты порой так и называют меня: известный адвокат-художник. Причем, как водится, адвокаты слово «известный» относят к художнику, художники — к адвокату... А бывает и так. Говорят: вон на песочке адвокат Алымов этюдики пишет, или: сегодня художник Алымов в суде бродягу защищает. И черт его знает: сам я путаюсь, потому что действительно бродяга на скамье передо мною сидит и бродяга у меня на этюде... Тише, пожалуйста, тише: сосед опять недоволен... Да, так я к тому, что из-за него, меньшого брата, одно время и даже этюды бросил, перестал думать красками, да что! Ей-богу, политическую экономию изучал... К чему, думалось тогда, наше искусство? Вот он младший-то придет и все картины сразу поиному перепишет. Краски даже другие с собой принесет, видеть иначе научит: полнее и глубже! И куда ни посмотришь, все в этом уверены: в театрах, в музеях, в литературе, в поэзии, на выставках... Помню, как-то на пароходе по Волге случилось ехать. Пароходишко маленький, меж ближними пристанями шмыгает; на мостках, гляжу, компания: судебный следователь, исправник из бывших казанских студентов и уездный полицейский врач. Сидят за столиком, солнце их жарит, поют «Есть на Волге утес...», слезами так и истекают... Ей-богу! Правда, выпито было изрядно, а все же, как хотите, замечательно! И было это, знаете, пониже Царицына, есть там этот знаменитый Стенькин утес:

Из людей лишь один
На уте-се том был...

Понимаете — это уездный врач тенорком,— и вдруг исправник октавой:

На-а Ма-аскву своротить он реши-иился!

— Ой, батюшки, не буду,— спохватился г-н Алымов, оглядываясь на стенку, и, подвинувшись, продолжал: — Ну, я, понимаете, человек свежий, только

что сел на пароход, не успел еще приобщиться к их настроению — и потому невольно приведен был в изумление. «Что вы это, говорю, господа, делаете, побойтесь бога. И утесишко-то, во-первых, самый ничтожный, а во-вторых... Ну, вы только представьте себе: вдруг он-то оттуда в самом деле выползет. Ведь вы тогда меры обязаны принимать... Хлопот не оберетесь: не мертвым телом, неизвестно кому принадлещим, пахнет». Так ведь как обиделись: стол опрокинули. Исправник в грудь себя вилкой тычет. «Мал-ладой человек, говорит, вы, может быть, па-ла-гаете, что если на мне вот этот проклятый мундир, так уж я народа не люблю. Ашиба-е-тесь...» Насилу усмирил, и то лишь тогда, когда опять столик наладили, и я, в свою очередь, приобщился к настроению. Тут, конечно, все забыли. Судебный следователь, человек, трепетавший перед прокурором, но в сущности большая умница, объяснил мне на мировую, что и песня-то, говорят, прокурором написана и напечатана была в самом благонамереннейшем журнале [1]. «Мы, говорит, молодой человек, свои юные годы вспоминаем. А служебным действиям это ни в коем случае помешать не может». Смешно ведь, правда? А как вам кажется, кто был всех смешнее?

— Я думаю, исправник.

— Ошибаетесь: художник Алымов. Я, положим, над ними смеялся, а ведь если был человек, искренно веривший, что он, тот, кто из-под утеса, со своей мудростью российского Барбароссы действительно может оттуда выползти,— так это был именно я. Над исправником смеюсь, а сам на утес с замиранием посматриваю: выйди, голубчик, выйди, милый. И себя, понимаете, считаю уже сообщником, чуть не обладателем тайны, в душе зреет картина... Такая картинища, я вам скажу. Немного фантастическая, а ей-богу, мне кажется порой, что стоит бурлаков...

— Какая, если можно спросить?

— Не знаю, сумею ли теперь рассказать... Кажется, так уж это давно было, и так вся эта светотень изменилась. Не хотелось бы смеяться над тем, над чем когда-то, право же, плакал... Ну, попробую, однако. Видели вы на моей выставке маленький такой этюдишко: «Утес — Два брата»?

— Да, помню.

---

[1] «Русская речь», если не ошибаюсь, в конце 70-х годов.

— Заметили? Помните там что-нибудь этакое... своеобразное, что ли?

— Позвольте: утес освещен последними лучами, река внизу, уже в сумраке, по реке пароход бежит... два огня...

— Ну-ну?..— насторожился Алымов.

— В отдалении, в ущельях мигают две деревеньки...

— Татинец и Слопинец. Именно — это пониже Работок. Говорят, в старину было опаснейшее место. На утесе два брата-атамана, в Татинце — тати, ну и Слопинец — от слова «слопать».

— Неужто есть такие деревни?

— Есть и не такие. Так вы заметили этот этюд. Да, искрится в нем это нечто, искрится. Помните, огни у парохода? Смотрят! Грозят! Дымище сзади тащится. Змей Горынич, не правда ли?.. А Татинец со Слопинцем мигают, бедные, так смиренно и жалостно.

— Это верно!

— То-то! И вы думаете, я это как-нибудь там подмалевывал тенденциозно? Уверяю вас, нет: прямо с натуры. Сел на одном обрыве, посмотрел вниз, на эту матушку Волгу — так вся душа и вспыхнула тоской и грустью... А пароходище ползет, дымит, глазами сверкает, купчина на нем едет... Луговой остров, подлец, у Татинца со Слопинцем оттягал... Я же и процесс начинал, да потом товарищу более искусному отдал. Испугался купчины — силища! С простыми ходатаями, а так орудует — чистое дело, только мигни, проиграешь. Ну зато уж в картину я все это вложил. Стала она у меня в душе расти и шириться. Всю Волгу исходил и изъездил, бугров этих сторожевых да берегов затуманенных набрал видимо-невидимо, в архивах копался, у лоцманов да у рыбаков обрывки преданий собирал — и все так к своему месту ложится. Чувствую — растет! Светотень в душе установилась ровно: солнце вечернее по утесу скользит, река так вот и льется внизу, глубоко в сумраке, огни так и таращатся, дымище как хвост вьется, на отмели бурлаки, как мураши, стоят, смотрят, побросали лямки, баржонка прижалась к мели — все уступает, все сторонится перед Змеем Горыничем. Понимаете — капитал совершает торжественное вступление на Волгу... Летит , свистит, распугивает свистом бурлацкие песни... А на утесе группа стоит, пятном в последних лучах так и режется... Удалые молодцы, мирские защитники, гроза крапивного семени, носители таинственной политиче-

ской мудрости российских барбаросс из-под Стенькиных утесов... Ах, вы представить не можете, сколько я в эти фигуры вложил любви, тоски, ожидания и страсти...

— Вы их написали? — спросил я с интересом.

— К черту! — сердито ответил Алымов и засмеялся.— Обманул меня подлец атаман, недаром Хлопушей называется.

— Хлопуша — ведь это пугачевец.

— Черт его знает, может и тот. Шатались ведь они, подлецы, повсюду, а может быть, и нарицательное: хлопать зря — значит лгать, хвастать... Впрочем, он ли один тут виноват, право не знаю! В неделю картину не напишешь. Собирался, все приготовил, между тем в первой инстанции дело-то мы проиграли. Купчина принялся круто, на месте пошли недоразумения, ну, тут за мной немного не присмотрели, я впутался глупейшим образом. Вышла история, и купчине только и надо было: губернатор — человек энергичный... Потом товарищи едва-едва успели все-таки поправить дело, а я уехал на время в некоторые северные города.

— И это было? — спросил я.

— Было,— ответил Алымов, слегка как будто застыдившись.— Уж именно, что печальное недоразумение. Собственно, за темперамент. Положим, недоразумение рассеялось сравнительно благополучно, а все же залегла полоска... Вернулся — и тот, да не тот, и застал уже не то.

— Что же, собственно, изменилось?

Алымов помолчал и вдруг опять спросил:

— Хотите тему для рассказа?

— Не прочь, хотя чужие темы вообще плохо годятся.

— Ну, я расскажу вам небольшой эпизод... Охотно уступлю вам, тем более что у меня, пожалуй, ничего не выйдет.

— Постойте, да разве вы еще вдобавок и пишете?

— Пишу,— рассмеялся он,— впрочем, только в N-ском листочке. Видели такую газету?

— Не помню.

— Напрасно. Самая колоритная газета в России. Издается местным купцом — мучник из Царицына. Начинает всегда тропарем дня. Продолжение составляет акафист местному начальству, конец — что-нибудь о патриотизме. Понять ничего невозможно, а читателей слеза прошибает.

— А вы тут что же?

— А я — что хотите: путевой набросок, что-нибудь по местной истории. Сливаюсь со средой — это всегдашняя моя мечта. Бытовое — это моя стихия. Недаром вот и вы признаете, что моя коряга — настоящая керженская, волжская. Знатоки признают даже тину, которой она затянута, а какой-нибудь лапоть возбуждает географические споры... Ну, вот и настоящий, местный, бытовой редактор прельстил меня. Скоро, пожалуй, умрет старина — исчезнет последняя оригинальная газета на Руси. Сын — из второго класса прогимназии, ходит уже в спинжаке и пишет светским стилем. Те же акафисты, но уже не шевелят сердца...

VII

— Вы говорили о теме.

— Да, как вам нравится заглавие «В ссоре с меньшим братом»?.. А мне кажется, что лучшего заглавия для современного рассказа не придумать. Охватывает все сверху донизу: и художника Алымова, и его приятеля мещанина Романыча, и правый, и левый фланги... Отовсюду теперь выгнали меньшого брата. Одни — потому, что оправдал их надежды, ну и попал на конюшню! Другие — потому, что обманул ожидания. Не вышел своевременно на арену истории. Да, холодность теперь к нему необыкновенная... И драм на этой почве совершалось у нас, я вам скажу, без числа. Все только драмы какие-то незаметные, подпольные, что ли... Вот и сегодня видели вы наш отчаянный абордаж. Это тоже последний акт такой же драмы. В лодочке сидят все исполнители: начиная с художника Алымова и кончая бедной Фленушкой, которая ни с кем, впрочем, не ссорилась; все имеем к меньшому брату более или менее серьезные иски... Недоумеваете, а между тем это так. Начнем с меня: вы согласитесь, что пострадал я хотя отчасти из-за собственной глупости и темперамента, но все же частью и из-за меньшого брата...

— Он-то об этом не просил?

— А почем вы знаете? То-то что просил, а потом на попятный. А из-за этого обе мои карьеры — и адвокатская, и художественная — временно приостановились. Далее-с... Я потерял невесту. Ну, тут, положим, влияние меньшого брата только косвенное, и от этой части иска отказываюсь. Я никогда не пользовался успехом у жен-

щин. Кажется, я вам сказал, что не могу сегодня спать от погоды. Налгал: не сплю от ревности. Не смейтесь, пожалуйста, мне, право, не до смеха.

И, как бы в доказательство, в каюте зазвенел его заразительный хохот.

— Странный вы, право, человек,— сказал я.

— Да, странный. Веселый меланхолик, существо парадоксальное, пожалуй уродливое. Мне, знаете, кажется иногда, что природа намеревалась вылепить меня самым веселым человеком в России, но по разным обстоятельствам я ей не удался. Вышел только эскиз веселого человека, а внутри-то трещина. От этого меня так раздражают и такие парадоксальные вечера, как сегодняшний. У самого в душе с одной стороны светится что-то, а с другой — такой холодище ползет, брр... зуб на зуб не попадает... Однако возвращаюсь к теме. Женщины, как вам известно, не ценят эскизов. Мы иногда удивляемся пошлейшему выбору умной и развитой женщины. А секрет простой. Им хоть маленькое зеркальце подавай, пятачковое, да цельное... Эта мысль, с тех пор как я ее понял, совершенно лишает меня бодрости...

— Мало вероятно,— сказал я улыбаясь,— особенно если вспомнить про угловое окошечко.

— Ну,— сказал Алымов брезгливо.— Я не об этих лубочных эскизах любви говорю. Поймите: в моей душе живет стремление к цельности, к полной картине... Между тем когда, отчасти тоже благодаря меньшому брату, выяснилось, что я в адвокатуре — художник, а в искусстве опять остановился на корзинах,— дело мое и расклеилось. Осталась одна надежда на будущую картину... С этой надеждой я и жил там, где встретил Романыча...

— Это ваш мрачный приятель?

— Да, он.

— А он — цельное зеркало?

— Какое там! Тоже осколок. Но это человек особенный... Счастье за ним гонится само, потому что он от него убегает. Есть что-то удивительно привлекательное в отречении. Не знаю, как вы, а для меня, грешного художника и грешного человека, просто недурное лицо кажется неотразимо привлекательным в монашеском клобуке... Кстати, кто он, по-вашему?

— То есть?

— То есть просто: какого звания человек?

— Кто его знает.

— Вот то-то. Даже я, знающий каждую щепку в этих местах, если бы встретил такую фигуру на Волге,— стал бы в тупик. Ну, хоть какой народности?

— Похож на хохла.

— Замечательно! Все в один голос говорят это, а между тем он только жил одно время в К. Родом из Тулы, происхождением деревенский мужик, образования нигде не получил, а между тем читал Куно Фишера, Спенсера и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторщики, например, не годится.

— Что за парадоксы?

— Да, и вдобавок сам мужик, а между тем совершенно не понимает мужика и даже говорить с ним понятно не умеет. Одним словом — тоже парадоксальный эскиз новейшего времени: настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедший из народа, странствующий в пустыне и взыскующий града. Представляете вы эту фигуру?

— Пожалуй, но как же это вышло?

— А вышло просто: родился в деревне, потом ребенком попал в К., где отец приписался в мещане. Потом отец умер, а мальчик попал в сидельцы какой-то мелкой лавочки. Жизнь эта для детей — известно, каторга. Подростком уже сошелся с каким-то студенческим кружком, мечтавшим о слиянии с народом. Они и повели его развитие так быстро, что он стал читать и понимать Спенсера, не успевши выработать почерк. Вы понимаете, что для лавочного сидельца, сохранившего воспоминания о детстве в деревне, теории народнического кружка молодежи явились настоящим откровением, вернее — осуществлением мечты. Они, конечно, были уверены, что в его лице навстречу их теориям идет настоящий опыт человека из народа, а между тем — он-то и был самый мечтательный из всех этих молодых мечтателей... Ну, потом, разумеется, все оказались более или менее причастными к какому-то довольно фантастическому плану обновления, причем я сильно подозреваю, что самый план покоился в значительной степени на опыте человека из народа. Ну, а затем... мы и встретились в северных городах... Я уже говорил вам, что прожил там недолго, но, право, крепко полюбил этих ребят. Народ горячий и нетерпеливый, но, в сущности, золотые сердца и даже

недурные головы. Теперь легко смеяться над всем этим, но ведь они только делали выводы из посылок, признанных тогда всеми... Меня они тоже, кажется, любили, хотя при этом мне приходилось выносить изрядную дозу снисхождения. Решили в конце концов, что я свободный художник и, как сосланный за темперамент, имею право даже вести дружбу с начальством. А я, при моей склонности к бытовому, без этого не могу. И притом тоже ведь, по-своему, ребята попадались хорошие, а у одного квартального такая оказалась рожа типичная, что мой этюд обратил в свое время внимание и даже попал в коллекцию к N. Только я тогда по разным обстоятельствам не подписал своей фамилии и пропустил случай прославиться.

— Но вы...

— Опять уклоняюсь. Да, так вот. Романыч показался мне самым интересным. Читал он страшную массу, можно сказать — ломил через всю эту премудрость, точно медведь сквозь чащу. Многое понимал своеобразно, но в конце концов понял все не хуже других, одолел даже до известной степени философскую терминологию. Пробелы, разумеется, остались у него огромные. Ну, да ведь и мы тоже все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Интереснее всего в нем все-таки было это изумительное упрямство. При моей слабости к бытовому я помирился с ним именно на этой черте. Я, признаться, не люблю оборотней, с вылинявшей природной окраской, и часто ловлю себя на некотором инстинктивном нерасположении к многому новому. Умом-то, пожалуй, и признаю и содействовать готов, а в сердце — копошится какое-то сожаление к уходящему с его определившимися, устоявшимися бытовыми формами. Не могу, например, подумать без некоторого щемящего сожаления о том, что скоро на Волге исчезнет последняя коноводка, а когда представлю себе, что и Волгу когда-нибудь схватят в каменные берега, скучно становится... Должно быть — консерватизм художественной натуры. Поэтому некоторое время с Романычем нас разъединяла какая-то взаимная антипатия. Вероятно, я казался ему слишком уж тонким, а он мне — опустошенным и обезличенным, лишенным всякой непосредственности. Я, верно, чувствовал в нем ненастоящего мужика, а он был уже настолько ненастоящий, что его это сердило. Однако скоро я увидел, сколько еще осталось своего, мужицкого, в этом неуклю-

жем обломе, с такой свежестью непочатого ума и с такой нерастраченною энергией ломившего через дебри науки... А главное, что меня к нему окончательно привязало, это то обстоятельство, что из всех этих фантазеров, мечтавших о полном слиянии с народом, он был самый мечтательный, самый фантастический...

Г-н Алымов задумался. Лица его я не видел, но мне казалось, что на этом лице должна была бродить улыбка.

— Все они или почти все были с сильной трещиной. Это тоже меня к ним привязывало — эта черта русского интеллигентного человека по преимуществу. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Не совсем.

— Кто-то, помнится — Гейне, выразил это очень красиво: мир дал трещину, и эта трещина пришлась мне как раз по сердцу...

— Как видите,— засмеялся я,— специально русскую черту выразил немецкий еврей...

Он тоже засмеялся.

— Правда! Ну, мне все-таки кажется, что мы это чувствуем яснее. Трещина эта отделила нас от нашего народа, а при отсутствии у нас разных закрывающих ее исторических сооружений она зияет как-то разительнее. Француз, немец, англичанин находит себе все-таки много утешений, ну, наконец, они хорошо строят мосты... А у нас нет всех этих утешений. Трещина сочится и беспокоит, а в молодости особенно. Помните, у того же Гейне: «Кто скажет, что у него сердце цельное,— у того дряблое, прозаическое сердчишко...» Ну, вот у них сердца были не дряблые, и они все копошились, как муравьи, чтобы найти путь через трещину к своему народу... Ах, черт возьми, как я их и теперь люблю за эту черту, хотя она стоила мне очень много... Вы не заснули от моей философии?

— Нет, пожалуйста продолжайте.

— Теперь естественно возникает вопрос — как быть с трещиной и чем ее заделать... Тогда это казалось близким и возможным. Одни полагали, что он, то есть мужичок, устроит это как-то сам. Он лучше знает. Другие махали рукой — все равно нам, негодяям, пропадать на этом берегу. Третьи, наиболее решительные, прыгали прямо туда, к меньшому брату, но все были согласны, что исцеление именно в меньшом брате... У него все —

у нас одна погибель... Вы были когда-нибудь на Святом озере в Семеновском уезде?

— Не бывал.

— Интересно. Я был. Небольшое такое озерко, глубокое, чистое, как слеза. Кругом холмики, на холмиках деревья, часовенка стоит старенькая — и над всем витает чудная легенда. Народ уверен, что в озере и кругом озера стоит невидимый город, исчезнувший по молитве старцев перед нечестивыми полчищами Батыя. Два раза в году по лесам и тропам из дальних мест, говорят, даже из Вологды и с Урала, пробираются туда сотни людей, взыскующих града в буквальнейшем смысле этого слова: чистые сердцем, проведя сутки в посте и жаркой молитве, ложатся на берегу, и на закате солнца начинают для них берега озера зыблиться и колебаться, из глубины слышится звон, а кругом все — и толпа, и холмики, и деревья — все исчезает, и стоит на месте этой призрачной действительности фантастический город Китеж с церквами и монастырями. Я был на озере, видел эту верующую толпу, и среди нее два раза попадались мне фигуры (оба раза это были женщины) с застывшим созерцанием в лице, со счастливыми слезами на глазах! Они — видели, понимаете, видели собственными глазами. Чаще всего, однако, слышал звон и бывал в граде взыскуемом полуслепой и совершенно глухой старец, живший в землянке на самом озере. Он мне все это рассказывал, во всех подробностях.

— Интересно.

— Еще бы! Любопытно, однако, что̀ град этот построен в чисто историческом стиле: тут вот, говорит, монастыри, тут собор, тут ограда, тут боярские и купеческие хоромины стоят, тут мелкому мастеровому люду жилье, а вот там, говорит, подальше, крестьянские избы понастроены. А кресты, говорит, все о восьми концах. Великолепно, не правда ли? — спросил г-н Алымов со своим характерным смехом.

— К чему вы это вспомнили, однако?

— Видите ли — вот, значит, меньшой брат как себе град взыскуемый представляет?

— Ну, это только тот, кто ходит по святым озерам.

— Ну, там как бы то ни было, а и мои приятели представляли себе будущее в этом роде. Может быть, несколько игнорировали бояр и купцов, а все внимание обращали на избы — это правда. Но зато в пределах деревни — все точь-в-точь! В той сияющей перспективе,

куда они устремляли свои взоры, виделась именно наша теперешняя деревня: та же улица, только пошире, те же избы, только из хороших бревен, те же крыши,— пожалуй, только тес вместо соломы (эх, и это жалко), ну и тот же мужик в той же одеже, с той же иконописной бородой и с той же таинственной мудростью. Есть, конечно, и счастливейшие из интеллигентов, но они слились, исчезли, потонули в общей окраске... Правда, среди моих тогдашних приятелей мираж этот уже сильно дрогнул. Знаете, бывает это: день совершенно еще ясен, а уж чувствуется, что на все ровно и незаметно для глаза уже легла какая-то дымка. А там клок тумана уже ясно осел в воздухе — и пошло нестись и меняться. А этот народ удивительно чуток. Право, очень жаль, что эта полоса жизни у нас оставалась как-то не изученной и не отраженной. Мне иногда кажется, что все эти молодые люди были только птицами буревестниками, отмечавшими своими беспокойными движениями глубокие изменения общественных настроений. Теперь вот мы уже понимаем, что все это мираж, что трещина ушла еще очень далеко в будущее, в какую-то неведомую нам страну, в которой не осталось ни одной из наших бытовых форм. Это будущее не получит уже ни одного бревнушка из современной деревни и не увидит ни одной черты из теперешней беспортошной таинственной мудрости. Теперь, когда я вижу пиджак в деревне, я говорю себе: вот шаг к будущему. Не смейтесь, это именно так. Ведь теперь у нас даже в среде великороссийского племени по меньшей мере четыре нации, отличающиеся и по языку, отчасти, и по верованиям, значительно сильнее, и по одежде (совершенно)! Ну а в будущем, конечно, это исчезает, и в конце трещины стоит незнакомец, всего вероятнее, в немецком пиджаке, которого, впрочем, черт его побери, я никак не могу себе представить вполне ясно и к которому, грешный человек, никакого христианского чувства не питаю.

— Правильно ли это, господин Алымов?

— Разумеется, неправильно,— захохотал он.— В свое время и с него, вероятно, будут писать этюды. Но что хотите, я люблю свою натуру теперешней: потому что она уже мне вросла в душу. Помните у Лермонтова: «Люблю я родину, но странною любовью... Люблю дымок спаленной нивы... дрожащие огни *убогих* деревень». Ведь, в сущности, убожество-то любить, пожалуй, и не похвально. А что станете делать. Когда-нибудь, может

быть, их за это и в самом деле не похвалят: им, по их варварским понятиям, скажут, растрепанные крыши нравились лучше железных. Ну а у меня сердце бьется при виде растрепанной крыши и слепого окна, а на железную крышу и не глядел бы. На этом-то вот мы с Романычем сошлись вплотную. Среди остальных начиналось смятение и споры: субъект в пиджаке и железная крыша уже выступали из тумана будущего и возбуждали значительную тревогу. Многие отступали более или менее спешно, отдавая в жертву незнакомцу — кто общину, кто артель, кто еще разный багаж в этом роде. Были и такие, что уже провидели реабилитацию кулака как неизбежного и даже прогрессивного элемента. Только мы с Романычем не сдавались... Однако знаете что? Ведь это я вам начинаю целую историю. Вы, кажется, одеты?

— Да, я и не раздевался.

— Ну вот что. Если вам не спится и охота, пойдем на палубу. У меня угар из головы вышел, и мне совестно перед соседом.

Я охотно согласился, и мы вышли.

VIII

Мы вышли в зал, почти совершенно темный. Одна лампочка освещала скучным светом ближайшие предметы: часть стола с белой скатертью, горку с бутылками, несколько апельсинов в стеклянной вазе. Далее только слабые искорки на гранях стекла обозначали перспективу темного зала, казавшегося как-то фантастически длинным. В конце совершенно черные окна изредка освещались снаружи слабыми вспышками зарниц... Откуда-то из глубины парохода несся стук машины, ровный и глухой, точно биение пульса у спящего... В такт этому стуку жалобно отзывалась какая-то стеклянная подвеска.

— Не хотите ли пройти по нижней палубе? — спросил Алымов.— Вы увидите — это интересно.

Мы спустились по лесенке и открыли дверь на палубу. Она была сильно загружена. Тюки, обшитые рогожами, бунты шкур, издававших неприятный запах, корзины, короба, ящики, мебель, коляски... Все это фантастическое собрание разнообразнейших предметов, наваленных в беспорядке и как будто удивленных своим

случайным соседством, слабо освещалось кое-где висевшими лампочками. Между тюками, на лавках и на полу лежали пассажиры, женщины с грудными детьми, мужики в овчинных тулупах, несмотря на лето. Густое сопение и храп носились среди полутьмы, примешиваясь к плеску воды и стуку машины.

На одной из лавок на грязной подушке спал наш знакомый, синюхинский певец. Его некрасивое, зловещее лицо налилось кровью, губы были искривлены, из горла вырывалось неровное, прерывистое хрипение.

Алымов остановился над спящим с видом холодного любопытства.

— Дедушка душит,— сказал он мне, указывая на синюхинца.— Субъект это, я вам скажу, интереснейший. Кулак, начетчик, признает только старинную книгу, поет только старинную песню, держит в руках всю Синюху и замучил двух жен. Теперь вот на него насел домовой; небольшой старикашка, с длинной бородой и в тулупе навыворот, измельчавшее отродие какого-нибудь грозного божества, которому его предки когда-то приносили умилостивительные жертвы.

Спящий тяжело перевел дух, сел на лавку и некоторое время безжизненными глазами озирался вокруг. Что-то вроде ужаса изобразилось в них, когда он увидел над собой фигуру Алымова. Впрочем, сон не вполне выпустил его из своих рук; он повел глазами, попытался перекреститься и опять повалился на подушку.

— Пойдемте,— сказал Алымов.— Завтра он припомнит это мгновение, и если у него затоскует утроба, он будет уверен, что мы, два полуночника, приходили нарочно, чтобы его испортить. Знаете, мне вот приходит в голову: что, если бы все сонные грезы, которыми полны теперь эти истомленные мужицкие головы, можно было облечь в видимые формы... Господи боже! Каким удивительным сборищем наполнилось бы пространство между палубой и потолком парохода. Ведь если этот синюхинец живет чувствами Никиты Пустосвята, то вот те — плотовщики, возвращающиеся на свою Унжу или Ветлугу,— прямо вышли из дебрей пятнадцатого века. К ним в лесные трущобы и теперь еще прилетают огненные змии.

Шагая через ноги в лаптях и туловища в посконных рубахах, мы прошли мимо машинного отделения, зиявшего отблесками огней и наполненного диким движением стали. За ним на корме было что-то вроде правиль-

но устроенных в два этажа лавок, где пассажиры разместились с некоторым удобством. У одного из таких отделений Алымов резко остановился. Я увидел здесь обоих его спутников. Суровый человек в шведской куртке спал в углу, прислонясь головой к деревянной стене, в самой неудобной позе. Было видно, что он долго охранял сон прислонившейся к его плечу девушки и заснул сам, не смея пошевелиться.

Алымов постоял несколько мгновений, с некоторой нежностью глядя на успокоившееся лицо девушки, и пошел дальше.

На самой верхней площадке нас обдало тихим ночным ветром. Должно быть, заря была недалеко, по крайней мере на одной стороне неба, в поредевших облаках, бродили уже слабые просветы. Зато набиравшаяся с вечера громовая туча вся перевалила за Волгу и стояла за Жигулями вся черная, изредка вспыхивая синими зарницами.

Алымов прошелся взад и вперед, вдыхая свежий ночной воздух и разминаясь. Он подошел к рубке и что-то спросил у лоцмана.

— Вон, в конце плеса,— ответил тот.

Алымов подошел ко мне.

— Посмотрите, вон Хлопков бугор. Именно здесь моя картина, как я говорил вам, разлетелась вдребезги.

Нос парохода все клонился вправо, и перед нами — черная и грузная — вырастала большая гора, между тем как темная туча, лежавшая за нею, казалось, быстро опускалась книзу... Чуткое эхо торопливо отдавало шум пароходных колес, но когда мы подошли еще ближе — нам был ясно слышен тревожный шорох деревьев. Над нами висела лысая вершина, с которой открывались оба плеса... К таким именно горам народные предания любят приурочивать станы волжских атаманов.

— Здесь вот жил мой Хлопушка. Видите, вон чуть заметно вьется тропа, лес тут пониже. Я был на вершине. Какие-то ямы еще до сих пор сохранились. Видно, было тут в старину какое-то становище, или уже после кладоискатели ископали. Очень меня соблазняли для картины «Два брата», но и это местечко тоже хорошо. А главное, подлинность, дух, так сказать, витает. Стою, бывало, на вершине этой и проникаюсь... Ну, когда вернулся опять на Волгу, сейчас, разумеется, к этим местам. Шатался, то пешком, то в легкой лодке, два раза меня меньшой брат, как человека подозрительного, в становую кварти-

ру представлял... Подлая это тоже черта у меньшого брата — чуть не понял какого-нибудь человека, сейчас волокет к попечительному начальству. Разумеется, тотчас же отпускали с извинениями: «Ах, эти невежи, это они господина Алымова на веревочке привели. Извините, пожалуйста. Как же, читали в «Листке»...» Ну, во время одного из таких приключений схватил какую-то гадость. Сел на пароход в Ставрополе вечером; думаю, отлично — наутро буду в Морщихе, там лодочников найму, подымусь к бугру... А самого знобит, и на душе такая тоска лежит — туча! Ничего, думаю: вот картину начну, и вся эта светотень опять наладится. Не подозреваю, что уж в душе не то солнце светит, и светотени прежней следа не осталось... Еще там, в северных городах, это началось.

Вот плыву по Волге, ночь такая же точь-в-точь, темная, густая, томительная. Жигули точно потонули в чернилах. Зарница вспыхнет, осветит мертвым светом ущелья и горы и опять погаснет... Грустно необыкновенно. В душе ползет что-то, тянет, щемит, не дает покоя. Прошлое затягивает свою песню, будущее темно, и пустота какая-то в глубине... Ехал тут со мной купец царицынский, дубина, ростом в сажень, сила непомерная и столь же непомерная непосредственность. И разразить готов, и обнять согласен, и слезу прольет бог весть о чем, и физиономию ближнему тоже, здорово живешь, испортит. Видит, кручина у человека — выпьем да выпьем. Попробовал я — нет, только еще хуже. Ушел на палубу, скрылся от него на самый нос, сижу в темноте. Вдруг будто меня толкнуло. Зарница вспыхнула, смотрю — место знакомое: лысый бугор, тропочка, лодочка внизу стоит. Ну, вот тут... объясняйте, как хотите... потерянное равновесие, начинавшаяся болезнь, царицынский купец, бенедиктинский ликер... Только все это я видел, как вот вас вижу... Просто стыдно рассказывать.

— Однако.

— Да что! Вспыхнула одна зарница — вижу, стоит вся моя группа на самой вершине... Те-емная вся, мрачная... Осветило ее и погасло. А пароход так и мчится к горе. Помню, хотел капитану крикнуть, чтобы повернул, а уж гора вплоть над головой, вот как теперь. И там вот, на песочке, вижу, суетится кто-то с лодочкой... Режется лодочка по волнам, еще минута — стоит передо мной, как лист перед травой, атаманище. «Ну что

ж, говорит, паренек! Пиши; что ли, атамана Хлопушу... Я самый».

— Что же,— сказал я, смеясь.— Для художника и не нужно лучшего случая. Вы могли разглядеть вашу натуру очень близко.

— То-то вот и есть! Посмотрел я на него и просто плюнул. Харя грубая, сапожки на нем сафьяновые, рубаха шелковая, опоясана повыше брюха, на голове казацкая шапка набекрень, и подковки кудрей из-под шапки лезут. Сила, положим, есть, зарезать готов во всякое время, но мне-то, художнику Алымову, она совсем не сродни... Красота тоже, может быть, есть — опять не моя... «Ты, говорю, подлец, теперь в Лыскове за стойкой стоишь да бурлаков сивухой спаиваешь...» И пошел тут у нас диалог. Капитан после рассказывал: «Удивлялись, говорит, с лоцманами. Сидит барин Алымов на корме, лопочет что-то, руками машет». А это я все Хлопушу отчитывал... «Понимаешь ли ты, сквернец, что весь ты не стоишь моей художественной поэзии... Ведь меня бы, говорю, за тебя, дурака, во всех газетах превознесли, за границу бы тебя повез... Ведь мой вымысел дороже всей твоей дурацкой ватаги...» А он, подлец, стоит, ухмыляется, и с каждым взглядом на эту несуразную фигуру прежние мои представления улетают одно за другим, как вспугнутые птицы... Дальше уж и не помню. Помню — какая-то свалка. Царицынский купец после жаловался: «Я, говорит, его, как доброго человека, в буфет зову, а он меня ка-ак схватит об это место. Звезды из глаз посыпались...» В Самаре прямо в больницу сдали. Горячка!

— Позвольте, однако,— сказал я.— Все это совершенно понятно. Но каким образом болезненный бред мог помешать вам дописать картину, когда вы выздоровели?

— Бред...— сказал он задумчиво.— Нет, я вот и до сих пор от него не могу отделаться... Вы говорите, когда выздоровел! Ну и я также думал. Вернулся домой, растянул большое полотно, осветил, поставил этюды... Думаю, будет уж эскизы собирать, вот у меня все тут: и краски, и формы. С этого эскиза — фигура, с этого — другая, а с третьего — светотень. Вот он утес, вот река, вот пароходище... А потом постоял, постоял перед полотном и спрашиваю себя: «Хорошо, друг мой, художник Алымов. А правда где же? Правда-то, пожалуй, там осталась, в этой ночной галлюцинации... Ведь в самом деле, твои мирские заступники — только стихия...

Били, как гром: в дерево так в дерево, в хижину так в хижину, в хоромы так в хоромы. В хоромы чаще, потому что хоромы выше, а случалось — и с мужика шкуру спускали да солью посыпали. Постой, Алымов, надо с этим делом разобраться. Дай почитаем получше историю». Стал читать, боже мой — какой мрак! Стеньки эти, Булавины, Пугачевы... Ни малейшего проблеска творческой идеи, стихия — и только... И чем больше изучаю, тем больше вся светотень в душе меняется. Отчаяние меня просто взяло. Подойду к полотну, стану краски класть. Нет, не то... Вы знаете, что значит с этюда картину писать? Ведь это нужно опять все возобновить в душе, нужно, чтобы вся эта гамма опять заиграла. Ну а для меня уж это кончено, überwundener Standpunkt [1], все стало иное. Смотрю на пароход и думаю: а ведь это культура на подлеца — Хлопушу идет. Смотрю на бурлаков — надо же было когда-нибудь прекратить это безобразие. На Хлопушу взгляну — так шельмецу и надо. Не крикнешь теперь «сарынь на кичку!». Одним словом, все по-иному вижу... А по-иному — значит, и начинать надо сызнова... Опять этюды, опять осколки, а зеркало все-таки... разбито!

Мы помолчали... Пароход давно обогнул мыс, и Хлопков бугор затянулся густою мглой. В воздухе заметно светлело.

— Метался я после этого довольно долго. Бродил по Волге, смотрел и слушал, рисовал и записывал, в архивах рылся... Все хотелось этот образ восстановить. Не Хлопушу, разумеется, черт с ним. А тот, другой, великий образ, который мы все-таки любили. Нет! Мелькают какие-то черты и тотчас исчезают. А между тем и кругом уже эта тревога становится заметнее: ссора с меньшим братом все разгоралась... Арена пустела, пустела, да так и остается пустой... Иногда мне кажется, что и будет она пустой до тех пор, пока так или иначе мы вновь не определим своих отношений к меньшому брату на каких-нибудь твердых основаниях... Ну, да ведь это еще долго?

Он резко поднялся и стал ходить по палубе, изредка подходя к лоцманам. Он задавал им какие-то вопросы, но порой отходил, не получая ответа. Вообще, было видно, что его что-то беспокоит и раздражает. Наконец он опять замурлыкал свою песню:

В той ли лодочке, как лебедушка...

---

[1] Пройденный этап *(нем.)*.— *Ред.*

Потом сел, опустил голову, надвинул шляпу, и на некоторое время у нас на палубе водворилось полное молчание...

IX

Сонный капитан вдруг привстал в рубке, и свисток, гулкий и как будто охрипший за ночь, прокатился над Волгой. Назади его лениво повторило эхо Жигулей, но впереди виднелся уже широкий разлив; с одной стороны освободившийся от гор над низким темным крутояром стоял звездочкой фонарь на рейке, над пристанью, а другой огонек покачивался внизу, как маятник. Пароход поворачивал к Ставрополю. Впрочем, город от реки далеко, и одинокая пристань ютилась под пустынным обрывом. На берегу стояли две тройки. Поджарые лошади рисовались странными силуэтами на темном еще небе... По мосткам сошли только двое пассажиров. Это был человек в шведской куртке и его спутница, севшие на пароход вместе с Алымовым. Алымов подошел к перилам и крикнул:

— До свиданья, господа.

Оба оглянулись. Человек в шведской куртке кивнул головой, девушка поклонилась приветливо и радушно. Еще через минуту мостки сняли, в темную воду шлепнулась тяжелая чалка, и пароход отделился от пристани. Скоро самая пристань исчезла в темноте, только некоторое время доносилось треньканье колокольчика. Вдоль берега трусила одинокая тройка...

— Это ваши знакомые? — спросил я у Алымова, задумчиво вглядывавшегося в темноту.

— Да, знакомые,— ответил он.— И тоже имеют к меньшому брату немалые иски. Вы помните деревушку, мимо которой мы прошли ночью?

— Морщиха?

— Да, Морщиха. Он прожил там три года, все стараясь перетащить ее из семнадцатого столетия в двадцатое. Ну а вот теперь и его картина разлетелась вдребезги. Эту историю я вам теперь рассказывать не стану, поздно. Может быть, когда-нибудь сам опишу ее в «Н-ском листке», если пропустит губернская цензура. Да, впрочем, вы легко себе это представите... Одно знаю наверное: в душе у этого человека такая в настоящую минуту вражда к меньшому брату — просто буря!

— Вольно же,— сказал я,— строить воздушные замки.

Алымов резко повернулся.

— Да, воздушные замки. Правда! Он хотел для начала завести общественную потребительную лавку, а она — школу. И решили, когда эти две ступеньки будущего рая в Жигулях осуществятся,— они устроят и свое гнездо, слившись с морщихинским народом. Смешно? Положим. А почему, позвольте спросить, мне не строить воздушных замков, если я это делаю на собственный счет и страх и из собственного материала? Вправе ли кто бы то ни было прийти и разрушить мои замки только потому, что я не хожу в баню, как все, по субботам, и жить хочу на свой лад?

— Конечно.

— То-то конечно! А семнадцатое столетие этого не понимает. Умиляться за это перед ним?

Г-н Алымов был, видимо, не в духе.

Над Волгой занималось утро, мглистое и туманное. Над самой рекой стлался тонкий пар, под которым шевелились волны, белые как молоко. Несколько уток, вспугнутых шумом колес, потянулись низко, оставляя длинный след, как будто они прилипли к воде или запутались крыльями в туманной паутине. Несколько ворон грузно пронеслись в вышине и исчезли назади, направляясь к оставленным нами Жигулевским горам. Алымов лениво проводил их потускневшими глазами.

Вдруг из-за дальнего облака, сзади, упали первые лучи, расцвечивая туман и воду и выступы берега. Казалось, от них пар сразу заколебался, река ожила, и даже шум парохода стал бодрее и сознательнее.

— Как хорошо,— сказал Алымов, потягиваясь, и лицо его опять оживилось улыбкой.— Как хорошо! И что еще нужно? Нет, кончено!

— Что именно?

— Все эти сложные истории... Выселяю из души меньшого брата. Не платит за постой! Что, в самом деле, я дворянин и художник... Адвокатуру тоже по боку: в гражданских делах — грязь, да и не смыслю; уголовные — баловство и притом мешают чистоте впечатлений... Полный переворот в жизни. Раскрою глаза и душу навстречу одним нейтральным впечатлениям. Ах как хорошо! Спокойствие, благодать! Светит солнце, блещет река, горы в дымке, барочка качается, даль широкая, красивая, свободная, чайка над водой вьется, крылом задевает... И я та же чайка. Летаю себе, без заботы... Вечное, чистое, святое искусство! Художник

Алымов раскрывает тебе навстречу свои объятия. Вы, кажется, смеетесь?

— Нет, мне показалось, что смеялись вы.

— Нисколько! Только так и можно что-нибудь сделать. За пейзаж возьмусь, каждый год у передвижников стану выставлять по десятку картин. Они, кажется, тоже от меньшого брата уже избавились. Человек — только украшение природы. Красивое пятно на превосходном фоне. Что мне, наконец, до него за дело? Хорош он, дурен, мудрец, кретин, идиот, подвижник... Ну и отлично. А солнце-то одинаково на нем свои блики кладет... Вы не согласны?

— Да нет же, сделайте одолжение.

— Да-с! Будет! Исцелиться хочу, уродство из себя выгнать... Песня, давайте мне звуки, положил на ноты, гармонию уловил — спокоен! Увидел розовый закат — на полотно! Пожалуйте дальше. Баба на коленях стоит, плачет и молится... Какими мускулами пользуется для выражения экстаза? Больше ничего знать не хочу! Что там такое с ней, кому молится, о чем, дойдет ли молитва, или не по адресу направлена, может быть, по невежеству к святой Пятнице обращается? Не мое дело! Я художник и столбовой дворянин, Ксенофонт Ильич Алымов. Возвращаюсь в свою среду и отдаюсь свободному влечению художественной натуры. Конец романтизму... Красоту мне нужно и ничего более... Что вы говорите?

— Ничего.

— А думаете?

— Я думаю, что у вас именно это и выйдет тенденциозно...

Алымов резко отвернулся.

— Пора спать,— сказал он сердито.

Сходя вниз, я на мгновение остановился на площадке. Солнце гнало туман, и назади, точно вырезанный, стоял последний из Жигулей, Сторожевой бугор, смело отбежавший от остальной стаи.

Капитан тоже уходил с ночного дежурства и крестился на подымающееся над Жигулями солнце.

X

Поднявшись часа через три, я не увидел Алымова в каюте. Оказалось, что он, бледный, с застывшим лицом, сидел на верхней площадке со своим походным

ящиком. Перед ним на боковом мостике, в мундире с медными пуговицами, в фуражке с галунами, в ослепительно белой манишке и с рупором в руке стоял капитан, позировавший для обещанного портрета. На его полном, лоснящемся лице застыло выражение торжественной неподвижности. В будке дежурил молодой помощник. Лоцмана не глядели на своего начальника и, по-видимому, молчаливо порицали его тщеславие.

Через некоторое время лицо капитана побагровело, в глазах проглядывало характерное выражение мучительной неподвижности.

Алымов спокойно взглядывал на него, брал с палитры краску, и лицо на его полотне тоже багровело. Потом он пробегал по всему полю картины, и на ней то вспыхивали пуговицы, то проступала складка, то начинал сверкать золоченый рупор. Затем тяжелый взгляд Алымова опять останавливался на лице бедной жертвы, которое к этому времени багровело еще больше. Сходство было поразительное — но казалось, что еще немного, и с моделью случится удар.

— Вы, кажется, начинаете осуществлять свою вчерашнюю программу,— сказал я, улыбнувшись.

Алымов очнулся и застыдился.

— Благодарю вас, Степан Евстигнеевич,— сказал он,— дома я докончу и пришлю вам.

— Можно взглянуть? — радостно спросил освобожденный капитан.

— Нет, после,— ответил Алымов, укладывая этюд в ящик и уходя вниз. Через несколько минут из люка показалась ночная незнакомка, а за нею, с оживленной улыбкой, с какой-то шуткой, только что сорвавшейся с губ, опять вышел Алымов. Он держал себя как старый знакомый, только возобновляющий давнюю фамильярность. Дама принимала это с той свободой, какая дается пароходными условиями среди встречных людей, до которых нет дела.

Между ними завязывалась какая-то искрящаяся перестрелка, и эскиз мимолетной любви набрасывался, по-видимому, бойкими, уверенными штрихами.

Впереди показался караван барок. Высокие, стройные, вытянувшиеся в линию мачты покачивались в синем небе, барки быстро сплывали навстречу.

— Это караван Чернобаева? — спросил Алымов у капитана.

— Его.

— Крикните, пожалуйста, лодку.

— Уходите?

— Да. Мне тут нужно Селиверстова, водолива.

Пароход задержали, вызвали лодку, и через несколько минут светлая шляпа Алымова виднелась на барке, а матросы подавали ему его ящики. Вскоре барки скрылись из виду, увозя моего беспокойного соседа.

— Что за странный человек! — говорила красивая дама, прохаживаясь теперь под руку со стройным седым господином в судейской форме.

— Да, странный. Адвокат и художник.

— Хороший?

— Как вам сказать? Мы, прокуроры, его боимся. В нем есть какая-то особенная непосредственность, действующая на присяжных. Впрочем, в нашем мире он считается дилетантом. Его картин я не видел, но они пользуются некоторой известностью. Его портреты иногда, говорят, превосходны.

В рубке тоже говорили об Алымове.

— Всегда так — появится нивесть откуда и вдруг пропадет,— сказал молодой помощник.

— Какого только народу нет у белого царя,— прибавил с своей стороны лоцман, но тотчас же оба насторожились.

За поворотом мы увидели неожиданно вчерашнего соперника — «Коршуна». В Ставрополь он пришел раньше, но там, видимо, перегрузился и теперь шел тяжело, точно под ним была не вода, а патока.

— Ишь, насосался,— радостно сказал помощник и, нагнувшись к трубе, скомандовал:

— Прибавь!

«Стрела» дрогнула. Опять начиналась вчерашняя гонка, и все, что я видел и слышал ночью, казалось мне теперь странным сном.

XI

Прошло несколько лет. Мне часто приходилось вспоминать г-на Алымова, так как то, что он называл ссорой с меньшим братом, продолжалось. Прошел голодный год с беспримерными толками о коварстве и развращении народа. Прошла холера с дикими стихийными вспышками — и доставила старшему брату, поспешившему с помощью и состраданием, еще несколько весьма

основательных поводов для иска к младшему... Областная полуизвестность Алымова, как ее называл он сам, за это время все росла. У передвижников он выставлялся, положим, редко, но говорили, что адвокатуру бросил. Затем его имя то и дело появлялось на страницах газет, и с этим именем связывалось представление о человеке беспокойном и беспокоящем. Наконец судьба опять столкнула меня с ним — и опять случайно.

Сильные дожди задержали меня к ночи на одной из волжских пристаней. Мне нужно было на станцию железной дороги, но говорили, что ливнями снесло мосты и размыло проселки. Пришлось поневоле ночевать.

Вечер был теплый, и хотя дождь не переставая поливал темную реку, барабанил по крыше, но на пристани окна были открыты. В одно из них неслся густой гул голосов. Там была компания, возвращавшаяся со съезда, и разговор шел об одном громком деле, сильно занимавшем общественное мнение. По-видимому, все были согласны, оппонировал только один голос, что-то мне смутно напоминавший.

— Вспомните холеру! — кричали одни.

— Вспомните убийство колдунов!

— Знаем мы вашего меньшого брата.

— Бросьте, господа, давайте в карты!

Хлопнула дверь, кто-то вышел из общей каюты и прошел несколько раз мимо моего окна, под навесом пристани, а затем уселся на скамье, вероятно любуясь величавой картиной дождя на широкой темной реке. Через некоторое время из темноты до меня донесся знакомый мотив. Мне сразу вспомнилась «Стрела» и ночь в Жигулях.

— Ксенофонт Ильич,— окликнул я, высовываясь в окно.

Он вздрогнул и приподнялся.

— Почему вы меня узнали? Я вас не могу узнать в темноте,— спросил он.

— По вашей песне.

— А! не правда ли, чудесная песня! Жемчужина,— говорил он, входя в комнату.— И главное, кажется, подлинная: еще в двадцатых годах пели балахнинские солевары. А, вот это кто! Помню, помню. «Стрела», Жигули, капитан Евстигнеич и ночной разговор?

Он весело засмеялся знакомым мне смехом.

— Вы опять о чем-то спорили?

— А все об этом известном деле... Черт знает, как

легко верят теперь всякой нелепости, если она касается мужика. В прежние времена вся печать поднялась бы на защиту... А теперь!.. Мы забываем даже о простой юридической справедливости. А вот собирались написать картины.

— Да, кстати, как ваши картины?

— Теперь — напишу, непременно. Вот только с этим проклятым процессом разделаюсь... Вот вы увидите, вот увидите. Однако постойте, кажется, пароход...

Действительно, по темной реке надвигалась на пристань кучка огней, и гулкий свист огласил воздух.

— Напишу, непременно,— кричал мне Алымов через пять минут, махая шляпой с галереи отвалившего парохода.— Вот только с этим делом... Такая картина, я вам скажу!..

Пароход тихо отвалил от пристани.

1896

«НЕОБХОДИМОСТЬ»

Восточная сказка

I

Однажды, когда три добрых старца — Улайя, Дарну и Пурана — сидели у порога общего жилища, к ним подошел юный Кассапа, сын раджи Личави, и сел на завалинке, не говоря ни одного слова. Щеки этого юноши были бледны, глаза потеряли блеск молодости, и в них сквозило уныние.

Старцы переглянулись между собою, и добрый Улайя сказал:

— Послушай, Кассапа, открой нам, трем старцам, желающим тебе добра, что угнетает с некоторых пор твою душу. Судьба с колыбели окружила тебя своими дарами, а ты смотришь так же уныло, как последний из рабов твоего отца, бедный Джевака, который еще вчера испытал на себе тяжесть руки вашего домоправителя...

— Бедный Джевака показывал нам рубцы на своей спине,— сказал суровый Дарну, а благодушный Пурана прибавил:

— И мы еще хотели обратить твое внимание, добрый Кассапа...

Но юноша не дал ему говорить. Он вскочил со своего места и сказал с нетерпением, какого прежде в нем не замечали:

— Замолчите, благодушные старцы, с вашими лукавыми упреками! Вы полагаете, очевидно, что я обязан ответить вам за каждый рубец на спине раба Джеваки, нанесенный домоправителем. А я сильно сомневаюсь, обязан ли я отвечать даже за свои собственные поступки.

Старцы опять переглянулись, и Улайя сказал:

— Продолжай, сын мой, если тебе угодно.

— Угодно? — перебил юноша с горьким смехом.— В том-то и дело, что я не знаю, угодно ли мне что-нибудь или нет. И мне ли угодно то, что я хочу, или это хочет кто-то другой за меня.

Он замолчал. Было совсем тихо, только ветер шевельнул верхушку дерева, и один листок упал к ногам Пураны. Пока Кассапа следил за ним унылым взором, от разогретой солнцем скалы оторвался камень и скатился вниз, к берегу ручья, где в это время отдыхала большая ящерица... Каждый день в этот час она выползала сюда и, приподнявшись на передние лапы, закрыв веками выпуклые глаза,— казалось, слушала мудрую беседу старцев. Можно было подумать, что в зеленом теле была заключена душа какого-нибудь мудрого брамина. На этот раз камень освободил эту душу из ее зеленой оболочки для новых превращений...

Горькая усмешка прошла по лицу Кассапы.

— Ну вот, благодушные старцы,— сказал он,— спросите у этого листка, угодно ли было ему сорваться с ветки, или у камня — по своей ли воле он отделился от скалы, или у ящерицы — угодно ли ей было очутиться под камнем? Время назрело, листок упал, ящерица не услышит больше ваших бесед. Вот все, что мы знаем, и иначе быть не могло. Или вы скажете, что это должно и могло быть иначе, чем было?

— Не могло,— ответили старцы.— Что было, то должно было быть в общей связи событий.

— Вы сказали. Ну вот и рубцы на спине Джеваки должны были быть в общей связи событий, и каждый из них начертан от века в книге необходимости. А вы хотите, чтобы я — такой же камень, такая же ящерица, такой же листок на общем стволе жизни, такая же вот ничтожная струйка в этом ручье, увлекаемом неведомою силою от истока к устью... Вы хотите, чтобы я боролся с силой потока, который несет и меня самого...

Он толкнул ногою окровавленный камень, который упал в воду, и опять опустился на завалинку, рядом с добрыми старцами. И глаза Кассапы опять стали тусклы и печальны.

Старец Дарну молчал, старец Пурана покачал головою; только веселый Улайя засмеялся и сказал:

— В книге необходимости, очевидно, начертано также, чтобы я рассказал тебе, Кассапа, что случилось некогда с двумя старцами Дарну и Пураной, которых ты видишь перед собою... И в той же книге начертано, чтобы ты выслушал эту историю.

И он рассказал о своих товарищах следующую странную историю, которую те слушали с улыбкой, ничего не подтверждая и не отрицая.

II

— В стране,— говорил он,— где цветет лотос и священная река катит свои воды, не было браминов, более мудрых, чем Дарну и Пурана. Никто не изучил шастры лучше, и никто не погружался глубже в древнюю мудрость вед. Но когда оба достигли пределов жизненного лета и вьюга близкой зимы коснулась их волос своими снежинками — оба все еще были недовольны собою. Годы уходили, могила становилась все ближе, а истина, казалось, уходила все дальше...

Тогда оба, зная, что отдалить могилу невозможно, решили приблизить к себе истину. Дарну первый надел одежды странника, привесил к поясу тыкву с водой, взял в руки посох и отправился в путь. После двух лет трудных скитаний он пришел к подножию высокой горы и на одном из ее уступов, на высоте, где свободно ночуют облака, увидел развалины храма. Невдалеке от дороги, на лугу, пастухи сторожили стада, и Дарну обратился к ним с вопросом: что это был за храм, какие люди и какому богу приносили здесь жертвы?

Но пастухи только глядели на гору и на спрашивавшего Дарну, не зная, что ответить страннику. Наконец они сказали:

«Мы, жители долин, не знаем, что ответить тебе. Но у нас есть старый пастух Ануруджа, который издавна пас свои стада на этих возвышенностях. Может быть, он знает».

И они позвали этого старика.

«Я тоже не могу сказать тебе,— сказал он,— какие именно люди, и в какое время, и какому богу приносили там свои жертвы. Но мой отец слышал от моего деда и передавал мне, будто прадед мой рассказывал, что по склонам этих гор жило когда-то племя мудрецов, которые все погибли с тех пор, как воздвигли этот храм. А звали этого бога — Необходимость...»

«Необходимость? — с живостью воскликнул Дарну.— А не знаешь ли ты, добрый отец, какой вид имело это божество и не живет ли оно еще в этом храме?»

«Мы люди простые,— ответил опять старик,— и нам трудно ответить на твои мудрые вопросы. В молодости — а это было очень давно — я пас стада на этих склонах. В то время там стоял еще идол из черного блестящего камня. Изредка, когда поблизости меня застигала гроза,— а грозы очень страшны в этих ущельях,— я загонял свое стадо под защиту старого храма. Случалось нередко, что туда же, дрожащая и испуганная, вбегала Ангапали, пастушка соседнего горного склона. Я согревал ее в своих объятиях, а старый бог глядел на нас, странно улыбаясь. Но он никогда не делал нам никакого зла, может быть потому, что Ангапали убирала его всякий раз цветами. Говорят, однако...»

И пастух остановился, глядя с сомнением на Дарну и как будто стыдясь продолжать рассказ при нем.

— Что же говорят? Доскажи, добрый человек, до конца,— попросил мудрец.

— Говорят, будто не все поклонники старого бога погибли... Иные из них разбрелись по свету... И вот иногда, правда редко, они приходят сюда, спрашивают, как и ты, дорогу к храму и идут туда вопрошать старого бога. Таких он обращает в камень. В храме старикам случалось видеть какие-то столбы или изваяния, имевшие подобие сидящего человека, обильно повитые повиликой и другими вьющимися растениями. На некоторых птицы вили свои гнезда. Потом они постепенно превращались в прах.

Дарну глубоко задумался над рассказом. Не теперь ли, думалось ему, я близок к цели? Ибо известно, что «кто, подобно слепому, не видит, подобно глухому, не слышит, подобно древу, бесчувствен и недвижим, о том знай, что он достиг покоя и познания».

И он обратился к пастуху:

«Друг мой, укажи мне дорогу к храму».

Пастух исполнил его просьбу, и, когда Дарну стал бодро подниматься по заросшей тропе,— он долго смотрел вслед мудрецу и сказал, наконец, обращаясь к своим молодым товарищам:

«Назовите меня не старейшим из пастухов, а самым юным из сосущих еще баранов, если старый бог не получит скоро новой жертвы. Наденьте на меня ярмо, как на быка, или навьючьте меня, как осла, разными тяжестями, если в старом храме не прибавится нового каменного болвана!..»

Пастухи с почтением выслушали старца и разбрелись по пастбищам. И опять в долине мирно паслись стада, пахарь ходил за своим плугом, светило солнце, спускались ночи, и люди предавались своим заботам, не думая больше о мудром Дарну. Но через малое время — несколько дней или больше — новый странник стоял у подножия горы и опять спрашивал о храме. Когда же и он, воспользовавшись указанием пастуха, стал весело подыматься на гору, то старик покачал головой и сказал:

«Вот и другой».

Это был Пурана, который шел по следам мудрого Дарну, думая про себя:

«Пусть не скажут, что Дарну нашел истину, которой не мог отыскать Пурана».

III

Дарну поднялся на гору.

Путь был труден. Видно было, что нога человека редко ступала по заросшим тропам, но Дарну бодро преодолевал все препятствия и наконец подошел к полуразвалившимся воротам, над которыми виднелась древняя надпись: «Я Необходимость, владычица всех движений»... На стенах не было других изваяний или украшений, кроме обломков каких-то цифр и таинственных вычислений...

Дарну вошел в святилище. От старых стен веяло покоем разрушения и смерти. Но и самое разрушение, казалось, уже застыло, оставив в покое самые изломы стен, насчитывавших многие столетия. В одной стене была обширная ниша; несколько ступеней вели к алтарю, на котором стоял идол из черного блестящего камня и странно улыбался, глядя на картину запустения.



А внизу пробивался ручей, наполнявший чуткую тишину шепотом своих струек; несколько пальм питали свои корни его влагой и тянулись к синему небу, свободно глядевшему через разрушенную крышу...

Дарну невольно поддался странному очарованию этого места и решил вопросить таинственное божество, веянием которого, казалось, был еще полон разрушенный храм. Зачерпнув воды из холодного ручья и подняв несколько плодов, которые обильно роняла с своей вершины старая смоковница, мудрец начал свои приготовления по всем правилам, начертанным в книгах созерцания. Прежде всего он сел против идола, поджавши ноги, и долго глядел на него, стараясь запечатлеть в уме его образ. Потом, обнажив свой живот, устремил взоры на то место, где некогда его, еще не рожденного, пуповина связывала с утробой матери. Ибо известно, что между бытием и небытием вмещается все познаваемое, и отсюда должны возникать откровения созерцаний...

В таком положении застал его закат первого дня и восход второго. Потом знойный полдень еще несколько раз сменялся прохладой вечера, и тени ночи уступали свое место солнечному свету — а Дарну все сидел в том же положении, лишь изредка протягивая тыкву за водой или бессознательно поднимая плод. Глаза мудреца потускли и остолбенели, члены отекли. Сначала он чувствовал неудобства неподвижности и боль. Потом эти ощущения ушли куда-то в глубину бессознательного, а перед застывшим взором мудреца иной мир, мир созерцания стал развертывать свои странные видения и образы. Они уже не имели никакого отношения к тому, что испытывал созерцающий мудрец. Они были бескорыстны, безотносительны, довлели только себе, и, значит, в них готовилась открыться истина...

Трудно сказать, сколько времени прошло таким образом. Вода в тыкве уже высохла, пальма тихо шевелила листвой, рдеющие плоды срывались и падали у самых ног мудреца, но он оставлял их лежать на земле. Он уже почти освободился от жажды и голода. Его уже не грело полуденное солнце и не охлаждала свежесть ночи. Наконец он перестал отличать дневной свет от ночного мрака.

Тогда перед внутренним взором Дарну явилось давно ожидаемое откровение. Из его живота стал расти зеленый ствол бамбука и завершился узлом, как обыкно-

венный тростник. Из узла выросло следующее колено и так, поднимаясь кверху, ствол вырастал до пятидесятого колена, что соответствовало числу лет мудреца. На самой верхушке, вместо листа и соцветия, воссело нечто, имевшее образ идола, стоявшего в храме. И это нечто смотрело на Дарну с злою насмешкой.

«Бедный Дарну,— сказало оно наконец.— Зачем, с таким трудом, пришел ты сюда? Что тебе нужно, бедный Дарну?»

«Я ищу истину»,— ответил мудрец.

«Так смотри на меня, я то — что ты искал. Но я вижу, что взору твоему я неприятно и противно».

«Ты непонятно»,— сказал опять Дарну.

«Слушай, Дарну. Ты видишь пятьдесят колен тростника».

«Пятьдесят колен тростника — мои годы»,— сказал мудрец.

«А я восседаю на их вершине, потому что я Необходимость, владычица всяких движений. Все творения, все дыхания, все существующее, все живущее — немощно, бессильно, безвластно; под влиянием необходимости достигает оно цели своего бытия, которое есть смерть. Это я управляла всеми пятьюдесятью коленами твоей жизни от колыбели до настоящего мгновения. Ты не сделал ничего во всю твою жизнь: ни одного доброго и ни одного злого дела... Ты не подал ни одной лепты нищему в порыве сожаления, не нанес ни одного удара в злобе своего сердца... ты не вырастил ни одной розы в монастырском саду и не срубил ни одного дерева в роще... ты не вскормил ни одного животного и не убил ни одного комара, сосущего твою кровь... Ты не сделал ни одного движения во всю твою жизнь, которое не было бы вперед рассчитано мною... Потому что я — Необходимость... Ты гордился своими поступками или погружался в глубокое раскаяние о своем грехе. Твое сердце трепетало от любви или от злобы, а я — я смеялась над тобою, потому что я — Необходимость, и все было предписано мною. Когда ты выходил на площадь, чтобы учить таких же глупцов, что они должны делать и чего избегать,— я смеялась и говорила себе: вот сейчас мудрец Дарну провозгласит свою мудрость наивным глупцам и поделится своею святостию с грешниками. И это не потому, что Дарну мудр и свят, а потому, что я, Необходимость, подобна потоку, а Дарну подобен листу, который увлекается потоком. Бедный Дарну, ты думал, что тебя привело

сюда искание истины... А между тем на этих стенах среди моих вычислений записан день и час, когда ты переступил этот порог. Потому что я — Необходимость... Бедный мудрец!»

«Ты мне противна»,— сказал мудрец с отвращением.

«Знаю. Потому что ты считал себя свободным, а я — Необходимость, владычица твоих движений».

Тогда Дарну рассердился, схватил все пятьдесят колен тростника, изломал их и отбросил далеко от себя.

«Так,— сказал он,— поступаю я со всеми пятьюдесятью коленами своей жизни, потому что все пятьдесят лет я был лишь игралищем Необходимости. Теперь я освобождаюсь, потому что я узнал ее, и хочу скинуть ее ярмо».

Но Необходимость, невидимая во мраке, окружавшем тусклые взоры мудреца, засмеялась и сказала опять:

«Нет, бедный Дарну, ты все-таки мой, потому что я — Необходимость».

Тогда Дарну с трудом открыл глаза и сразу почувствовал, что ноги у него отекли и болят. Он хотел подняться, но тотчас же опять опустился. Потому что теперь смысл всех надписей в храме стал для него ясен, и стали ясны все вычисления. И как только он захотел расправить свои члены, он увидел, что его желание уже записано на стене.

И ему послышался, как бы из другого мира, голос Необходимости:

«Ну что же, подымись, бедный Дарну, ведь у тебя отекли члены. Ты видишь: 999 998 из тьмы твоих братьев делают это. Это — *необходимо*».

Дарну с досадой остался в прежнем положении, которое теперь причиняло ему еще более страдания. Но он сказал себе: я буду тем одним из тьмы, который не подчинится необходимости, потому что я — свободен.

Между тем солнце поднялось на средину неба и, заглянув в отверстие кровли, стало сильно жарить его плохо защищенное тело. Дарну протянул руку к своей тыкве.

Но тотчас же он увидел, что и это записано на стене в числе 999 998, а Необходимость опять сказала:

«Бедный мудрец, тебе *необходимо* напиться».

И Дарну оставил тыкву на месте, сказав:

«Не стану пить, потому что я свободен».

Кто-то опять засмеялся в отдаленном углу храма,

а в это время один из плодов на смоковнице отяжелел и упал у самой руки мудреца. И тотчас же на стене изменилась одна цифра... Дарну понял, что это — новое покушение Необходимости на его внутреннюю свободу.

«Не стану есть,— сказал он,— потому что я свободен».

И опять кто-то засмеялся в глубине храма, а в журчании ручья ему послышалось:

«Бедный Дарну!»

Мудрец окончательно рассердился. Он оставался недвижим, не глядя на плоды, от времени до времени срывавшиеся с веток, не слушая соблазнительного журчания воды, и все только твердил про себя одно слово: я свободен, свободен, свободен! И чтобы плод как-нибудь, вопреки его свободе, не попал ему в рот, он сжал его и крепко стиснул зубы.

Так он сидел долго, освободившись от голода и жажды и стараясь распространить на все четыре страны света уверенность в своей внутренней свободе. Он исхудал, он высох, он одеревенел, он потерял меру времени и пространства, он не различал дня и ночи и все твердил про себя, что он свободен. По истечении некоторого времени птицы, свыкшиеся с его неподвижностью, прилетали и садились на него, а потом пара диких горлиц устроили себе гнездо на голове свободного мудреца и беззаботно вывели детей в складках его тюрбана.

«О, глупые птицы! — думал мудрый Дарну, когда сначала воркование супругов, а потом писк птенцов достигал до его сознания...— Все это они делают потому, что не свободны и подчиняются законам необходимости». И даже когда плечи его стали покрываться налетом птичьего помета — он опять говорил себе:

«Глупые! И *это* тоже они делают потому, что не свободны».

Себя же он почитал свободным в высочайшей степени и даже близким к богам.

Снизу, из почвы, потянулись тонкие стебельки ползучих растений и стали обвивать его неподвижные члены...

IV

Раз только мудрый Дарну был отчасти выведен из полной бессознательности и даже ощутил где-то в отдаленном уголке души чувство легкого изумления.

Это было вызвано появлением мудреца Пураны.

Мудрец Пурана, точь-в-точь как и Дарну, подошел к храму, прочитал надпись над входом и, войдя внутрь, стал рассматривать начертание на стенах. Мудрец Пурана мало походил на своего сурового товарища. Он был благодушен и круглолиц. Средина его туловища представляла округленности, приятные для взгляда, глаза светились, а губы улыбались. В своей мудрости он никогда не был строптив, как Дарну, и искал скорее блаженного покоя, чем свободы.

Обойдя храм, он подошел к нише, поклонился божеству и, увидев ручей и смоковницу, сказал:

«Вот божество с приятной улыбкой, а вот ручей сладкой воды и смоковница. Что еще нужно человеку для приятного созерцания? А вот и Дарну. Он уже блажен до такой степени, что птицы вьют на нем свои гнезда...»

Вид мудрого товарища был не особенно радостен, но Пурана, с благоговением поглядев на него, сказал себе:

«Без сомнения, он блажен; но он всегда прибегал к слишком суровым способам созерцания. Я же воздержусь от высших степеней блаженства и надеюсь рассказать землякам то, что увижу на ступенях низших».

И затем, обильно насладившись питьем и самыми сочными плодами, он уселся поудобнее, невдалеке от Дарну, и тоже приступил к приемам созерцания, согласно правилам: то есть обнажив живот и устремив взгляд на то же место, как и первый мудрец.

Так проходило время, медленнее, чем у Дарну, потому что благодушный Пурана нередко прерывал созерцание, чтобы освежиться водой и сочными плодами. Но, наконец, из чрева второго мудреца тоже поднялся ствол бамбука и тоже завершился пятьюдесятью коленами, соответствовавшими годам его жизни. На вершине опять воссела Необходимость, но ему в тумане полубытия казалось, что она приятно улыбается, и он отвечал ей не менее приятными улыбками.

«Кто ты, о приятное божество?» — спросил он.

«Я — Необходимость, управлявшая всеми пятьюдесятью коленами твоей жизни... Все, что ты делал, делал не ты, а я, ибо ты не более как листок, уносимый потоком, а я владычица всех движений».

«Будь же благословенна,— сказал Пурана,— я вижу, что недаром пришел к тебе. Продолжай и на буду-

щее время исполнять свое дело за себя и за меня, а я в приятном созерцании буду наблюдать за тобою».

И он погрузился в дремоту, с блаженною улыбкою на устах. Так продолжал он свое приятное созерцание, от времени до времени протягивая тыкву к воде или подымая плод, упадавший к ногам. Но каждый раз он делал это с меньшим удовольствием, так как созерцательная дремота одолевала его все сильнее, а ближайшие плоды были уже съедены, и чтобы достать их с дерева, нужно было делать усилия.

Наконец однажды он сказал себе:

«Я суетный человек, слишком удалившийся от истины, и потому предаюсь суетным заботам. Не оттого ли доброе божество не торопится со своими откровениями? Вот передо мною на дереве зрелый плод, а мой желудок пуст... Но разве закон необходимости не гласит: где есть голодный желудок и где есть плод — последний необходимо влечется к желудку... Итак, о добрая Необходимость, я отдаюсь твоей власти... Не в этом ли высшее блаженство?»

И вот он погрузился уже в полное созерцание, как и Дарну, и стал ждать, пока необходимость осуществит себя сама. А чтобы несколько облегчить ей задачу, он раскрыл свой рот по направлению к смоковнице...

Он ждал день, другой и третий... Постепенно улыбка застывала на его лице, тело исхудало, исчезла приятная округлость стана, жир под его кожей истощился и из-под нее выступили сухожилия. Когда наконец время плода приспело и он упал, ударив Пурану по носу,— то мудрец уже не слышал падения и не ощутил удара... Другая пара горлиц свила гнездо в складках его тюрбана, в гнезде скоро защебетали птенцы, и плечи Пураны обильно покрылись птичьим пометом. Когда же буйная поросль перекинулась также на него, то вскоре нельзя уже было отличить Пурану от его товарища — строптивого мудреца, боровшегося с Необходимостью, от мудреца благодушного, который ей всецело покорился.

И в храме водворилась полная тишина, среди которой блестящий идол смотрел на обоих мудрецов со своей загадочной и странной улыбкой.

Срывались и падали плоды с деревьев, журчал ручей, белые облака проносились по синему небу, заглядывая во внутренность храма, а мудрецы все сидели без признаков жизни — один в блаженстве отрицания, другой в блаженстве подчинения Необходимости...

V

Вечная ночь уже распростерла над обоими свои черные крылья, и никто из живущих никогда не узнал бы, какая истина являлась двум мудрецам на вершине пятидесяти колен тростника... Но прежде чем угас последний луч, светившийся в сумерках сознания мудрого Дарну, ему все-таки опять послышался прежний голос: Необходимость смеялась в наступающем мраке, и этот хохот, молчаливый и беззвучный, пронизал Дарну предчувствием смерти...

«Бедный Дарну,— говорило неумолимое божество,— жалкий мудрец! Ты думал уйти от меня, ты надеялся скинуть мое ярмо и, превратившись в неподвижный чурбан, купить этим сознание внутренней свободы...»

«Да, я свободен,— мысленно ответил упрямый мудрец.— Я один из тьмы твоих слуг не исполняю заветов необходимости...»

«Смотри же сюда, бедный Дарну...»

И внезапно перед внутренним взором его открылся опять смысл всех надписей и всех вычислений на стенах храма. Цифры тихо изменялись, росли или убывали сами собою, и одна из них особенно привлекла его взоры. Это была цифра 999 998... И пока он смотрел на нее, внезапно еще две единицы пали на стену, и длинный итог стал тихо превращаться. Дарну внутренно содрогнулся, а Необходимость опять засмеялась.

«Понял ли ты, бедный мудрец? На сто тысяч слепых моих слуг всегда приходится один упрямец, как ты, и один ленивец, как Пурана... И вы пришли сюда оба... Привет вам, мудрецы, завершающие мои вычисления...»

Тогда из потускневших глаз мудреца выкатились две слезинки, тихо покатились по иссохшим щекам и упали на землю, как два зрелых плода с древа его долголетней мудрости.

А за стенами храма все шло по-старому. Светило солнце, веяли ветры, люди в долине предавались заботам, в небе набирались тучи... Проходя над горами, они отяжелели и обессилели. В горах разразилась гроза...

И опять, как это бывало в старые времена,— глупый пастух соседнего склона пригнал свое стадо, а с другой стороны пригнала свое стадо юная и глупая пастушка. Они встретились у ручья и ниши, из которой на них глядело божество с странной улыбкой, и, пока шумела гроза, они обнимались и ворковали совершенно так, как

это делали 999 999 пар в таком же положении. И если бы мудрый Дарну мог их видеть и слышать, он, наверное, сказал бы в высокомерии своей мудрости:

«Глупые — они делают это не для себя, а в угоду Необходимости».

Между тем гроза прошла, солнечный свет опять заиграл в зелени, еще покрытой блестящими каплями дождя, и осветил потемневшую было внутренность храма.

«Посмотри,— сказала пастушка,— вот два новых изваяния, которых здесь прежде не было».

«Молчи,— ответил пастух.— Старики говорят, что это поклонники древнего божества. Впрочем, они не могут сделать вреда... Останься с ними, а я пойду отыщу твоих пропавших овец».

И он ушел, а она осталась с идолом и двумя мудрецами. А так как ей было немного страшно и, кроме того, она была еще полна молодой любви и восторга, то она не могла оставаться на месте, а ходила по храму и громко пела песни любви и радости. Когда же гроза совсем прошла и края темной тучи скрылись за дальними вершинами горной цепи, она нарвала еще влажных цветов и убрала ими идола. А чтобы скрыть его неприятную улыбку, она воткнула ему в рот плод горного ореха с веткой и листьями.

После этого она взглянула на него и громко засмеялась.

Но и этого ей было мало. Она захотела убрать цветами также и старцев. Но так как на добром Пуране было еще гнездо с птенцами, то она обратила внимание на сурового Дарну, гнездо которого уже опустело. Она сняла пустое гнездо, очистила тюрбан, волосы и плечи старца от птичьего помета, потом обмыла его лицо ключевой водой. Она думала, что этим она платит богам за их покровительство ее счастью. А так как и этого ей показалось мало, то, все еще переполненная своей радостью, она наклонилась, и вдруг блаженный Дарну, стоявший на самом пороге Нирваны, ощутил на своих сухих губах крепкий поцелуй глупой женщины...

Вскоре после этого вернулся пастух с найденной овечкой, и оба ушли, распевая веселую песню.

VI

Между тем искра, едва не угасшая в сознании мудрого Дарну, затлелась опять и стала разгораться все сильнее. Прежде всего в нем, как в доме, где все спят, проснулась мысль и стала беспокойно метаться в темноте. Мудрый Дарну думал целый час и надумал одну только фразу:

«Они подчинялись Необходимости...»

Еще через час:

«Но, в конце концов, и я тоже ей подчинился...»

Третий час принес новую посылку:

«Срывая плод — я исполнял закон необходимости».

Четвертый:

«Но и отказываясь — я исполняю ее расчеты».

Пятый:

«Они, глупые, живут и любят, а мы с мудрым Пураной умираем».

Шестой:

«В этом есть, может быть, необходимость, но очень мало смысла».

После этого проснувшаяся мысль окончательно поднялась и стала будить другие спавшие способности:

«Если мы с Пураной умрем,— сказал себе мудрец Дарну,— это будет неизбежно, но глупо. Если мне удастся спасти себя и товарища,— это будет тоже необходимо, но умно. Итак, будем спасаться. Для этого нужна воля и усилие».

Он отыскал в себе маленькую искорку воли, которая еще не угасла. Он заставил ее поднять свои отяжелевшие веки.

Дневной свет ворвался в его сознание, как врывается он в помещение по открытии ставень. И прежде всего ему представилась безжизненная фигура товарища, с застывшим лицом и с предсмертной слезой на щеке. Тогда в сердце Дарну шевельнулась такая жалость к злополучному спутнику его мудрости, что воля забегала в нем еще шибче. Она кинулась в его руки, и они стали двигаться, потом уже руки помогли ногам... На все это понадобилось времени гораздо больше, чем ушло его на размышления. Однако уже следующее утро застало тыкву Дарну, полную свежей воды, у самых уст Пураны, а кусок сочного плода попал, наконец, в раскрытый рот благодушного мудреца.

Тогда челюсти Пураны пришли сами собой в движе-

ние, и он подумал: «О благодетельная Необходимость. Я вижу, ты уже начинаешь исполнять свое обещание». Но затем, убедясь, что около него хлопочет не божество, а его товарищ Дарну, он несколько обиделся и сказал:

«Восемь горных хребтов и семь морей, солнце и святых богов, тебя, меня, вселенную — всех движет Необходимость... Зачем ты разбудил меня, Дарну? Я стоял уже на пороге блаженного покоя».

«Но ты был подобен мертвецу, друг Пурана».

«Кто, подобно слепому, не видит, подобно глухому, не слышит, подобно древу, бесчувствен и недвижим,— о том знай, что он достиг покоя... Дай мне еще напиться, друг Дарну...»

«Пей, Пурана. Я вижу еще слезу на твоей щеке. Не блаженство ли покоя выжало ее из твоих глаз?»

После этого мудрые старцы еще три недели приучали свои уста к питью и пище, а члены к движению и в течение трех недель спали в храме, согреваясь взаимно теплотой своих тел, пока к ним вернулись силы.

В начале четвертой недели они стояли у порога разрушенного храма. Внизу, у их ног, зеленели склоны гор, сбегавшие уступами в долину... Далеко в долине виднелись изгибы реки, белели домики деревень и городов, где люди жили обычной жизнию, предаваясь заботам, страстям, любви, гневу и ненависти, где радость сменяется горем, и горе залечивается новой радостию, и где среди гремящего потока жизни люди подымают глаза к небу, отыскивая там путеводные звезды... Мудрецы стояли и глядели на картину жизни с порога старого храма.

«Куда нам идти, друг Дарну? — спросил ослепленный Пурана.— Нет ли указаний на стенах храма?»

«Оставь в покое и храм, и его божество,— ответил Дарну.— Пойдем ли мы направо, это будет согласно с Необходимостию. Пойдем ли мы налево, это тоже с нею согласно. Разве ты не понял, друг Пурана, что это божество признает своими законами все то, что решит наш выбор. Необходимость — не хозяин, а только бездушный счетчик наших движений. Счетчик отмечает лишь то, что было. А то, что еще должно быть,— будет только через нашу волю...»

«Значит...»

«Значит — предоставим Необходимости заботиться о своих расчетах, как она знает. А сами выберем путь, который ведет нас туда, где живут наши братья».

И оба мудреца веселыми ногами стали спускаться с горных высей в долину, туда, где жизнь людей протекает среди забот, любви и горя, где раздается смех и льются слезы...

— ...И где ваш домоправитель, о Кассапа, покрывает рубцами спину раба Джеваки,— прибавил мудрый Дарну с улыбкой укоризны.

Вот что рассказал веселый старец Улайя юному сыну раджи Личави, впавшему в бездействие уныния... Дарну и Пурана улыбались, не отрицая и не подтверждая, а Кассапа выслушал рассказ и удалился в раздумии по направлению к дому отца своего, могучего раджи Личави.

1898

«СТОЙ, СОЛНЦЕ, И НЕ ДВИЖИСЬ, ЛУНА!»

Сказка

В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель, в тридесятом царстве стоял, а может, и теперь еще стоит, город Восток со пригороды и со деревнями. Жили в том городе и в округе востоковские люди ни шатко ни валко, в урожай ели хлеб ржаной чуть не досыта, а в голодные годы примешивали ко ржи лебеду, мякину, а когда так и кору осиновую глодали. Народ они были повадливый и добрый. Начальство любили и почитали всемерно.

Лежал тот город Восток с округой в местах отдаленных, хоть три года от него скачи, ни до какого государства не доскачешь. И случилось как-то так, что во всех прочих местах начальство давно переменилось: на место воевод стали ландраты, потом капитан-исправники, потом еще поновее. Завелись даже думы; а в Востоковской округе по-старому правили все воеводы и все из одного рода Устаревших. Как это так вышло, и кто того дела недосмотрел, этого и по сию пору объяснить никак невозможно; только всюду перемены пошли, а в Востокове с округой как сел воевода Устаревший, так и сидел до своей кончины. Сам, бывало, задумывается: когда же, мол, мне смена выйдет?.. Подумывал даже сам на иной манер повернуть — да так с этими мыслями

и помер. А как востоковцам без начальства быть не повелось, то и стал ими править сын Устаревшего и тоже правил до своей кончины. А там пошел править и третий. Востоковцы и довольны: будто так и надо. И почитали своих природных воевод свыше всякой меры. Потому — видят: никто Устаревших не ставит, никто не сменяет. Стало быть, от бога пошли.

Так и жили. Только со временем пошли по Востоковской округе неподобные речи: рано ли, мол, поздно ли, а уж выйдет Устаревшим упразднение.

Кто первый те речи пустил — неведомо. Говорят: от заезжих людей пошло. Действительно, наезжие люди — хитрые. Устаревшие им торги-промыслы разрешали, а они им же, как говорится, в шапку накладывали.

Позовет их, бывало, Устаревший на воеводский двор и станет спрашивать:

— И как только вы, поганцы этакие, без воевод в своей стране живете?

А они отвечают:

— Мы, мол, и сами, ваше воеводство, не рады. Известно, народишко от начальства отбился. Озорники!

— Известно, озорники,— воевода говорит.— А вот у меня — благодать. Что хочу, то и делаю!

— Разумеется, говорят, благодать. На что лучше, ежели чего хочешь делать — никто не препятствует...

Ну а пойдут после того же гости по востоковским людям торговать или по дворам ночевать, тут опять другие речи поведут:

— Больно у вас, говорят, Устаревшие-те плохи. Чего и вы-то, полоротые, смотрите?..

Конечно, который крепкий человек, слушает да ухмыляется. Ладно, мол! Было бы нам солнце красное, да дождик, да ведро во благовремении. Будет, мол, и хлебушко. А до прочего дела нет... Еще, бывало, другой раз и в драку полезут. А драться были горазды... Ну да на грех мастера нет: другой, глядишь, и задумается. А уж это, известно, последнее дело. Думает-думает, да и сам туда же:

— Оно, мол, и правда. Надо бы и у нас, как у людей. Чем мы хуже?

Может, и в самом деле от этого, может, и от другого чего, только пошли по округе темные толки... Дошло и до воеводы, и стал воевода тоже задумываться. Велит согнать обывателей, выйдет на крыльцо, посмотрит, посмотрит, да вдруг и крикнет:

— Кто я по здешнему месту?

Людишки кланяются: «Ты, мол, по здешнему месту воевода, отец и благодетель».

— То-то, говорит. Посадить их в холодную.

Людишки кланяются:

— На то есть твоя воеводская воля!

А Устаревший доволен.

— Вот, говорит, обыватель у меня как приучен... Откуда же мне может упразднение произойти, ежели они только кланяются да благодарят... Не может этого быть...

Велит опять людишек повыпустить — они сейчас смирно да благородно кто в лавку, кто за промысел. Воеводской милости рады. А толки-то все где-то ходят: «Будет Устаревшему воеводе упразднение...» И у воеводы на сердце сосет что-то.

Велит воевода звездочета позвать. Еще прежние Устаревшие выписали к себе из другой округи ученых людей: пущай, говорят, и у нас, как у других прочих начальников, ученые живут, около наших достатков кормятся, да про меня, воеводу, истории пишут. А там и из востоковцев, которые повострее, стали тоже доходить. Много понавыкли и много про воевод историй написали.

Вот позвал воевода одного ученого и говорит:

— Скажи ты мне, умная голова, всю правду: откуда в прочих землях воеводам упразднение вышло, и может ли мне выйти?.. Потому народ у меня смирный: боярин ласковый, на подачки падок, купец жадный да смирный, и все вообще только кланяются... Хочешь, говорит, в старые книги гляди, хочешь — по звездам читай, а только говори всю правду, за свой живот не опасайся...

Пошел звездочет на свою вышку, сидел ночь, да еще ночь, и еще ночь. Всего три ночи. Потом на самой заре велит воеводу разбудить и говорит ему:

— Глядел я, говорит, в старые книги и чел по звездам, и вот что я тебе скажу, воевода Устаревший. Всякому овощу есть свое время, и ничто в сем мире не вечно. Оттого и всякому чину со временем упразднение выходит, оттого и воеводы упразднились. Только редкие упразднялись в свое время, а больше безо времени, от своей глупости. Смотри же и ты, воевода, опасайся. Наипаче имей опаску, как подойдет весна красная да зазвенят потоки весенние...

Осердился воевода на звездочета и договорить ему не дал:

— Вот, говорит, ты какой! Я думал, ты меня, воеводу, успокоишь... Хорошо же, говорит, я своего слова ломать не стану, живота тебя весьма не лишу. А только, чтобы те речи ты никому не мог повторить, сошлю тебя в самую дальнюю волость, где живет одна чудь бессловесная. Калякай там с чудью, сколько твоей душе угодно.

Мигнул воевода, звездочета схватили — хотел он что-то еще сказать воеводе, пытал кричать, да тот не захотел слушать. Усадили звездочета в кибиточку, посадили с ним двух архаровцев, зазвенел колокольчик, и повезли ученого на самый край Востоковской округи, куда и ворон костей не занашивал, к самому холодному морю. Только и слышно, как море холодною волною плещет, да чуть промежду себя балакает.

Никто не видал, как увезли звездочета. Было это на самой зорьке. Людишки спали, а кто и видел, не смел много рассказывать. Да ведь все-таки: где утаить, когда был человек среди людей, а тут человека не стало. Пала на востоковцев пущая тоска. По-прежнему в церкви по праздникам ходят, в будни делом занимаются и кланяются все по-прежнему, а молва-то так и ходит, так каждому в ухо и шипит: послал воевода звездочета в холодную сторону, знать сказал ученый воеводе что-нибудь об упразднении... и стало в округе пущее беспокойство.

Что больше слухи идут, то воевода больше свирепеет. А больше воевода свирепствует — и опять же больше слухи идут. Фискалы рыщут, доносят. Схватят Ивашку либо Микишку с базару, волокут в воеводскую тюрьму, народ смотрит... Иные, которые построже, говорят:

— Так и надо.

А другие жалеют:

— Эх, из-за этих Устаревших только людям перевод!

А фискалы слушают да новых волокут: то были все слетыши, а тут уж за отцов да за дядьев принялись. А говор не унимается.

— Ежели, говорят, и дальше этак — бог с ними и с Устаревшими!

Беда, да и только!

Видит воевода эту крамолу и думает: «Верно, им другой такой же мудрец что-нибудь сказал. Сем-ка

я всех ученых прекращу. Будет им на моем дворе кормиться да про меня, воеводу, книжки складывать».

А к тому времени ученых-то столько развелось, что давно и во дворе воеводском не умещаются. Стали вольным манером жить и про воеводу книжки складывать забыли, а вместо того стали прочими книгами торговать и ведомости выпускать. И начал он над всеми книжными людьми лютовать... Оставил на воеводском дворе малое число таких, что только жуют губами, да у воеводы к фалдочкам, походя, прикладываются, а остальным велел кормы прекратить, а то и хуже...

Подивились востоковцы на воеводину свирепость, да делать-то нечего — отступились. Мол, дело не наше. Кто землю пашет, кто сапоги тачает, кто промыслами промышляет. В сытые годы, мол, едим мало не досыта, в голодные годы кору гложем, на все воеводская милость. Когда ни то воевода усмотрит, опять милостив станет. А ученые стали ему неугодны — его дело, воеводское, а наше, мол, дело сторона.

Только смотрят людишки, посмотрят, что ни дальше, то больше: чинит воевода не гораздо — принялся уже казну расточать; созвал именитых купцов — да им льготу, созвал дворян — дани-пошлины скостил:

— Вот, говорит, вам моя милость, чтобы в случае чего быть мне на вас в надежде...

Подивились людишки: годы будто плохие пошли, из каких капиталов воевода богатых людей задаривает? Ну да ладно. Ничего! Хоша, говорят, не допьем, не доедим, все авось живы останемся... Пущай потешит свой нрав воеводский... От черни берет, богатых задаривает...

Опять только кланяются...

Пирует воевода с именитыми боярами, льстивые речи слушает, ан память-то и подскажи звездочетовы слова: «И купец смирен, и боярин льстив, и чернедь только шапки ломает... А опасны тебе, воеводе, земля-матушка, да красное солнушко, да звенящие потоки весенние...»

— Что бы это значило? — говорит себе воевода.— И может ли такое быть? Нет, говорит, не может,— а у самого что-то сосет, и сам все про весну думает, пуще прежнего сумрачен стал.

Услышал как-то, что детишки на улице песню поют: «Придет, придет весна красна». Он их собственной рукой за виски таскать.

— Чему, мол, пострелята, радуетесь? Кто вам крамолу внушает? В школах небось пакость эта завелась.

Зашел в училище, а там учитель ученикам стихи читает:

Солнце встанет, солнце спросит...

«А-а! — думает воевода.— Вот оно что! Ладно!»

И стало ему учение ненавистно. Ну, пристав Негодяев приметил это и давай на школы походами ходить. Придет, разгонит и окна заколотит...

Вот приходит раз этот Негодяев с докладом.

— Ну что? — спрашивает воевода.

— Все, говорит, благополучно, никаких происшествий нет, ваше воеводство.

— А о чем говорят?

— Мало и говорят-то. Больно народ присмирел. Только, мол, и радости, что праздник Христов да новый год встретить... А весна, мол, нынче по приметам будет ранняя да многоводная...

Вскочил тут воевода как ужаленный. Откуда такие крамольные речи пошли? Сыскать, кто про весну слухи превратные пускает.

Пошел Иван Негодяев, позвал Иудушку Ухина и велел ему со домочадцы ходить по базарам, в домы и во дворы заглядывать и сыскать, откуда у людей речи про новый год и про раннюю весну, да про большую воду весеннюю. Приходит вскоре того Негодяев с докладом.

— Сыскал ли, что приказано? — спрашивает воевода, сам темнее ночи.

— Сыскал, ваше воеводство. Есть в городе книжная торговля Сосноборского, там он целую партию календаря господина Суворина выписал. Народ покупает...

— Как же,— воевода говорит,— ты мне этого своевременно не доложил? Знаешь, кто такое Суворин?

Иван Негодяев испугался.

— Они, говорит, точно что в прежнее время... Только давно покаялись...

Воевода даже ногами затопал.

— Знаю, говорит, я его покаяние, а сам вот календари сочиняет! Календари отнять, и которые куплены ранее, тем произвести тщательный поиск и народу объявить: нынешний раз никакого им нового года не будет, чтобы и не ждали. Понял? Я, говорит, им такой новый год покажу!

— Слушаю-с,— говорит Негодяев, и сам сейчас кинулся к Иуде Ухину со домочадцы.

Пошла во всем городе переборка. Сосноборского обыскали, а поелику оный оказался польского происхождения, то его заточили, а животишки отобрали в казну. Календарей он выписал сотни две. Одну сотню нашли в наличности, штук восемьдесят по строгим объявкам принесли сами обыватели, прося их за то не казнить, будто купили они не с вымыслу, а по простоте и не зная подлинного закона. Таковых Иуда Ухин с Негодяевым заточили в тюрьму и о поступке их довели до воеводы, но воевода велел их помиловать. А двадцать штук календарей как в воду кануло.

— Куда девались? — спрашивает воевода у Негодяева.

— Не могу знать... А только предположительно так надо думать, что все зло от кружков происходит... Называемые кружки саморазвития, ваше воеводство!

— Что такое?

— Молодые люди собираются, книжки читают...

— И календари тоже?

— Не без того, ваше воеводство.

— Чтоб этого не было.

Негодяев, ни мало не медля, собираться для чтения книг воспретил. Но крамольники тотчас же образовали, вместо оных невинных кружков, тайные общества и, собираясь под кровом темных ночей, стали промеж себя читать календарь господина Суворина и предаваться превратным толкованиям: сколько дней осталось бы еще до нового года, ежели бы оный тиранством воеводы Устаревшего не был в Востоковской округе упразднен. Некоторые же, наиболее решительные, прибавляли, что, сколь ни старайся Ухины с Негодяевыми, а весны им не удержать, которая вдобавок в этом году имеет наступить не девятого марта, а много ранее...

Так впервые появилась в Востоковской округе крамола, и с тех пор уже не удавалось извести оную, невзирая ни на какие Ухиных с Негодяевыми старания.

А воевода все скучает.

Ухины с Негодяевыми и рады: чем бы воеводу успокоить, они только и стараются что-нибудь нашептать да сфискалить. Даже друг дружку подсиживают. Приходит раз один Негодяев из мелких, подает воеводе листок ведомостей. Посмотрел воевода, прочитал. Ничего. Пожаров не было, трусу, мора или неприятельского нашествия бог миловал. Все хорошо. Воевода спрашивает:

— Что же тебе, малому Негодяеву, надо?

А тот ему пальцем осторожно показывает: наверху листка прописано: декабря 15 числа.

— Ну так что?

— А то, ваше воеводство, что завтра проставят шестнадцатое. До нового-то году всего две недели... Каких же, ваше воеводство, еще календарей надо!

Вскипел воевода, позвал Негодяева-старшего...

— Это, говорит, что у тебя делается?

— Виноват, говорит, ваше воеводство... Вещь действительно опасная. Недосмотрел.

— То-то. Прекратить все ведомости! Не надо мне.

А Негодяев малый из-под руки уж тут.

— Дозвольте, говорит, слово молвить. Нельзя этого дела прекратить: народу много от этого кормится. А можно иначе. Дозвольте мне газетину издавать, да жалованьишко положите. А прочих помаленьку сократим, не сразу.

— Ладно,— говорит воевода.

Вышли потом оба Негодяевы, большой да малый, вот большой и говорит малому:

— Подлец ты, Микишка, как есть. Как же ты это дело устроишь? Ведь и на твоих ведомостях все одно дни-месяцы ставить придется.

А малый Негодяев только ухмыляется.

— Для чего настоящие ставить? Можно какие-нибудь зряшные выдумать. А то назад считать. Нонче вот пятнадцатое, а завтра станет четырнадцатое. Послезавтра — и того меньше.

Посмотрел на него старший Негодяев, самому даже маленько страшно стало.

— Ну, говорит, Микишенька! Далеко пойдешь. Меня, старого Негодяева, перенегодяил!

А тот говорит: рады стараться.

Так и сделали. Стал Негодяев малый ведомости выпускать. Вышел первый нумер, диву дались востоковцы: на газете-то вместо числа и месяца стоит «Мартобря 14», а назавтра уж 13 стало, да так назад и пошло. А прочим газетчикам внушение... Ну известно, которые понятливее, сами стали так же писать: мартобря, мол, так и мартобря. Только два брата Невинномыские с товарищи запечалились шибко: люди они были солидные, писали складно, первыми умниками по городу слыли. И уж бывало, когда пропечатают что-нибудь в своей газете — то всегда аккуратно. И все им поэтому верили.

А тут вот пиши нивесть что, курам на смех. Собрались они скопом, написали о всех непорядках и пошли к воеводе. Только к воеводе их не допустили, потому воевода напугался: чего, говорит, этим бунтовщикам надо? И послал к ним Негодяева.

Вышел Негодяев к воротам, спрашивает вежливенько:

— Кто вы такие? Чего ради бунтуете?

— Мы, ваше здоровье, не бунтуем, мы есть Невинномыские, и в роду нашем с искони бунтовщиков не было. А пришли по своему делу к воеводе, потому что терпим крайнее утеснение.

— Какое, мол, утеснение?

— А такое, что училища расточили и не велят на ведомостях месяцы-числа ставить...

— Как, говорит, не велят? А это что? — И показывает им «Востоковские ведомости», на коих стоит ясно: мартобря 10 числа.

— Помилуйте, ваше здоровье,— завопили Невинномыские скопом,— нам эту срамоту делать невозможно, потому что мы люди солидные и всегда писали аккуратно...

— А не хотите, говорит, сами пеняйте на себя... Мы, говорит, крамолу терпеть не можем.

Пошли Невинномыские с товарищи от воеводского двора несолоно хлебавши. Толковали промежду себя, толковали, даже всплакнули малость. Которые, пожалуй, не прочь бы и послушаться: что же, мол, пропадать напрасно? Да старшие устыдили: когда, мол, это видано, чтобы Невинномыские так осрамились. Когда уже нельзя нам верные числа ставить, выйдем вовсе без чисел!

Так и сделали: на следующий день в Востокове на одних ведомостях стояло «Мартобря 9». Читают обыватели и говорят:

— Врешь, подлая душа, негодяевское отродье. Сейчас мы верные месяц-число узнаем доподлинно.

Кинулись газетину Невинномыских покупать, ан там — чисто! Никакого числа нету...

Запечалились востоковцы: календарей нет, а теперь вот и по газете числа не узнаешь. Стали Невинномыских корить: «Для чего дней настоящих не показываете: не умеете вы за правду пострадать». А те в ответ: «А много ли вы звездочету помогли, когда он правду сказал?»

А Негодяев тем временем воеводе нашептывает:

— Кабы, говорит, не я, Невинномыские хотели воеводский двор разорить, а тебя, воеводу, упразднить... Да я их усмирил. А теперь, погляди, чего делают,— ведомости без числа выпускают, чтобы все твое воеводино тиранство видели. Прикажи мне их до конца расточить.

Да воевода на ту пору обмяк. Заплакал только:

— Ладно, говорит. Вижу я, что они не хотят мне, воеводе, удовольствия сделать... Пущай! Когда-нибудь я им это попомню...

И пуще запечалился. Никто уже его веселым и не видывал. То запрется на воеводском дворе, на вышке, то опять нивесть куда уедет. А и на люди выйдет — радости мало. В прежние, бывало, времена пойдет Устаревший по улицам, людишкам любо-весело, в городе радостно. С одним поговорит, у другого спросит, к иным даже в дома захаживал, детей крестил. А тут идет, кругом фискалы шныряют, на встречных как волки глядят.

Бывало, и в школы захаживал. Людишки тогда не больно к школам-то прилежали: на что, говорят, баловство это. Так Устаревший сам их журил, уму-разуму наставлял:

— Учение, скажет, бывало, свет, а неучение тьма! Ученый, говорит, и себе больше достанет, и мне, воеводе, недоимку внесет...

А ноне сами востоковцы вникли, училищей понастроили, стали детей туда гонять. А Устаревший — чем ему бы радоваться — опять из-под бровей волком глядит:

— Ишь, говорит, прорвало их, стараются. Все подлецам календари Суворина читать хочется...

А газетчик Негодяев забрал такую силу, что даже Иудушка Ухин стал его бояться. Что Ухин с товарищи недослушает, недоглядит, то Негодяев в своей газете уже и пропечатал, а то еще такого прибавит, подлая душа, чего и не бывало.

Встали раз утром Невинномыские, глядят — а люди от них сторонятся.

Взяли они негодяевские ведомости, а там вот что пропечатано: «Оные, говорит, ведомые воры и бунтовщики, питая в сердцах своих крамольные ожидания, составили в городе Востоке общество «любителей солнечного восхода». Под видом якобы невинной любви к красотам природы, прикрываясь даже стремлением к прославлению творца, сии злые воеводы нашего ненавистники, прокрадываясь под покровом ночи к урочищу,

именуемому Васькин Умет, и оттуда, глядя на солнечный восход, предаются неистовому радованию... Чему же оные радуются, и то, надо быть, хорошо известно братьям Ухиным. Но от оных примечается несмотрение, отчего воеводский интерес приходит к умалению, а город с округой — к конечной гибели».

А как воевода и этот раз только заплакал («ладно, мол, я им и это попомню»), то Негодяев, придя в неистовую о воеводском интересе ревность, стал самого воеводу корить за слабость и при сем в восторге восклицал:

— Ну ударь меня, ударь за это, ударь за мою службу!..

Воевода и его не ударил, и даже за усердие похвалил и приказал против Невинномыских принять меры. А именно повелел, дабы «таковые сборища впредь прекращать всемерно». Но как и после приказу многие крамольники, прокрадываясь мимо стражей, приходили на то место и, глядя на солнце, вздыхали, проливали слезы, а иные даже слагали в честь оного светила канты, то воевода приказал «на холме, откуда прежде всего показывались солнечные лучи, поставить полицейскую будку, а около будки околоточного надзирателя Держиморду, с таковым притом расчетом, дабы когда солнце первыми лучами над землей взыграет, то на осветившемся небосклоне фигура Держиморды выступала бы с полною ясностию, олицетворяя собою бодрствующее непрестанно начало власти...»

Братья Невинномыские приказу воеводы подчинились и ходить на заре к мызе перестали, но молодые востоковцы, склонные к буемыслию, не бросили этого дела и даже стали от времени до времени чинить на Держиморду засады и лукать в него камнями и поленьями. С тех пор пошло в Востоке уже явное бунтовство и озорство, и оное уже до конца воеводствования Устаревшего не переводилось.

Стал тогда воевода писать указы явные и тайноподметные. И прежде насчет законов в Востоковской округе не вовсе ладно было: обыватель исполняет, а Негодяев попирает. Так, по крайности, востоковцы хоть знали, что им исполнять надлежит, на что Негодяев наступить может. А тут уж вовсе с толку сбились: напишет воевода указ да Негодяеву с Ухиным объявит. Людишки, ничего не зная, поступают по прежним объявленным указам, а Негодяевы да Ухины чинят им воздаяния по указам тайно-подметным.

Мартобря числа этак 25-го объявлено с барабанным боем, дабы «обыватели с сего числа и впредь неукоснительно самовольный счет дней прекратили, друг у друга о днях бы не спрашивали и на вопросы ответствовать не осмеливались. На предмет же обычных благопотребных занятий и для содержания чреды полезных трудов — о происходящей по законам естества смене дня и нощи — имеют быть извещаемы с пожарной города Востока каланчи неупустительно».

А тайно-подметный указ по команде гласил тако:

«*Секретно*

Известно, что многие неблагонамеренные люди, устремляясь на погибель всей округе к упразднению воеводского чина, не останавливаются ни перед чем. Замечено в последнее время, что оные по научению Невинномыских с товарищи,— избрали для своей смуты самую чреду дневного и нощного течения, которую, стараясь ускорить, питают в сердцах надежду на якобы имеющее наступить рановременно весеннее время. Чему имеете вы, Негодяевы с Ухиными, наблюдать неупустительно. Дабы:

1) Отныне извещать о наступающей смене дня и ночи с пожарных каланчей поднятием флага (день) или же фонаря (ночь).

2) Наблюдать наистрожайше, дабы сие совершалось не чаще, чем по законам естества полагается, с таковым притом предварением, что о всяком преждевременном и излишнем извещении с виновных будет взыскано по всей строгости сих подметных законов.

3) Ежели который-либо из дежурных на каланче по природной ли человекам свойственной немощи или по иной причине не усмотрит своевременно восходящего уже солнца, то за сие с таковых дежурных взыскиваемо быть не имеет.

4) С таковым, однако же, расчетом, дабы впредь до распоряжения — не вовсе течение времени прекратить».

Пошло тогда в Востоке чистое светопреставление. Встанут людишки рано, на солнышко посмотреть, ан в той стороне, где ему восход бывает,— Держиморда стоит, солнце фалдочками от мундира закрывает. Хотят лавки открывать — нет приказу, на каланче-то еще фонарь висит, да сальная свечка в фонаре чад пускает. Ложиться захотят, ан на каланче флаг болтается, а фонаря нет. Значит, надо лавки открывать. Собрались именитые востоковцы, пошли к Негодяеву жаловаться.

— Прикажи, говорят, брантмейстеру хоть порядок-то наблюдать...

— Он, говорит, и наблюдает по закону.

— Да ведь это какой же закон?

— Тайно-подметный...

— Мы, говорят, коли так, к самому воеводе пойдем.

— Ступайте, говорит.

А сам вперед побежал.

— Так и так, говорит, бунт!

Вышел воевода к именитым людям, они перед ним на колени. Давно не видали, обрадовались, слезят, землю целуют:

— Милостивец ты наш, ясное солнышко...

— Чего надо?

— Да только и надо: пущай поаккуратнее с каланчи череду времен объявляют. Всем будем довольны...

Да кто-то еще сболтни:

— Календари тоже вот...

Воевода и вспылил.

— Вижу, говорит, куда вы гнете... Календарей захотелось... Мечтатели!..

С тем и ушел.

Кинулись тогда востоковцы к попам на подворье:

— Вы-то, мол, чего смотрите, чай, вам к заутрене давно надо звонить. Праздник на дворе!

А поп только бородой мотает:

— Приказу, говорит, не было.

— Какой тебе приказ? Чай праздник-то божий...

А он:

— Всяка душа, говорит, да повинуется.

— Да чему,— людишки говорят,— повиноваться-то?

А поп опять:

— Несть бо воевода, аще не от бога...

Так и не добились толку. Много после того в раскол ушло... А тут Негодяев-младший в своей газете опять статью пустил: «Времена, говорит, настали непереносные». Людишки читают и говорят: правда! «Дние, яко же нощь». И опять люди говорят: и это правда. «Людие, говорит, метутся, яко же стадо без пастыря». И это опять в аккурат. «Един, говорит, у нас пастырь — воевода милостивец, а Невинномыские, как волки лютые, смутили стадо».

— Стало быть,— говорят востоковцы,— и это правда.— Собрались толпой, давай Невинномыских чем ни попадя глушить.— От вас, говорят, сколько время нам никакого спокою нет.— Перебили тогда этого смирного народу без числа.— Ну, говорят, чай теперь наш Устаревший успокоится, даст народу отдышку...

Да тут вместо отдышки пущее горе. Когда избивали Невинномыских с товарищи, одного-то, видно, били не по-настоящему. Помереть-то он помер, да перед смертью

маленько отдышался. Отдышался, поднял голову, посмотрел на народ, а народ-то уже прокинулся от лютости. Стоят кругом, смотрят, вздыхают. Потом один и говорит:

— Прости ты нас, человек добрый, христа ради.

Глядят, а он только усмехается, тихо таково да ласково.

— Бог простит,— говорит им,— бог вас простит, бедные вы люди. Вы в своей, говорит, темноте тому делу не повинны... Вот, говорит, когда вешнее солнышко над Востоковской округой взойдет, красное, говорит, вешнее, жаркое... Не будет тогда ни воеводы Устаревшего, ни Негодяевых, а Ухино и семя переведется... тогда вы и обо мне вспомяните. Я, говорит, в сырой земле порадуюсь. А теперь, говорит, схороните вы меня честь честью...

С тем и помер.

Запечалились востоковцы. За что столько народу переглушили? Пошли со слезами домой, а которые пожалостливее да посовестливее, взяли того беднягу на руки, принесли к церкви, гроб сколотили, могилу вырыли, давай хоронить. Позвали попа, он было уже ризы надевать, да тут кто-то из Ухиных шепнул: «Вот, мол, кого хоронить будешь, воеводского супротивника. Как бы тебе не нагорело». Поп ряску подобрал да задним ходом из церкви убег, у просвирни схоронился. Видят людишки, нет попа. Подняли гроб, понесли по улицам на погост, сами «со святыми упокой» всем народом поют. Понесли мимо Устаревшего, а он в окно смотрит... Затрясся весь.

«Вот оно, думает, упразднение идет».

Тут уже и Негодяеву старшему конец пришел. Призвал его воевода, чины, ордена снял, разжаловал его в хлебопеки: ты, мол, не умеешь порядок делать. Заместо порядка у тебя смута.

Востоковцы было обрадовались: слава те господи, воевода у нас опамятовался. Даже иллюминацию по этому случаю без дозволения начальства зажгли. Ан вышло-то опять хуже: на место Негодяева воевода призвал старшего сержанта гвардии Мрак-Могильного.

Сержант этот прежде в полиции служил, только промашку раз сделал. Был в городе большой парад, в церкви народу набилось видимо-невидимо. И кто-то, человек без совести, у воеводской тещи кошелек из кармана вытащил. Призвал тогда воевода сержанта Мрак-Могильного: «Ты, говорит, у меня за парадами смот-

ришь?» — «Я, ваше воеводство, это точно».— «Как же это у тебя такой случай? Что хочешь, говорит, то и делай, а чтобы вперед этого ни отнюдь не было».

Думал-думал сержант Мрак-Могильный, как сделать, чтобы уж наверное этого никогда случиться не могло. Да и надумал: поставил у церкви плашку небольшую, да заплечного мастера тут же. На колокольне заблаговестили. Народ у церкви сбился, жмутся все, никто в церковь идти не желает, потому что у паперти плаха. Приезжает сам воевода. «Что тут такое, говорит. Ты что это затеял? Зачем плаху у храма божьего поставил?» — «А это, говорит, ваше воеводство, я по вашему указу средство надумал. Теперь уж у меня на парадах ворам-то полно воровать. Стану я, говорит, им правую руку рубить... Левой им несподручно».

Испугался тут воевода.

— Как же ты, говорит, воров-то узнавать станешь?

— А что,— сержант отвечает,— мне их узнавать: больно хлопот много, недосуг. Я, говорит, кто в церковь идет, всем по правой руке оттяпаю, так уж тут и вор не уйдет... Только вот они супротивничают, больно набаловались. Прикажи им подходить. Пожалуйте, господа. Нечего тут!

— Дурак ты дурак,— говорит воевода.— А ежели вор-то — левша. Ты мне весь народ перепортишь! Доброму-то перекреститься станет нечем, а вор и левшой таскать станет...— Позвал околоточных — велел того сержанта убрать. И посадили его на цепь, потому что со временем стал уже на людей зря кидаться.

То было в прежнее время, а теперь вспомнил воевода про сержанта да прямо с цепи — на место Негодяева и посадил.

Стоном застонал город Восток со всеми пригороды и со деревнями, стали Негодяева поминать, отцом родным называть. Кинулись опять к попу: иди, говорят, воеводе от писания скажи, может послушает, опять Негодяева вернет... А поп опять: «Несть, аще не от бога».

— Неужто, говорят, и сержант тоже от бога?

— А то от кого же? Власть предержащая...

Еще больше тогда народу в раскол ударилось, а воевода и в ус не дует. Думает: ну, теперь сержант уж у меня всех усмирит. А цепной сержант по городу на тройке летает, глаза точно колеса вертятся, усы точно две сабли турецкие, народ от страху от одного умирает...

А весна-то вместо ранней и вовсе не идет. Уж ей давно быть надо, а вместо того кругом снег лежит, по ночам метель воет, деревья подо льдом ломаются. Прилетели было первые ласточки, да скоро позябли. А которые не позябли, за теми сержант с архаровцами гонялся, да на площади головы рвал.

Запечалились востоковцы.

— Видно, говорят, и впрямь Устаревшему дана такая власть, что может чреду времен прекратить...

Только Невинномыские еще несколько утешали. «Надейтесь, говорят. Как уже хуже того, что теперь есть, и быть более нечему, то, значит, пойдет дело к лучшему». Сержант над ними за то лютовал, но они не унимались. А один молодой — самому воеводе на улице крикнул: «Врешь, воевода, не сможешь весну победить! Исчезнете оба с сержантом, как черви! Еще таких примеров не бывало, чтобы воеводскими приказами течение времен воистину отменялось...» Схватили его, а как по расследованию оказалось, что оный крамольник читал историю, то учебники Иловайского приказано все пожечь без остатку...

Кинулся тогда народ из Востоковской округи... Стали собирать пожитки, детей да стариков на телеги сажать, да за рубеж, где весну начальство не запрещает, потянулись. Сведал сержант, стал войска собирать... Диву дались востоковцы: ни с кем войны нету, а через город войска идут, казаки скачут, пушки гремят. И все на рубеж. Обложили границу — зверь не прорыщет, птица не пролетит... Сержант доволен:

— Теперь, говорит, ваше воеводство, спите спокойно — я, говорит, крамолу эту вывел, людишки больше уж и не ждут ничего: ни им к весне, ни весне к ним ходу нет...

Замерла вся Востоковская округа... Не то сонное, не то мертвое царство: люди ходят, озираючись, ошалелые, брат брата, отец сына боятся...

Доволен воевода Устаревший, сержанта Мрак-Могильного похваливает...

. . . .

Стоял на рубеже с полуденной стороны казак караульный... Поставили казака, велели караулить, чтобы никого за рубеж не пускать, а наипаче, чтобы из-за рубежа не пришло какого неблагополучия... Казак, известно, человек служащий: поставили, стоит; случится

что — он в ответе. Стоит да смотрит: кругом снег глубокий лежит, воронье над снегом летает...

Только вдруг слышит казак: журчит что-то, тихонько таково, крадучись. Послушал он, послушал, потом оглядываться стал: где бы это? Оглядывался, оглядывался, потом креститься начал... И радостно-то ему — видно, и впрямь не осилить божьей весны воеводскими приказами,— и боязно: вдруг этакое да в его караул приключится. Не чаял казак и смены дождаться... Пришла смена — ушел поскорее, ничего не сказал.

Только ночью глубокой, в самую полночь,— вдруг на рубеже из пищали ударили. А потом в другом месте, в третьем, пошла трескотня по всей линии. Засуетились дежурные, заскакали ординарцы и офицеры. Что такое? С кем воевать, кого отражать? «Весна, такая-сякая, прососалася через рубеж, журчит всюду...» Слушают казаки, крестятся. Лица у всех радостные, только ответа боятся...

Послали гонца к воеводе. Прискакал гонец в полдень, а в городе-то время полночь на каланче значится. Спят обыватели, ставни всюду заперты, сторожа в трещотки бьют... Один сержант по мертвому городу скачет, глазами стреляет. Попался ему гонец навстречу:

— Стой, что за человек?

— Гонец к самому воеводе!

— Сказывайся мне, я тебе важнее воеводы.— Известно, обнаглел сержант на всей своей воле. Ну, казак видит: начальство строгое.— Так и так, мол, вашество,— на рубеже весна прососалася.

Чуть сержант с коня не свалился, потом повернул лошадь, поскакал к воеводскому двору, и казак за ним.

А уж по городу точно в набат ударили: никто, кажись, и не слыхал, как казак сержанту про весну докладывал, а вышло так, будто он то слово в набатный колокол ахнул. И случилось тут чудо-чудное и диво-дивное: на каланче-то еще фонарь чадит, а по всему городу без начальственного приказу ставни открываются, народ на улицу валит, обнимаются, точно в светлое христово воскресенье, плачут от радости. И у всех одно на уме: ну, видно, весна-то и впрямь воеводских приказов сильнее!

Пошел по улицам шум... А тут как раз ласточка прилетела. Села пташка божия на воеводском заборе: тилик, тилик, тилик... Кинулись за нею архаровцы, ан

людишки (прежде подлым обычаем и сами помогали) — теперь мешают да ножки архаровцам ставят...

На ту пору приехал к воеводе Устаревшему из другой округи начальник какой-то: слышал он, что житье Устаревшему хорошее, что хочет — делает, и захотелось ему посмотреть, верно ли.

— Верно,— говорит Устаревший.— Все могу. Вот, говорит, нынче я у себя весну запретил...

А на ту пору на улице вдруг из пушки грянули.

— Это, мол, что?

— Это,— ординарец воеводский докладывает,— сержант по ласточкам из пушек палит. Летит их видимо-невидимо из-за рубежа...

— Для чего это он делает? — спрашивает гость.

— А потому,— воевода отвечает,— чтобы людишкам неповадно было. А то — все ведь, глупые, весну поджидают...

Покачал гость головою.

— Ты бы, говорит, им лучше дозволил.

— Как же, говорит, им дозволить, когда в моей округе дело-то еще к осени подходит? А за осенью-то, говорит, еще лето пойдет...

Он уж и сам поверил своему счету: думает — и впрямь время назад пошло.

Посмотрел гость на воеводу да давай свои пожитки укладывать: с тобой, говорит, беды наживешь. Ты бы, говорит, хоть календарь Суворина посмотрел.

— Календарь? — говорит воевóда.— Да у меня теперь в округе ни одного календаря не сыщешь. От этих-то вот календарей в ваших округах воеводы перевелись, никакой власти не стало. А я воевода природный, у меня этого баловства нет...

— Ну так прощай, счастливо оставаться. А я у тебя и дня не останусь, когда уж ты с весной воевать принялся. Бывало это и у нас в старину, да добра от этого не видали. Ты бы хоть Иловайского учебник прочитал.

— Я и Иловайского-то всего пожег...

Поехал гость, глядит: в городе шумно и неспокойно. К полудню солнце поднялось, греть начало, с крыш каплет, по улицам ручьи бегут. Сержант с командою скачет, по ласточкам из пушек палит, народ разгоняет. А народ-то уж не слушается. На стенах плакаты какие-то наклеены, все читают, на шесты тоже листки от суворинских календарей навесили, носят по городу и все кричат:

— Весна пришла! Долой сержанта!..

Народу все прибавляется, идут к воеводскому двору. А у воеводского двора команда лопатами воду отгребает, а вода все прибавляется. Глядел воевода из окна, видит, что команде не управиться, выскочил во всей парадной форме да давай и сам руками потоки весенние загораживать... Оглянулся воевода — слышит: не то что уж вода звенит, народ кругом над воеводою грохочет... Махнул рукой, убежал к себе на вышку. А народу все больше да больше, запрудили всю площадь, кричат:

— Весна пришла. Подавай нам сержанта на расправу...

Попробовал воевода выйти на крыльцо:

— Кто, говорит, я по здешнему месту?

— Ты, говорят, воевода Устаревший, с весной воевал, время вспять обращал... Да мы супротив тебя ничего. А подавай нам — кто тебя, Устаревшего, научал. Давай сержанта. Ставь нам опять Негодяева-старшего.

Связали сержанта по рукам, по ногам да на воеводских глазах в воду бросили. Поплыл сержант, как колода с потоками весенними, а на его место — делать нечего — позвал воевода Негодяева.

Вышел Негодяев на крыльцо и говорит народу:

— Молитесь богу, православные. Воевода по великой милости дозволяет опять счет времен повернуть.

— Это что же выйдет? — спрашивают у него.

— А выйдет, что пускай теперь будет зимний никола. Через три месяца, гляди, и весну разрешим.

Разлютовался тут народ:

— А, говорят, подлое семя. Вы опять за старое. Да нет: нонче уж весна пришла, долой Негодяева!

Схватили старика. Он кричит:

— Братцы, календари разрешим!

Ладно. Связали, да и бросили в воду вслед за сержантом.

— Теперь,— говорят Устаревшему,— ставь ты нам Невинномыского-старшего.

Заплакал воевода.

— Детушки, да ведь он враг мне исконный: календари передерживал да канты про весну сочинял.

— То нам и любо. Весна пришла! Ставь Невинномыского.

Нечего делать. Позвал воевода Невинномыского-старшего:

— Послужи ты мне, говорит, забудь старое.

— Ладно, ваше воеводство. Мы вам с искони слуги верные были, только вы не верили. Вот вас до чего Негодяевы, да Ухины, да сержанты довели. Ну да авось дело поправим. Только уж слушайте меня.— Вышел он к народу, седенький да благолепный, и проливает радостные слезы: — Дождались мы, говорит, светлого дня. Воевода-милостивец весну разрешил: пущай, говорит, будет! Теперь, братцы, на земле мир, в человецех благоволение.

Послушали люди, головами качают.

— Какое, говорят, тебе благоволение: вчера сержант из пушек по ласточкам палил, завтра воевода другого архаровца сыщет... Ты нам скажи, как нам навсегда этой срамоты избыть?..

Шумит народ, а Невинномыский все только в грудь себя колотит да слезы проливает.

— Братцы, говорит, да ведь весну нам разрешили. Календарь скоро новый напечатаем...

— Нет, говорят, плох и этот. Давай нам из Невинномыских, да поретивее.

Шумели, шумели, даже и драки не мало было. Всю ночь воевода на своей вышке дрожмя дрожал. А наутро пришли опять к нему выборные и говорят:

— Вот что, Устаревший: уезжай ты от нас подальше. Грех только из-за тебя выходит... Да и перед другими округами стыдно. Сделаем мы теперь у себя, как у людей.

— Детушки,— воевода говорит,— зачем меня гнать? Я воеводский мундир сниму, исправницкий надену, вот и ладно.

— Нет, говорят, не согласны!

— Думы вам заведу!..

— Мы и сами заведем, без тебя. А с тобой одна срамота. Опять, то и гляди, ухитришься, станешь потоки весенние руками загораживать.

Делать нечего. Сел воевода в колясочку — покатил вон из округи с семейством. Едет по дороге — а кругом-то уж поля зеленеются, воеводе даже чудно:

— Эх, говорит, маленько у меня сержант оплошал! Оттого все и вышло.

В полях людишки пашут, никто-то воеводе шапки не ломает, на станцию приедет, только одни ротозеи и глядят на него, усмехаются. Осердился воевода, так и хочется ему крикнуть:

— Кто я по здешнему месту?

Да только заплачет...

Глядь, на одной станции народ сгрудился. «Что такое,— думает воевода.— Не одумались ли мои людишки, не опять ли меня назад повернуть желают?» Ан нет, это, говорят, мы звездочета из чудской земли встречаем, которого воевода за правду сослал...

И верно — подкатывает к станции звездочет, борода седая по пояс. Народ «ура!» кричит, с почетом его встречают.

И встретились на станции воевода с звездочетом. Узнал тот воеводу.

— Эх, говорит, глупый ты, глупый, воевода, не хотел ты меня слушать. Говорил я тебе про потоки весенние...

— То-то, говорил. Я и остерегался.

— Кабы,— говорит звездочет,— не ваша Устаревших манера, что не дадите вы людям слова сказать, сейчас на фельдъегерских в дальние волости ссылаете, так я бы тебе, воеводе, тогда же объявил. Народ у тебя был смирный да повадливый, ни от купцов, ни от бояр, ни от чернеди опасности тебе не было.

— Знаю, от солнца красного да от потоков весенних. Так и вышло.

— То-то и вышло оттого, что ты меня не дослушал. Хотел я тебе сказать: остерегись только воевать с солнцем красным, да с весной, да с потоками весенними. Людишки у тебя на диво смирные, правил бы ты до смерти.

Взял тут он бывшего воеводу и вывел на пригорок. С пригорка-то далеко видно: кругом поля расстилаются, леса темнеют, речки по земле змеятся и сверкают. По нивам пахари пашут, будто мураши ползают. И где такой мураш проползет, земля, как бархат, почернеет. И уже половина земли черная...

— Гляди, говорит, глупый ты человек. Понимаешь ли ты эту силу великую? Была земля вся белая от снегу, господь снег согнал. А человек ее чуть не всю, ровно бархатом, пашней покроет. А ты, глупый воевода, со своим сержантом хотел великое земное стремление удержать и вспять обратить. С весной бороться вздумал...

Посмотрел воевода кругом и вздохнул: «Глупый я, глупый! Неужто я это все задержать хотел?» А звездочет говорит:

— Ты бы, воевода, каждой весенней былинке радоваться должен. Ты бы, воевода, смотрел, чтобы никто весне-матушке и великой народной работе мешать не мог. Ты бы великому деланию помогать должен: увидел

ты, что в твоей округе новая былинка появилась, ты бы и ту пригрел да окопал. Узнал ты, воевода, что у твоих людишек новая мыслишка в головах засветилась,— ты бы и ей помог да поддержал... Или хоть не мешал бы, и то дело! И шло бы в твоей округе великое делание, и благословляли бы тебя все роды. А пришло бы время, ты же бы сам у себя и перемену сделал... А ты — смешно сказать — с календарями воевать стал, по ласточкам из пушек палил, а то и забыл, что иной раз и камни... да что камни — календари с учебниками,— и те супротив тебя возопить могут. Кончено твое дело, воевода Устаревший, и не познаеши к тому места своего. Аминь!

Так оно и вышло. Завелись после того в Востоковской округе новые порядки, думы да соборы. Первое время не вовсе было спокойно, так что даже порой улица на улицу ходила и волость на волость. Все спорили, как лучше устроить. И не раз на ту пору Устаревшие подсылали отставных околоточных, чтобы народу про них напоминали: дескать, вот при ком спокойно было. Да людишки только смеялись:

— Это те, что руками потоки весенние ловят да вспять обращают? Не надо! Как уж никак перебьемся, а на эту срамоту не согласны.

Так и перевелся род Устаревших воевод в Востоковской округе.

1899

МАРУСИНА ЗАИМКА

Очерки из жизни в далекой стороне

I. УГОЛОК

Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою хлынью по колеям якутской дороги.

Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие скатертью между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльного дна. Если едут двое — они плетутся рядом под ленивые разговоры о наслежных происшествиях, о поко-

сах или приезде начальства. Трое в ряд ездят уже гораздо реже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва заметными линиями в буйной траве.

Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря...

Солнце висело над дальней грядой гор. И летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косыми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальние горы, обвеянные синеватою мглою, реяли и, казалось, расплавлялись в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника,— и они бежали дальше, помахивая зажатыми в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень... И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном в задумчивой истоме своего короткого лета.

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали оскалинами каменистых оврагов, нащетинившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по которым струились тихие речки амгинского бассейна. По этим речкам ходили «вольно, нехранимо» табуны кобылиц, принадлежащие якутским «богатырям»-родовичам, успевшим и здесь, на лоне почти девственной природы, захватить лучшие уголки божией земли.

По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по траве роскошную гриву,— делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоняя их обратно. Когда кобылы, не смея ослушаться и делая вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой, в глубине ущелья,— сторожевой жеребец выбегал оттуда обратно и, все тряся головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к нагайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвращался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивою хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее, тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше, молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. Но навстречу попадался только ленивый дымок юрты над озером или якутская могила — небольшой сруб вроде избушки с высоким крестом — загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев...

— Посмотрите-ка,— сказал вдруг мой товарищ, задергивая повод разбежавшейся лошади.

Мы давно ехали узкой дорожкой, две-три колеи которой чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу нам вырастал молодой ярко-зеленый лесок, над вершинами которого уже исчезали меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, не часто употребляемыми в этих местах, и вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса.

Мы оглядывались с удивлением: пашни, хотя и нечастые, составляют, однако, обычное явление в этих недальних улусах, но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким палисадом или тыном и напоминавшие вдали от жилья кладбища или старые языческие мольбища, огражденные от взоров посторонних. Но это были только наслежные огороды. Один из губернаторов, прекраснодушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства — отвели по клочку земли и обнесли крепчайшими частоколами, оставив лишь один вход, запиравшийся на замок, ключ от которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белены и чертополоха, защищенных от лугового ветра...

Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая капустная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям завивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо тщательно оберегаемых от утренних коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего более удивило нас — это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами и не сибирский амбар с прямым срубом и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна частью из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилье от какой-нибудь черниговской или полтавской «хатынки». Изумленный неожиданностью, взгляд невольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого журавля криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кринице, видимо, не было

надобности: в нескольких десятках саженей за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крылья...

Утки были дикие, лес был лиственничный, сибирский, чуждый и этой хатке, с ее соломенной крышей, и этим грядкам...

Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил соломою крыши, чуть-чуть шелестела тайга, и жалобный переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то, и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере расплывется, как дымное марево...

— Эй, а хто тут в бога вирує? — крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу.

Что-то зашуршало под тыном, вплоть около нас.

— Ой, ли́шенько! — сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски «кичкою», глаза быстрые, живые и несколько дикие смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошеных гостей.

— Здоровеньки були,— весело сказал мой товарищ.

Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом, от голов до копыт наших лошадей... По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей ничего: ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу, и отправимся своим путем далее.

Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы.

— Чья эта хатка? — спросил мой товарищ.

— А вам на що? — ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила: — Ну, Степанова та моя.

«Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» — как будто говорил ее неприветливый взгляд.

Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом поселенце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распущенный. Он считался, между прочим, большим донжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой.

— Ну нет, батюшка, ошиблись,— сказал он серьезно.— У них там, на озере, настоящая... настоящая... как это, господа, говорится по-книжному?..

— Идиллия? — подсказал кто-то из нас.

— Ну вот-вот! Да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего — головы, подлец, не пожалеет... И притом считает себя как бы в законе...

— Медведь их, что ли, в тайге обвенчал,— не унимался смотритель.

— Черт их знает... По бродяжеству, говорит, венчаны... Обряд, будто бы, тоже какой-то...

— Уж будто вы так и отступились? — сказал смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами.

В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека, хоть чем-нибудь выделяющегося,— вообще, больше, и имя Степана «с озера» или с Дальней заимки произносилось в слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы»,— хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: «Истебан биллем» (Степана знаем)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином.

— А где же сам Степан? — спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться.

— Нема́ Степана. У слободу поехал,— ответила молодая женщина как-то торопливо.— Не скоро и воротится...

И ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан,



с разводами на полах, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность.

— Ну езжайте с богом,— закончила она бесцеремонно.— Нема́ и нема́ Степана. Где ж мне его взять... А вам здесь оставаться не можна.

Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг на озере, на другом берегу грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злорадно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суета наполнила весь этот тихий угол.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса... Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою и глядя из-под ладони по направлению к нам.

— Эге!.. Скоро же Степан вернулся из слободы,— засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно неприязненным взглядом.

Между тем стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток.

— Милости просим, господа,— сказал он, вежливо снимая шапку.— Слезайте с коней.

— Да нам тут объявили, что вас нет дома,— сказал мой спутник, улыбаясь. Степан посмотрел на женщину быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе.

— Опять ты, Маруся, за старое... Дура,— грубо сказал Степан.— Ну ставь чайник, живее... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошим людям рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. Повидимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал ей сомнение. В конце этого вторичного осмотра

она все-таки улыбнулась, вскинула на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам.

— Извините, господа! Дикая она у меня,— сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любуемся его Марусей.— Она, видите, думала, что вы — приискатели.

— А если бы приискатели? Так что же?

— Звали тут меня... в приисковую партию,— ответил он, глядя как-то в сторону...— Дайте-ка, я ваших лошадей привяжу. Пожалуйте вот сюда.

И он пошел впереди, ведя в поводу лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом... У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявшиеся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странною складкой — грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона.

II. БРОДЯЖИЙ БРАК

Через полчаса мы лежали на сочной траве, невдалеке от избушки. На земле потрескивал костер, и в железном котле закипала вода.

Кругом опять вошла в колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своим свистом и ржанием, переливчатым и неприятным, по ветвям лиственниц ходил ленивый шорох, и утки, забыв или даже не зная о недавней тревоге, опять лежали черными комьями на гладкой воде озера.

Маруся, казалось, готова была примириться с нами. Она вступила в роль хозяйки, поставила чайник и уселась было около Степана, ожидая, пока вода закипит у огня. При этом исподлобья она взглядывала на нас с выражением застенчивого любопытства. Но мой товарищ, в свою очередь окинув ее пристальным взглядом, сказал:

— А вы, землячка, кажется, из-под Чернигова? Или с Полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, как от внезапного удара. По лицу ее пробежала резкая судорога, она с ненавистью взглянула на неосторожного допросчика и быстро поднялась на ноги. При этом она нечаянно толкнула чайник и, не обращая внимания на то, что вода лилась на угли, скрылась в дверях избы.

Степан слегка нахмурился и, поправив чайник, сказал:

— Теперь уж не подойдет... И чай пить не станет... Напрасно спросили.

И, поправив несколько заглохший огонь, он прибавил задумчиво:

— Всегда вот этак. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачет... Или ударится о землю... Пена изо рта, как есть порченая! Так и сам не знаю — откуда она родом...

Он замолчал. Фигура молодой женщины мелькнула около избушки и скрылась в другом конце огорода. Через некоторое время оттуда донесся мотив какой-то песни. Маруся пела про себя, как будто забыв о нашем присутствии. Песня то жужжала, как веретено в тихий вечер, то вдруг плакала отголосками какой-то рвущей боли... Так мне по крайней мере казалось в ту минуту.

— Марья! — крикнул было Степан.— Ну иди, что ли! Что в самом деле: не съели тебя...

Женщина не ответила, но песня смолкла. Всем нам стало томительно и неловко.

— Эх... некстати маленько спросили,— сказал опять Степан.— Может, обошлось бы. Она ведь у меня занятная... Иной раз разойдется, песни заиграет...

— А когда вы с нею встретились? — спросил я, чтобы поддержать разговор.— И если вам не неприятно, расскажите, как это вы венчались бродяжьим браком?

— Слышали, значит? — спросил Степан встрепенувшись.— Нет, что же... У меня этого нет... Да что! Здесь такая сторона: никому нет дела! Я даже письма из дому получал...

В его лице появились признаки оживления. Видимо, воспоминания, на которые навел его мой вопрос, не были ему неприятны. Он только оглянулся в сторону Маруси и сказал, немного понижая голос:

— Если вам рассказать, например, всю историю, как мы с нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дело-то, если говорить по порядку, начинается с каторги.

Значит, ранней весной выбежали мы с товарищем с N-ских рудников. Только снег прошел... Речки еще играли. Ну, сначала скрывались поблизости, в тайге, подобно как звери. Бедствовали сильно. Потом выбились-таки на дорогу, к Чите подходить стали, месяца уже через полтора. Дождь, помню, шел с ночи... А дождь перестанет — туман... Так на горах и висит. Ну, дело по бродяжеству привычное. Идем, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочит, ветер высушит. Наплевать! Третий тут еще к нам прикомандировался, бродяжка тоже... Иваном назвался. Только верст этак, может, на десять от городу, вдруг из тумана двое на нас: «Стой, что за люди?» Потом посмотрели и говорят: «Нет, не те. Тоже варначье, да нам на этот раз не надобны. Черт с вами». И побежали дальше. Опомнились мы, перекрестились... «А ведь это, братцы,— говорит нам товарищ,— тревога! Непременно из замка кто-нибудь убежал. Надо нам с дороги-то податься в сторону».— «Давайте,— я говорю,— пойдем лучше за ними. Эти не тронули, а на других наткнемся, еще бог знает...» Ну, и пошли мы в ту самую сторону, куда эти двое побежали...

А в эту ночь действительно Маруся еще с подругой одной — из острога выбежали. Редкость это, конечно, что женщины бегут, ну тут, правда, помощь им была... В Читу пришли они в партии. Сами знаете, каково женщине в нашем быту...

— Да, подлость большая! — угрюмо сказал мой товарищ.

— Каторга верховодит,— пояснил Степан.— Продают баб, как скотину, в карты на майдане проигрывают, из полы в полу сдают. Ну, а она вдобавок — бедовая, непокорлива. И теперь знак есть: ножиком один пырнул. Как уж там было, бог ее знает, только слюбилась с одним... Тот ухарь был тоже, в обиду уже не давал. Вместе и в Забайкалье пришли. Ему на поселение, ей — в каторгу, только он так порешил, что им не расставаться. Ну, они две с подругой — в лазарет слегли, под видом болезни, а он билет взял и уже около тюрьмы рыщет... Сговорились. Лазарет к тому же по случаю перестройки был за оградой... У Даши тоже друг был, высидочный, и тоже с нею бежать надумал. Вот раз эта Даша и говорит надзирателю: «Принеси четверть вина».— «Рад бы, говорит, принести, да без старшого нельзя». А старшой... сказать вам...

Он запнулся, слегка покраснел, кинул быстрый

взгляд в ту сторону, где мелькала над грядками фигура Маруси... Она полола, и до нас опять долетало жужжание ее тихой песни. Степан некоторое время молчал, наткнувшись в рассказе на неожиданное препятствие. Мы не решались торопить его.

— Ну! — сказал он наконец, тряхнув головой.— Что уж тут, сами понимаете: каторга не свой брат. Так уж... что было, чего не было... только в этот вечер пошел у них в камере дым коромыслом: обошли, околдовали, в лоск уложили и старшого, и надзирателя, и фершала. Старшой так, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба с нашим братом что может сделать... А тут о головах дело пошло... Притом же — сонного в хмельное подсыпали...

Он остановился и затем продолжал уже свободнее.

— А на дворе дождь... Так и хлыщет, пылит, ручьи пошли. Мы эту погоду клянем в поле, а им самое подходящее дело. Темно. Дождь по крыше гремит, часовой в будку убрался да, видно, задремал. Окна без решеток. Выкинули они во двор свои узелки, посмотрели: никто не увидал. Полезли и сами... Шли всю ночь. На заре вышли к реке, куда им было сказано, смотрят, а там — никого!

Друзья-то, значит, сплоховали! Сошлись к вечеру у притонщика да, может, вспомнили, что теперь в лазарете делается. Ну, с горя хватили. Известно, слабость. Там еще бутылочку... Захмелели, да так, подумайте, и проспали ночь!.. На заре прокинулись: в городе уже тревога, выйти нельзя!

Так они от них и потерялись. Этим ждать нельзя, тем нельзя выйти. Перешли они реку, пошли тайгой на милость божию. А мы на тот случай тоже от греха сошли с дороги, идем лесными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третий товарищ отстал: прошлогоднюю ягоду все искал под кустами. Догоняет он нас и говорит: «Послушайте, братцы, что я скажу вам: тут вот две женщины в тайге сидят и плачут».— «Что ты, бог с тобой, каким тут женщинам быть».— «Не знаю, говорит, только юбки на них серые, арестантские». Удивились мы, а тут смотрим: вышли и они на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только все-таки мы пошли, они за нами. И подойти боятся, и отстать страшно...

Мы идем, смеемся себе. Выбились на проселок. Дождь кончился, от нас на солнышке пар валит. Встре-

тили сибиряка, трубочки закурили, потом сошли в овражек и сели. Они подошли, остановиться-то уж им неловко, идут мимо, потупились.

«Здравствуйте, говорим, красавицы».

«Здравствуйте».

«Кто вы такие будете?»

«Поселки... Идем в такую-то волость».

И называют действительно волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: «Где же вы судились?» — «В Ирбите».— «А за что?» — «За бродяжество. От мужей».— «Ну, уж это, говорю, извините, неправильно. Ежели бы вы в Ирбите судились за бродяжество, то надо вам не на поселение, а в каторгу. В Камышлове — дело другое». Слово за слово, спутались они, заплакали. «Не обижайте, говорят, нас, господа!» — «Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаем мы так, что из-за вас была тревога. Как же теперь: хотите с нами дальше идти?» — «Нам, говорят, с вами вместе никак нельзя... Идите вы вперед, мы уж как-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какие-нибудь и могут нас наши друзья догнать...»

Пошли мы этак. Идем впереди трое, я и говорю: «Вот что, господа. Ежели придется так, что нам этих женщин взять себе — как быть: их две, нас трое». Вот Иван, который после пристал, и говорит: «Берите себе, ребята, мне не надо. Мне и одному трудно, и годы не те. Не интересуюсь я. Они вместе шли, вы тоже вместе, вам и кстати. А я, может, отстану скоро». Справедливый был бродяга, нечего сказать. «Ну, это, говорим, хорошо. Без спору. Теперь нам двоим разбираться».— «Ты, говорю, товарищ, как хочешь?» — «Насчет чего?» — «Которую взял бы?» — «А ты?» — «Обо мне речь впереди. Говори сам».— «Ну, я, говорит, ту, которая повыше». Вот дело. Мне-то, признаться, Марья сразу в глаз пала...

Пошли. Они за нами идут. Конечно, дело женское. Нам и для них стараться надо. Запас вышел. В деревни, на заимки заходим, под окнами милостыню просим, кондаки эти тянем. Добываем и на себя, и на них. Чай станем варить — вместе сойдемся. Ночевать — уж они где-нибудь захоронятся... Шли этаким родом с неделю. Стали к Селенге подходить. Перевалили в одном месте через гору. Смотрим: на бережку люди сидят, дымок у них; видно, что бродяги, плот готовят, человек шесть. Вот Иван подозвал женщин и говорит: «Глупо вы это

делаете: друзья ваши, может, попались, может, запили, след потеряли. Теперь, ежели в артель ничьи войдете, ведь это грех выйдет из-за вас. Хотите с этими людьми дальше идти — говорите». Ну, они, конечно, видят, что это правда. Со старыми друзьями дело рассохлось... Притом же обзнакомились мы. Когда пошутим, когда посмеемся. Видят, что мы с ними по-благородному, не пьяницы, не буяны. Говорят: согласны.

Так мы и к артели этой пристали. Те нам рады: река быстрая, плыть трудно.

— А насчет женщин как же? — спросил мой товарищ.

— Что ж насчет женщин? — ответил Степан.— Пришли мы к ним уже не чужие... Притом же артель.

— Ну, в тюрьмах тоже артели,— сказал тот скептически.— Знаем мы артели ваши!

— Знаете, да, видно, не всё,— несколько обиженно ответил Степан.— Конечно, в тайге, с глазу на глаз... Тут иной подлец из-за бродней товарища не пожалеет. Ну, что касается в артели, да если есть старики... Вы вот послушайте дальше. Тут, можно сказать, дело у нас помудренее вышло, нивесть как и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

— Сгоношили мы немаленький плот,— рассказчик опять повернулся ко мне,— поплыли вниз по реке. А река дикая, быстрая. Берега — камень, да лес, да пороги. Плывем на волю божию день, и другой, и третий. Вот, на третий день к вечеру, причалили к берегу, сами в лощине огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плывет что-то. Сначала будто бревнушко оказывает, потом ближе да ближе — плотишко. На плоту двое, веслами машут, летит плотик, как птица, и прямо к нам.

«Здравствуйте, говорят».

«Здравствуйте».

«Можно к вашему огню присесть?»

«Садитесь, если вы добрые люди».

«Мы, говорят, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали».

«Что же вам за надобность? Мы вас не знаем».

«Может, кто и признает... Все ли вы тут в сборе?»

«Не все в сборе: две женщины вот по ягоды пошли».

«Ну, подождем. Придут они — мы свое дело скажем».

Посидели, поговорили о разном. О деле ни слова. Как

тут глядим: идут и наши женщины из лесу. Только стали к берегу подходить, гляжу я: встала моя Марья как вкопанная. Лицо белее рубашки. Дарья посмотрела, только руками всплеснула.

«Ну вот,— говорят гости,— спросите теперь у этих женщин,— знают ли они нас? Может, отрекутся».

Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мне ее другому, лучше не жить...

Дарья, посмелее,— вышла вперед и говорит:

«Не отрекаюсь. Вы с нами в партии шли, из тюрьмы вызволяли. Зачем потеряли?»

«Мы потеряли, другие нашли. Чья находка? — говорит один, повыше.— Вас тут семеро, нас двое... Какая будет ваша правда? Посмотрим мы, а отступиться не согласны».

Я говорю: «Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь что будет». Ну, старики нас развели и говорят: «Вот что. Вы, ребята, к нам недавно пристали, а тех и вовсе не знаем. Но как у нас артель, то надо рассудить по совести. Согласны ли? А не согласны — артель отступится. Ведайтесь, как знаете...»

Мы, делать нечего, согласились, те тоже. Стали старики судить, Иван с ними. Те говорят: «Мы с ними в партии шли. На майдане купили, деньги отдали, из тюрьмы вызволяли». Мы опять свое: «Верно, господа, так. А зачем вы их потеряли? Мы с ними, может, тысячу верст прошли не на казенных хлебах, как вы. По полсутки под окнами клянчили. Себя не жалели. Два раза чуть в острог не попали, а уж им-то без нас верно, что не миновать бы каторги.

Старики послушали наши споры, потом потолковали между собой и говорят нам:

«Все ли вы, ребята, с этими женщинами на поселении жить соглашаетесь или дорогой идти, потом бросить?»

Мы, конечно, говорим: согласны жить.

«Ну, так мы, дескать, вот как обсудили. Майдан теперь вспоминать не к чему. Это дело тюремное, на воле этот закон не действует. Из тюрьмы вы их вызволяли, так опять след потеряли от своей слабости. Опять это ни к чему. Ни на которую сторону не тянет. Спросим теперь самих женщин».

— Догадались все-таки! — усмехнулся мой товарищ.

— Это, конечно... правильно,— сказал Степан.— Ну, призвали женщин. Даша заплакала: «Ежели бы вы,

говорит, след не потеряли. Мы сколько время шли с ними, они нас не обижали...» А Марья вышла вперед и поклонилась в пояс.

«Ты мне, говорит, в тюрьме за мужа был. Купил ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значит, охотой к тебе пошла... За любовь твою, за береженье, в ноги тебе кланяюсь... Ну, а теперь, говорит, послушай, что я тебе скажу: когда я уже из тюрьмы вышла, то больше по рукам ходить не стану... Пропил ты меня в ту ночь, как мы в кустах вас дожидались, и другой раз пропьешь. Ежели б старики рассудили тебе отдать, только б меня и видели...»

Тот только потупился, слова не сказал. Видят, что дело их не выгорело. Один и говорит: «Я теперь в свою волость пойду», а другой: «Мне идти некуда. Одна дорога — бродяжья. Ну, только нам теперь вместе идти нехорошо. Прощайте, господа». Взяли котелки, всю свою амуницию, пошли назад. Отошли вверх по реке верст пяток, свой огонек развели.

Долго я ночью не спал, на их огонек глядел. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердце у него нехорошо теперь. Если человек отчаянный, то, может, огонь у него горит, а он берегом крадется... Ну, однако, ничего. Наутро — еще гор из-за тумана не видно — мы уж плот свой спустили...

Он замолчал.

— Ну а как же вы сюда-то вместе попали?

— Это уже дело проще. Зимовали у сибиряка в работниках. На другую весну опять пошли. Довел я ее до Пермской губернии. В Камышлове арестовались, показались на одно имя... Судят за бродяжество в каторгу, а за переполнением мест — в Якутскую область. В партии уже вместе шли, все равно муж и жена...

III. ПАХАРЬ ТИМОХА

Долгий летний день все еще горел своим спокойным светом, только в воздухе чуялось постепенное охлаждение. Зной удалялся незаметно вместе с блеском и яркостью красок.

Степан предложил поохотиться на гусей. Мой товарищ согласился. Я отказался и пошел от скуки пройтись по лесу. В лесу было тихо и спокойно, стоял серый полумрак стволов, и только вверху играли еще лучи, светилось небо и ходил легкий шорох. Я присел под

лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня совершенно незаметно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бывает результатом усталости на свежем воздухе.

Меня разбудили чьи-то мелкие шаги. Между стволов мелькала фигура Марьи; в руках у нее был платок с завязанным в нем горшком и хлебом. Очевидно, она несла кому-то ужин.

Кому же? Значит, население этого уголка не ограничивается Степаном и Марусей... Есть кто-то третий. И в самом деле, трудно было представить, что весь этот уголок разделан руками только двух человек. Для этого нужно было много упорного труда и своего рода творчества. Я вспомнил, каким тусклым и безучастным взглядом Степан смотрел на свои владения... Едва ли он играл в этом творчестве особенно видную роль. На всем здесь лежала печать Маруси, ее личности и ее родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крепкие мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурил еще папиросу и пошел в том же направлении, интересуясь этим неведомым третьим обитателем хутора.

Вскоре передо мной мелькнула лесная вырубка. Распаханная земля густо чернела жирными бороздами, и только островками зелень держалась около больших, еще не выкорчеванных пней. За большим кустом, невдалеке от меня, чуть тлелись угли костра, на которых стоял чайник. Маруся сидела вполоборота ко мне. В эту минуту она распустила на голове платок и поправляла под ним волосы. Покончив с этим, она принялась есть. С ней был еще кто-то, но за кустом мне его не было видно.

Один мой знакомый, считавший себя знатоком женщин, сделал шутливое замечание, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, с кем она охотнее ест. Это замечание внезапно мелькнуло у меня в голове при взгляде на спокойное лицо Маруси. С нами она была дика и неприступна; теперь в ее позе, во всех ее движениях сквозила интимность и полная свобода.

Мое положение невольного соглядатая показалось мне не совсем удобным, и потому, отступя несколько шагов по мягкому мху, я вышел на полянку в таком месте, где меня сразу могли заметить.

Мои подозрения рассеялись тотчас же, как только, приблизясь, я разглядел собеседника Маруси.

Это был человек, которому даже при пылком воображении трудно было навязать роль соперника удалого Степана. В то время как на последнем все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато — работник весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений треух беззаботно покрывал его голову с запыленными волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян. Возраст его определить было бы трудно: сорок, сорок пять, пятьдесят, а может быть, и значительно менее: это была одна из тех кряжистых фигур, покрытых как будто корою, сквозь которую не проступит ни игра и сверкание молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцветшие, полинялые от солнца и непогоды, едва выделялись на сером лице, и, только приглядевшись, можно было заметить в них искру добродушного лукавства.

Плохие якутские торбасишки он снял на время отдыха, и огромные ступни его торчали как-то нелепо из-под синих дабовых штанов.

— Хлеб-соль! — сказал я, кланяясь.

Он смотрел на меня несколько секунд, не отвечая, и потом сказал:

— Милости просим хлеба кушать...

— Можно присесть?

— Садись, не просидишь места.

Маруся не обратила на меня никакого внимания. Незнакомец зачерпнул несколько раз ложкой из горшка и, еще рассмотрев меня с деловитым любопытством, спросил:

— Из каких местов будете? Рассейские?

Я назвал свою губернию.

— Это что же — под Киевом?

— Да.

— Далече же,— произнес он и, отложив ложку, перекрестился.— Спасибо, хозяйка.

— А вы откуда родом?

— Мы-то? Мы калуцкие.

— А здесь давно?

— Здесь-то... Да уж, как тебе сказать, годов десятка полтора будет.

— Давно! — вырвалось у меня невольно.

— А мне, так будто и недавно. Поживешь сам годов с пяток, а там и не заметишь... Объявляли, скажем, манифесты. Мне хоть сейчас ступай куда хошь, хоть в Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мне опять вспомнился Степан, выбежавший из каторги, прошедший с Марусей всю Сибирь, и я с невольным жутким чувством посмотрел на этого человека, напоминавшего обомшелый пень, выкинутый волной на неприветливую отмель.

Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из пепелища горячий уголь, который, казалось, нисколько не жег его руку...

— Куда пойдешь? — сказал он, выпуская дым изо рта, и мне стало еще более жутко от этой безнадежности, потерявшей даже свою горечь...— Нет, брат, попал сюда, тут и косточки сложишь...

Он посмотрел на меня из-за клубов дыма, и какая-то мысль залегла где-то в неясной глубине его серых глаз.

— Этакой же вот Ермолаев был, когда мы с ним в дальном улусе встретились. Молодой... Я, говорит, здесь не заживусь... Не зажился: теперь уж борода седая...

И он опять посмотрел на меня.

— Вы это о каком Ермолаеве говорите? О Петре Ивановиче? — спросил я.

— Ну, ну, знакомцы, видно?

— Встречались.

Он откинулся спиной на пень и принял позу человека, наслаждающегося отдыхом.

— Да... жили мы с ним,— сказал он, вспоминая что-то.— Душевный человек. Ну! чудак... А не говорил он тебе про меня?

— Нет, не говорил...

— Про Тимоху-то?.. Как мы с ним в улусе землю зачали пахать?

— Нет, не говорил. А вы расскажите сами.

— Рассказать тебе?.. Пожалуй, еще не поверишь...

— Расскажи,— вдруг тихо и застенчиво вмешалась Маруся...

— Любит,— сказал Тимофей, усмехнувшись в сторону Маруси.— Все одно — сказку ей рассказывай...

Он затянулся махоркой, посмотрев кверху, где тихо качались верхушки лиственниц и плыли белые облака, и сказал:

— Да... и верно, что сказка. Поди, в нашей деревне

тоже не поверят, какие народы есть у белого царя. Значит... пригнали меня в наслег, в самый дальной по округе. А Пётра-то Иваныч там уже. Сидит... в юртешке в махонькой, да книжку читает...

В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек.

— Ну, я, конечно, русскому человеку рад: «Здравствуйте, говорю, ваше благородие». Потому вижу: обличье барское. «Какое, говорит, я благородие. Такой же, говорит, жиган, как и вы».— «Ну, это, говорю, спасибо на добром слове. А как вас величать?» — «Пётра, говорит, Иваныч. А вас?» — «А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дело мое мужицкое».— «Нет, говорит, не идет это...» Чудак!.. Так и пошло у нас: я ему — Пётра Иванович... А он мне: Тимофей Аверьянович!.. А генеральской сын... Ну хорошо. Напоил меня чаем, потом сел на ороне, смотрит на меня. Я на него смотрю... «Что же, говорит, теперь мы с тобой, Тимофей Аверьянович, делать будем?» — «Не знаю, говорю, Пётра Иванович. Кабы так что лошадь, да соха, да семены — землю бы пахать, чего боле! Да, вишь, нет ничего. Палкой ее не сковыряешь, песком не засеешь».— «Это бы, говорит, ничего. Об лошади дело малое, соху, пожалуй, тоже — хоть далеко — достанем. Да я сроду не пахивал».— «Это, говорю, ничего. Ты не умеешь, я умею. Уродит бог, оба сыты будем. Земли, слышь, много, земля, я поглядел, хороша».

В это время издалека донесся звук выстрела.

— Постреливает твой-то... хозяин,— сказал Тимоха с юмором, обратясь к Марусе. Мне показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тень.

— Ну,— продолжал Тимофей,— купил он лошадь, за сошником да лемехом за двести верст смахал. Сладил я соху, выбрали местечко под лесом. Здесь лес хороший, сладкий. У сосны, брат, прямо тебе скажу, никогда не паши, потому — сосновая игла едучая. А листвень много слаще... Поехал мой Пётра Иваныч за семенами к скопцам, а тут как раз и ударь дожжиком, да теп-лым. Снег-от мигом съело, пошла из земли трава. Так тебе и лезет, все одно на опаре. Ну, думаю: когда так, то, видно, зевать нечего. Помолился, да на зорьке выехал с сошкой... Налей-ка ты мне, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила в чашку густого кирпичного чаю, подала Тимофею и тотчас же уставилась в него своими

странными черными глазами. Тимофей налил чай на блюдце и поставил на траву, рядом с собой.

— Побился я этот день порядочно,— продолжал он,— земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой: не то что на него надеяться: чуть зазевался, уж он норовит порскнуть в лес, да и с сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломал я его: руки вожжами мало из плеч не вытянул, а все-таки к вечеру с четверть десятины места отпластал. Посмотрел на пашенку — сердце в груди взыграло: значит, сподобил господь в пустыне пашенку поднять. Лежит моя полоска на взлобочке — бархат... Однако пора пришла и шабашить. Дело субботнее: в нашей, мол, деревне, пожалуй, уже и к вечерням ударили. И ведь вот, братец мой, чудесное дело: только я это подумал — слышу, и верно ударило. Раз, другой, третий... этак вот из-за лесу наносит — звон, да и только. Снял я шапку лоб перекрестить, да вдруг и вспомнил: с нами сила крестная. Да ведь здесь и церквы-то верст, почитай, на пятьсот нету!..

Из груди Маруси вылетел долгий вздох.

— Ну, пошабашил все-таки, приехал домой. А изба наша, тебе сказать — юртенка, недалече была за перелеском, с версту не более от пашни. Подъезжаю — а у моей юрты два вершные якута сидят. Лошадей к лесине подвязали, сами на бревне беседуют, дожидаются. Раньше тоже тут все вертелись. Я, значится, пашу, а они, ухастые, кругом рыщут да смотрят. Ну, мне будто ни к чему: не на разбой выехал, на пашню. Смотри, кому охота. Подъехал, честь честью, здороваются, я тоже. Зовут на муняк (сходка) к тойонше. Сказать вам по порядку, так была в нашем улусе за начальника баба, по-ихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну язва! Все, значит, что мы ни делаем, ей известно. Я борозду кончил, другую веду, уж ей обсказали. И, значит, зовет меня к себе. Ладно, мне что: зовет, надо идти. Наутро, праздничное дело, рубаху чистую надел, иду к ней, потому все-таки, как бы там ни было, начальница считается. Прихожу. Кругом юрты лошадей навязано много. Сама на дворе сидит... Поклонился я, стал в стороне: что, мол, будет. Забалакали они по-своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потом зовет меня ближе.

«Ты, говорит, нюча (русский), чего это делать задумал?»

«Ну, мол, известно чего: землю пашу. Значит, я ей говорю по-своему, по-руськи, а старик якут переводит».

«Не моги, говорит, ты этого делать. Мы, говорит, хоть об этом заведении слыхивали, но, однако, в наших местах не дозволим».

«Как же, я говорю, не дозволите? Ежели нам земля отведена, то, стало быть, я ей хозяин, глядеть мне на нее, что ли?»

«Землю, говорит, мы тебе отвели для божьего дела: коси, что бог сам на ней уродит, а портить не моги».

Вот и подумайте, какое ихнее понятие! Ну, однако, вижу, стоят кругом родовичи, ждут, что ихней бабе русский человек может от себя соответствовать. «Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому как бог велел трудиться».

«Трудись, говорит. Мы тоже, говорит, без труда не живем. Когда уже так, то согласнее мы тебе дать корову и другую с бычком, значит, для разводу. Коси сено, корми скотину, пользовайся молоком и говядиной. Только греха, говорит, у нас этого не заводи».

«Какой грех?» — говорю.

«Как же, говорит, не грех? Бог, говорит, положил так, что на тебе, например, сверху кожа, а под ней кровь. Так ли?»

«Так, мол, это правильно».

«Ежели тебе кожу снять да в нутро положить, а внутренность, например, обернуть наружу, ты что скажешь?»

«Это, говорю, вы надо мной, руським человеком, не можете никак...»

«А ты, говорит, что над землей-то делаешь? Вы, говорит, руськие люди, больно хитры — бога не боитесь... бог, значит, положил так, что трава растет кверху, черная земля внизу и коренье в земле. А вы, говорит, божье дело навыворот произвели: коренье кверху, траву закапываете. Земля-те изболит, травы родить нам не станет, как будем жить?» Вот видишь ты, куда повернула! Говори ты с ними, с поганью. Если бы я грамотный был... После-то уж мне сказал священник: «Ты бы, говорит, им от Писания: в поте лица твоего снеси хлеб. А откуда хлебу быть, ежели землю не пахать». Видишь ты вот: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Так вот и я, на тот случай ничего не мог насупротив сказать, сбила меня колдунья словами. «Мне, говорю, с вами и говорить не надобно: потому вы не те слова выражаете... У вас свой климáт, значит, якутской, у меня климáт руськой. Я от своего климáта не отстану,

и Пётра Иваныч тоже». Признаться, вступило в меня в ту пору маленько, потому досада. Сердце загорелось, главное дело, что ответить не могу. Потолкал кое-кого порядочно, даром что много их было. «Вот, говорю, подлецы вы, нечисть лесная! Сколько вас ни есть, выходи!» Известно, народ не хлебный: молоко да мясо, да рыба тухлая. А у нас с Пётром-то Иванычем хлеб все-таки не переводился. Хлебному человеку — десятерых на одну руку...

— Ну, и что же?

— Ну, порастолкал, ушел. Думаю так — что жизни решусь, а от своего, значит, клима́ту не отступлюсь. Только бы Пётра Иваныч скорее вернулся. Пришел домой, лошадь напоил-накормил, богу на солнушко помолился, спать лег пораньше, топор около себя на случай положил... Ну, правду скажу: ночь без малого всю не спал: только задремишь — почудится что-нибудь... будто крадется кто... Один ведь — кругом лесище... притом еще, как все-таки окровянил я одного, другого, так как бы, думаю, по этому случаю греха не сделали... Концы тоже спрятать недолго. Приедет мой Пётра Иваныч, где, мол, Тимофей-то свет Аверьяныч мой... А Тимохи, ау! — и след простыл.

Он остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказ расшевелил Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнее... У каждого из нас есть свой выдающийся период в жизни, и теперь Тимофей развертывал перед нами свою героическую поэму.

Мой взгляд случайно упал на Марусю. Она как будто застыла вся в волнении и ожидании.

— В силу солнушка дождался,— продолжал Тимофей.— Ну, ободняло, выкатилось солнушко, встал я, помолился, лошадь напоил в озере, запрег. Выезжаю из-за лесу, к пашенке... Что, мол, за притча: пашни-то, братцы, моей как не бывало.

Из груди Маруси вырвался долгий вздох, почти стон... Ее лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участие, и мне невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло об его похождениях среди варваров. Тимофей с неожиданным для меня инстинктом рассказчика остановился, поковырял в трубке и продолжал, затянувшись:

— С нами, мол, крестная сила. Где же пашня моя? Заблудился, что ли? Так нет: место знакомое и прикол

стоит... А пашни моей нет, и на взлобочке трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому — шаманы у них, сам знаешь, язвительные живут, сила у дьяволов большая. Навешает сбрую свою, огонь в юрте погасит, как вдарит в бубен, пойдет бесноваться да кликать, тут к нему нечисть эта из-за лесу и слетается.

— Маты божая! — простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрел на нее, и его серые глаза еще больше заискрились...

— Сотворил я крестное знамение, подъезжаю все-таки поближе... Что ж ты думаешь: она, значит, бабища эта, ночью с воскресенья на понедельник народ со всего наслега сбила... Я сплю, ничего не чаю, а они, погань, до зари над моей полоской хлопочут: все борозды как есть дочиста руками назад повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а кореньем книзу. Издали-то как быть луговина. Примята только.

Маруся засмеялась. Смех ее был резкий, звонкий, прерывистый и неприятно болезненный. Несколько раз она как-то странно всхлипнула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ее лица, я понял, что все пережитое нелегко далось этой моложавой красавице. Тимофей посмотрел на нее с каким-то снисходительным вниманием. Она вся покраснела, вскочила и, собрав посуду, быстро ушла в лес. Ее стройная фигура торопливо, будто убегая, мелькала между стволами. Тимофей проводил ее внимательным взглядом и сказал:

— Э-эх, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда-ни-то, в самую глушь.

— Отчего? — спросил я.

— Поди ты! Нельзя смеяться-то ей. Как засмеется, то потом плакать. Об землю иной раз колотится... Порченая, что ли, шут ее разберет.

Я не мог разобрать, сочувствие слышалось в его тоне, сожаление или равнодушное презрение к порченой бабе. И сам он казался мне неопределенным и странным, хотя от его бесхитростного рассказа о полоске, распаханной днем, над которой всю ночь хлопочут темные фигуры дикарей, на меня повеяло чем-то былинным... «Что это за человек,— думал я невольно,— герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?»

Несколько минут я ворочал в голове этот вопрос, но

ответа как-то ниоткуда не получалось. Только легкий протяжный и как будто мечтательный шорох тайги говорил о чем-то, обещал что-то, но вместо ответа веял лишь забвением и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядела на меня без всякого определения...

— Тимофей,— обратился я к нему после некоторого молчания.— Что же, после этого вы бросили хозяйничать?

— Где бросить. Нешто можно это, чтобы бросить... Спахали опять, заборонили, я ружьем пригрозил. Ну, все-таки одолели, проклятая сила. Главное дело — заседателя купили. Перевели нас с Пётром Иванычем в другой улус, поближе к городу. Тут ничего, жили года два...

В глазах его опять засветился насмешливый огонек, и он сказал после короткого молчания:

— Потом разошлись. Не вышло, видишь ты, у нас дело-то. Я ему, значит, говорю: «Ты, выходит, Пётра Иванович, хозяин, я работник. Положь жалованье». А он говорит: «Я на это не согласен. Мы, говорит, будем товарищи, все пополам».

— Ну и что же? — спросил я с интересом.

— Да что: говорю, не вышло.

Он поглядел перед собой и заговорил отрывисто, как будто история его отношений к Ермолаеву не оставила в нем цельного и осмысленного впечатления...

— Отдал Ивану телку... шести месяцев. Я говорю: «Ты это, Пётра Иванович, зачем телку отдал?» — «Да ведь у него, говорит, нет, а у нас три».— «Хорошо, я говорю. Пущай же у нас три. Мы наживали... Он себе наживи!» Сердится! «Ты... говорит... мужик, значит, хресьянин. Должон, говорит, понимать».— «Ну, я говорю, ты, Пётра Иванович, ученый человек, а я телку отдавать не согласен...» Ушел от него... К князю в работники нанялся...

— А за что вы сюда попали? — спросил я, видя, что этот предмет, очевидно, исчерпан.

— Мы-то? — Он взглянул на меня с оттенком недоумения, как человек, которому трудно перевести внимание на новый предмет разговора.— Мы, значит, по своему делу, по хресьянскому. Главная причина из-за земли. Ну, и опять, видишь ты, склёка. Они, значит, так; мир, значит, этак. Губернатор выезжал. «Вы, говорит, сроки пропустили...» Мы говорим: «Земля эта наша, деды пахали, кого хошь спроси... Зачем нам сроки?» Ничего не примает, никаких то есть резонов...

— Жена, дети остались у вас на родине?

— То-то, вот видишь ты. Жена, значит, померла у меня первым ребенком. Дочку-то бабушка взяла. Мир, значится, и говорит: «Ты, Тимоха, человек, выходит, слободнай». Ну, оно и того... и сошлось этак-то вот.

Он, очевидно, не хотел вдаваться в дальнейшие подробности, да, впрочем, и без рассказа дело было ясно. Мир, бессильный перед формальным правом, решил прибегнуть к «своим средствам». Тимофей явился исполнителем... Красный петух, посягательство на казенные межевые знаки, может быть, удар слегой «при исполнении обязанностей», может быть, выстрел в освещенное окно из темного сада...

— Вы, значит, попали сюда за мир,— сказал я.

— То-то... выходит так, что за мир... Видишь ты вот.

— А мир вам не помогает в ссылке?

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Мир-от? Да, я чаю, наши и не знают, где моя головушка.

— Да вы разве писем не писали?

— Я, брат, неграмотный. В Рассее писал мне один человек, да, видно, не так что-нибудь. Не потрафил... А отсель и письмо-то не дойдет. Где поди! Далеко, братец мой! Гнали, гнали — и-и, боже ты мой!.. Каки письмы! Этто, годов с пять, человек тут попадал, от нашей деревни недальной. «Скажите, говорит, Тимофею, дочку его замуж выдали...» Правда ли, нет ли... Я, брат, и не знаю. Может, зря.

Он сидел рядом со мной, завязывая обувь, и говорил удивительно равнодушно... Я глядел на него искоса, и мне казалось только, что его выцветшие от зноя и непогод серые глаза слегка потускнели. Некоторое время мы оба помолчали. Думал ли он о далекой родине, о дочке, вышедшей неведомо за кого замуж, о мире, который не знает, где теперь «слободный человек» Тимоха, пострадавший за общее дело. Может быть, теперь никто, даже родная дочь, не вспоминает о нем в родной деревне, где такие же Тимохи в эту самую минуту тоже ходят за своими сохами на своих пашнях. И кто-нибудь пашет полоску Тимохи, давно поступившую в мирское равнение, как выравнивается круг на воде от брошенного камня... Был Тимоха, и нет Тимохи... Только разве у старухи матери порой защемит сердце и слеза покатится из глаз. И то едва ли: старуха, пожалуй, на погосте...

— То-то,— сказал он, помолчав.— Грешим, гре-

шим... А много ли и всего-то земли надо? Всего, братец, три аршина.

Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, земля землей, грех грехом, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не состояла...

И опять смутный звон леса затянул для меня все более определенные впечатления.

— Так и живете все? — спросил я через несколько минут.

— Так вот и живу в работниках на чужедальной стороне.

— Неужто нельзя было во столько времени устроить своего хозяйства?

Он почесал в голове.

— Оно, скажем, того... Просто сказать тебе... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имею. Денег нет, оно и ничего. А с деньгами-то горе...

Он виновато улыбнулся.

— Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего надо купит... Не обидит... Не баба — золото! — прибавил он, внезапно оживляясь.— Даром что порченая... Кабы эта баба да в другие руки...

— А Степан?

— Что Степан! Вон, слышь, постреливает. На это его взять. Птицу тебе влёт сшибет, на озере выждет, пока две-три в ряд выплывут,— одной пулькой и снижет... Верно!

Он засмеялся, как взрослый человек, рассказывающий о шалостях ребенка.

— Ухорез, что и говорить. За удальство и сюда-те попал. С каторги выбежал, шестеро бурят напали — сам-друг от них отбился, вот он какой. Воин. Пашня ли ему, братец, на уме? Ему бы с Абрашкой с Ахметзяновым стакаться — они бы делов наделали, нашумели бы до моря, до кияну... Или бы на прииска... На приисках, говорит, я в один день человеком стану, все ваше добро продам и выкуплю... И верно — давно бы ему на приисках либо в остроге быть, кабы не Марья.

Он помолчал и через некоторое время прибавил тише:

— Венчаться хочут... Все она, Марья, затевает. Они, положим, по бродяжеству вроде как венчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лице, и он продолжал:

— Круг ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты, недостаточно, желает у попа.

— Да ведь он бродяга!

— То-то и оно: непомнящий; имени-звания не объясняет. Она то же самое. Ну, да ведь... не Рассея. Знаешь сам, какая здесь сторона. Гляди, за бычка и перевенчает какой-нибудь.

Он неодобрительно вздохнул и покачал головой.

— А все Марья... Не хочется как-нибудь, хочется по-хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у вас не выдет... Хошь венчайся, хошь не венчайся, толку все одно ничего!.. Слышь, опять выпалил...

— А вы, Тимофей, не любите Степана,— сказал я.

Он как будто не понял.

— Что мне его любить? Не красная девушка... По мне, что хошь... Хошь запали с четырех концов заимку...

И, окончив обувание, он встал на ноги.

— Нутра настоящего нет... человек не натуральный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортит. Дюжой, дьявол! Ломит, как медведь. Потом бросит, умается... Ра-бот-ник!

Он понизил голос и сказал:

— Этто Абрашка-татарин приезжал. Она его ухватом из избы... А потом поехал я на болото мох брать, гляжу: уж они вдвоем, Степашка с татарином, по степето вьются, играют... Коней менять хочут. А у Абрашки и конек-то, я чаю, краденой.

Через несколько минут он уже ходил за сохой, внимательно налегая на ручку.

— Ну, ну, не робь,— поощрял он лошадь,— вылазий, милая, копайся... Н-нет, вр-решь,— возражал он кому-то, с усилием налегая на соху, когда какой-либо крепкий, не перегнивший корень стремился выкинуть железо из борозды. Дойдя опять до меня, он вдруг весь осклабился радостной улыбкой.

— Пашаничку на тот год посеем. Гляди, кака пашаничка вымахнет... Земля-то — сахар!

Он весь преобразился. Очевидно, в этой идее потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами... И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи.

У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая лиственница. Несколько лет назад деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападению: вероятно, какой-нибудь враг положил свои личинки в сердцевину — и рост дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затем, после нескольких лет борьбы, тонкий ствол опять выпрямился, и дальнейший рост шел уже безукоризненно в прежнем направлении: внизу опадали усохшие ветки и сучья, а вверху, над изгибом буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мне показалось, что я понял тихую драму этого уголка. Таким же стремлением изломанной женской души держится весь этот маленький мирок: оно веет над этой полумалорусской избушкой, над этими прозябающими грядками, над молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей (березы здесь редки — и ее, вероятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигает вечного работника Тимоху и сдерживает буйную удаль Степана.

IV. БЕЛАЯ НОЧЬ

Матово-белая, свежая ночь лежала над лугами, озером и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытом сеновале.

— Вы не спите? — спросил меня товарищ.

— Недавно проснулся.

— Ничего не слыхали?

— Нет, а что?

— Мне показалось, будто кто плакал. Вероятно, хозяйка.

— Может быть, вам почудилось?

— Едва ли. Этот Степан, должно быть, жох. Как, по-вашему?

— Вы с ним были дольше, чем я. Я только и слышал его рассказ.

— Бродяжья идиллия,— сказал он саркастически.— Вы уже, конечно, записали... Хотел бы я знать, есть ли туть хоть слово правды!

— Отчего же?

— Ну, да я знаю: у вас они все «искру проявляют». Вот и этот еще тоже с искрой, должно быть.

Он приподнялся и посмотрел на лежавшего рядом

Тимоху, который, забившись лицом в сено, храпел и вздрагивал, точно в агонии. Очевидно, этот храп не давал спать моему товарищу и, кажется, разбудил и меня. Должен сознаться, что и в позе Тимохи, и в его богатырском храпе мне тоже чудилось в эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, как будто насмешка над нашей нервной деликатностью.

В тоне моего товарища я уловил знакомую ноту. Пустынные места и постоянное ограниченное общество, вне родственных и живых интересов, развивают особое, болезненное настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только навстречу разнообразию среды: без этого она застаивается и тускнеет. В таком настроении бородавка на щеке постоянного товарища, знакомый тон его голоса, слишком хорошо известные мнения вызывают глухое нерасположение, даже злобу. Припадки глубокой ипохондрии — специфическая болезнь пустынных мест,— и мы, по взаимному договору, старались не тревожить друг друга в такие минуты.

Поэтому, не отвечая ни слова на саркастические замечания товарища, в другое время относившегося к людям с большим добродушием и снисходительностью, я сошел с сеновала и направился к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело поворачивались к воде, над которой, выжатая утренним холодком, висела тонкая пленка тумана. Утки опять сидели кучками на середине озера. По временам они прилетали парами с дальней реки и, шлепнувшись у противоположного берега, продолжали здесь свои ночные мистерии...

Я пустил лошадей к воде. Обе они вошли в озеро по грудь и пили с жадностью, порой разбрызгивая воду, как бы сознательно наслаждаясь ее изобилием. По временам они подымали морды и начинали прислушиваться к чему-то в тишине белой ночи. Я тоже невольно вслушался. Из-под тихого шелеста тайги чуть внятно проступал какой-то протяжный далекий звон... По мере того как чуткое ухо ловило его яснее, он принимал все более определенные, хотя и призрачные формы: то будто мерно звенел знакомый с детства колокол в родном городе, то гудел фабричный свисток, который я слышал из своей студенческой квартиры в Петербурге... А за ними вставал целый ряд таких же призраков-звуков, странно тревоживших душу каким-то щемящим очарованием.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и вздыхала. И вдруг какое-то жуткое по своей определенности ощущение — бессознательный вывод из накопившихся впечатлений — встало в моем воображении... Что слышится обитателям этого угла в голосах пустынной ночи или когда кругом завоет зимняя метель? Какие призраки шлет им эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зовет их, к чему она их манит, что обещает? Удастся ли Марусе удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или прав лаконический Тимоха со своими пессимистическими предсказаниями: все это не настоящее, раз сломанной душе уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолеет ее усилия?..

В избушке скрипнула дверь. На пороге показался Степан. Он постоял несколько секунд, посмотрел на небо, потом лениво пошел в лес, захватив предварительно узду. Через несколько минут послышался резкий топот, и Степан выехал из лесу на буланом жеребчике. Лошадь бежала как-то капризно и резво; подъехав к берегу озера, Степан спрыгнул на бегу и, напоив коня, привязал его к городьбе. Когда затем он опять подошел к берегу, глаза его были тусклы, точно чем-то завешены. Он остановился и стоял над водой молча и неподвижно. Вероятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Через минуту он вздрогнул, как будто от холода...

— Свежо! — сказал я, чтобы привлечь его внимание.

Он оглянулся, но как будто даже не сразу заметил меня. Потом так же машинально подошел и сел рядом со мной на бревне. Мне показался он странным, как будто даже больным. Вчера в нем было заметно оживление человека, потянувшегося навстречу новому знакомству. Теперь он покорно, без мысли отдавался какому-то внутреннему настроению...

По верхушкам леса потянулся гул от предутреннего ветра... Деревья сначала заговорили глубоким хором, потом гул рассыпался на отдельные голоса, пошептался и начал стихать.

Степан повернулся в сторону леса, как только что на мой оклик.

— Ветер,— сказал он с тем же малоосмысленным выражением и вдруг посмотрел на меня взглядом, полным глубокой тоски.

— Мочи нет,— сказал он с приливом внезапной откровенности.— Поверите, никакой возможности моей...

— Что же такое, Степан? — спросил я с невольным участием.

— Выйдешь на озеро... все эта тайга шумит... Кругом пусто... Да еще вот эти проклятые.

С неожиданной яростью он схватил ком сухой грязи и кинул в туман, лежавший над озером. Там, точно сквозь матовое стекло, виднелись неясные, увеличенные контуры птиц. Когда комок шлепнулся среди них, в туманной дымке слегка зашевелились грузные очертания...

Однако резкое движение и плеск на озере, по-видимому, несколько привели его в себя. Он сел опять и опустил голову на руки.

— Трудно здесь жить, господин...

— Ну что ж, Степан. Вам бы и в самом деле на прииски.

— Маруся не идет.

— Ну, вы бы на зиму уходили, а летом опять сюда... Зарабатывали бы там, и в хозяйстве подспорье. А здесь Маруся с Тимофеем справятся.

Он повернулся ко мне и долго глядел в глаза, как будто что-то выпытывая.

— Нет, господин... Это нельзя... Это уже, значит... кончено...

Потом, помолчав, он спросил:

— А вы Тимофея откуда знаете?

— Вчера был у него на расчистке.

— И Марья там была?

— Была.

— Ну-ну! Вы не глядите на него, на Тимофея. Парень не простяк...

И опять ко мне повернулись светлые глаза на еще более потемневшем лице. В них теперь ясно проступило выражение ненависти. Я подумал, что это та же знакомая нам болезнь пустынных мест и ограниченного общества... Только враждебные чары пустыни произвели уже более глубокие опустошения в буйной и требующей сильных движений душе. В эту минуту из троих обитателей заимки к настроению Степана я почувствовал наиболее близости и симпатии.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потом неуклюжая фигура Тимохи сползла по лестнице с сено-

вала. Маруся принялась доить коров, Тимоха запрег лошадь и привез к огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимке начинался день... Небо над верхушками гор слабо окрашивалось, но мы находились еще в длинной тени, покрывшей всю равнину... Кроме того, по небу развесилась тонкая подвижная пелена тумана...

Часа через полтора мы выехали с заимки втроем. Степан ехал с нами. У его седла висели большие кожаные переметы — очевидно, его путь был не близок. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доехав до проезжей дороги, он указал нам наше направление, а сам повернул к реке. Через некоторое время мы увидели на другой стороне ее небольшую темную точку, подымавшуюся по меловым уступам крутого берега.

— Зачем это его понесло за Нелькан? — задумчиво спросил мой товарищ.

— А вы знаете, что он поехал туда?

— Да. Говорит — к попу. Врет, должно быть! Какие у него дела с попами? Правду сказать, подозрительна мне вся эта идиллия.

— Думаю, что вы ошибаетесь,— сказал я, не вступая, однако, в спор. Мне вспомнились слова Тимофея о желании Маруси. В той стороне, куда ехал теперь Степан, лежали дальние якутские улусы, а затем — тунгусская пустыня, в которой нет ни церквей, ни приходов в нашем смысле... Кое-где только, в тайге, стоят наглухо заколоченные часовенки, открывающиеся к редким приездам священников. Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых давно истлели в земле. Удаленность от епархии и постоянные узаконенные обычаем отступления от канонических правил делают их особенно снисходительными к разного рода формальным препятствиям, и я догадался, что, вероятно, Степан направляется к такому попу, прикочевавшему, быть может, к границе своего огромного прихода, чтобы удовлетворить заветному желанию Маруси.

Скоро темная точка на горной тропе исчезла... Наши лошади бежали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву с луговыми цветами...

Я ничего не узнал о результате переговоров Степана с попом.

Степан и Марья были два раза в слободе и останавливались у нас, как уже знакомые. Степан оживлялся на людях, Маруся была по-прежнему молчалива и необщительна. Год выдался плохой, хлеб во многих местах побило ранними заморозками, но у Маруси все уродилось хорошо. Ее огурцы, которые она солила каким-то особенным способом, пользовались известностью даже в городе, и случалось — за ними приезжали нарочные казаки за полтораста верст. Этому не следует удивляться: расстояния совсем не пугают в этих дальних, редко населенных местах. Один американский путешественник по Сибири с удивлением рассказывал в своей книге, как однажды около Колымска его нагнал посланный губернатором казак, чтобы почтительно вручить ему портсигар и круг мороженого масла, забытые им на станции в Якутске. А от Якутска до Колымска более полутора тысяч верст!

Впрочем, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить их приискателям. Дела свои она вела спокойно, деловито и твердо.

— Кремень баба! — говорил о ней торговец, причем в тоне его слышалось благоволение к красивой смуглянке и уважение к хорошей хозяйке.

Степан без особого дела бродил по слободе, заходил к татарам и приценивался к лошадям, делая вид, что хочет выменять своего буланка. Иной раз он возвращался к ночи чуть-чуть навеселе, но не пьяный. Вообще, я присматривался к своим гостям и спрашивал себя с удивлением: неужели то, что мелькнуло передо мной в белую ночь на дальнем озере,— только моя фантазия?..

Между тем незаметно подходила осень. Уже с августа утренники крепко стискивали землю. К середине дня она едва успевала оттаять под косыми лучами солнца, как уж с ранних сумерек ее опять начинало примораживать. Воздух был чист и прозрачен, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной земле...

В один из таких дней телега Маруси и Степана опять остановилась у наших ворот. День был холодный и яс-

ный, кроме того, была суббота, и на улице виднелись кучки татар. Прямо против нашего двора, на завалинке, сидел мой сосед, татарин Абрашка, тот самый, которого Маруся выпроводила от себя ухватом. Он был навеселе и как-то иронически окликнул Степана, когда тот стал снимать жерди наших ворот. В татарской фразе мне послышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчание. По ее лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, белокурые усы и брови выступили резко и неприятно. Он ничего не ответил и стал вводить лошадь в открытую городьбу.

Абрашка громко засмеялся. Его поддержали сидевшие рядом соседи.

Абрам Ахметзянов был человек в своем роде замечательный. Как сам он, так и его жена Гарифа, которую, впрочем, в слободе называли Марьей, совсем не были похожи на монголов. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но с мягкими правильными чертами, и большие, ласкающие, добрые глаза... Она же представляла из себя типическую русскую красавицу, несколько располневшую, с бойким и, что называется, бедовым взглядом. Абрашка любил ее до безумия, но про нее говорили, что она нередко ему изменяла. Однажды ночью, вернувшись неожиданно домой, он зачем-то стрелял около своей юрты. Говорили на другой день, что меховая шапка некоего Абдула Сабитуллина оказалась простреленною дробинами и что только густо вышитая тюбетейка спасла его лысую голову. Сабитуллин был богатый старик... Некоторое время он опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды последний, неожиданно встретясь с ним на улице, кинулся на него, как кошка. Старого Абдула едва вырвали из рук исступленного Абрашки. Но я видел Абрама и Марью на третий день после выстрела: она держала себя с таким же сознанием своей опьяняющей, чувственной красоты, а он смотрел на нее таким же покорно-влюбленным взглядом.

Он пользовался репутацией самого отчаянного головореза и ловчайшего вора. Я долго не хотел верить этому. Он был нашим ближайшим соседом и нередко оказывал мне и моим товарищам соседские услуги. При этом в глазах его светилось такое простодушное расположение, что я не мог примирить с этим молву об его подвигах. Только однажды, после какого-то нового дву-

смысленного происшествия с Марьей, он сильно пил несколько дней и пришел ко мне под вечер возбужденный и несколько дикий.

Некоторое время он сидел на лавке, глухо стонал, покачивался и глядел перед собой мутным взглядом. Потом вгляделся в меня и, как будто узнавая, где находится, сказал:

— А! вот это я у кого. Так! Слушай, русский, что я тебе буду говорить.

— Говори, Абрам, что тебе нужно?

— Уезжаете вечером... приезжаете ночью... Дом бросаете пусто...

— Так что же?

— Тронули у вас что-нибудь татаре?

— Нет, не тронули.

— Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, брат, с Абрашкой!..

— Нет, Абрам,— ответил я по возможности спокойно.— Водки я не поставлю.

— Почему не поставишь?

— Ты сам знаешь: мы к вам водку пить не ходим. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться от вас мы не станем.

В глазах Абрама промелькнуло сознание.

— Что ты! Брат! — сказал он как-то страстно.— Неужто, сохрани бог, я за этим. Абрам Ахметзянов не каплюжник... Пьян только Абрашка. Сердце загорелось... водки надо... много водки надо. А Марья, брат, не дает...

Последнюю фразу он произнес каким-то жалким шепотом. Потом, внезапно поднявшись, он подошел ко мне, положил руку мне на плечо и, крепко сжав его, наклонил ко мне свое пылающее лицо. Глаза его были такие же добрые, только стали как будто больше и искрились почти восторженно...

— Что вы за люди? — сказал он.— Я не знаю, что вы за люди... А я вот какой человек... Ах, бр-рат!.. Ежели бы мне не Марья... давно бы я себе каторгу заработал!

Я был поражен глубиной и непосредственностью этого восклицания. Тут была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая уверенность, что каковы бы там ни были еще люди и взгляды, все-таки наиболее стоящий человек тот, кто смело носится по самым крутым стремнинам жизни... Только оступись... попадешь прямо на каторгу.

Только в эту минуту я понял настоящим образом Ахметзянова со всей его «невинной» преступностью — право, я не подыщу тут другого слова... С этими взглядами Абрам вырос и сжился. Он чувствует в себе силы для крупной роли в родной сфере, а между тем приходится тратить их на мелкие подвиги баранты и воровства, в то время как его имя могло греметь наравне с именами Никифорова и Черкеса — весьма известных в те годы на Лене спиртоносов и хищников золота... Я понял также, почему Тимоха ставил имя Степана рядом с Абрашкой... В жизни обоих «бабы» играли почти одинаковую роль, и, как это часто бывает, Абрам Ахметзянов презирал Степана за то самое, за что, вероятно, презирал и себя...

В этот самый день Степан все-таки зашел к Ахметзянову, который занимался корчемством. Ушел он туда в отсутствие Марьи, но она вернулась от торговца раньше. В лице ее я заметил какое-то нервное беспокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся к нам глухой смешанный шум.

Я вышел на двор и увидел Степана. Необыкновенно возбужденный, он быстро шел от избы Абрама. Видимо, он сейчас выдержал свалку с кучкой татар, которые скалили зубы и смеялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, он обернулся и погрозил кулаком.

— Посмеетесь вы у меня, погодите! — бормотал он, уже войдя в наш двор и не обращая внимания на меня.

Не заходя в избу, он вывел плохо отдохнувшую лошадь и стал запрягать ее в телегу.

— Куда вы так торопитесь, Степан? — спросил я.

— Надо домой... Только вот как бы снег не застиг.— Он глазами указал на небо.

Я тоже взглянул кверху. Едва перевалив через цепь отлогих холмов на северо-западе — к нам ползло тяжелое, свинцовое облако. Оно было громадно и странно своим одиночеством на холодном и ясном небе. Вверху резко отграниченное, точно спина огромного животного, внизу оно спустило несколько темных отростков, которые тихо, зловеще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннее—облако ползло совсем низко над землей, вздрагивая, как будто теряя силы в своем полете и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него внимание. В юртах хлопали двери, люди выбегали с любопытством или тревогой. Впрочем, аборигены смотрели на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и переговаривались громко и тревожно. Полусумасшедший киргиз, живший невдалеке, прицелился из ружья и выстрелил...

Облако, все так же вздрагивая, как будто с напряжением, раскинулось уже над крайними юртами слободки. Все кругом потемнело и потускло. Все притихли, когда над нашими головами, тихо волнуясь и шевеля мглистыми отростками, темно-свинцовое, с опаловыми просветами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задеть за крыши притихшей слободки... Через несколько минут оно пронеслось над рекой. Плотные очертания тучи закрыли оскалины и леса́ горного берега... Когда туча исчезла за гребнем — на уступах, точно нарисованные гигантскою кистью, белели густые полосы снега...

Я очнулся точно после странного сна... Над слободкой опять играли последние лучи скупого осеннего солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значение странного явления. В дверях нашей избы стояла Маруся с омертвевшим, испуганным лицом... Она опять показалась мне постаревшей и изменившейся... Увидев, что Степан запрег лошадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, как будто болезненно стыдясь показать свое лицо, вышла из избы и села в телегу.

Я попробовал было остановить их. Мой товарищ на время уехал, в юрте было довольно свободно, а я чувствовал себя одиноким, но Степан отказался наотрез.

— Нет, господин! — сказал он, выводя лошадь.— Теперь начнутся метели, пора пойдет темная... А я, кстати, с татарами тут расплевался...

Он ударил лошадь и, проехав по широкой улице, спустился с луга. Там мне еще некоторое время виднелась телега с двумя темными фигурами, постепенно утопавшими в сумерках...

А пора действительно начиналась темная. Осень круто поворачивала к зиме; каждый год в этот промежуток между зимой и осенью в тех местах дуют жестокие ветры. Бурные ночи полны холода и мрака. Тайга кричит, не переставая; в лугах бешено носятся столбы

снежной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вместе с темнотой, с бурями и метелью в слободе и окрестностях водворилась тревога.

Почти половину населения слободки составляли татары, которые смотрели на этот сезон с своей особой точки зрения. Мерзлая земля не принимает следов, а сыпучий снег, переносимый ветром с места на место,— тем более... Поэтому то и дело, выходя ночью из своей юрты, я слышал на татарских дворах подозрительное движение и тихие сборы... Фыркали лошади, скрипели полозья, мелькали в темноте верховые... А наутро становилось известно о взломанном амбаре «в якутах» или ограблении какого-нибудь якутского богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Один мой приятель, полуякут Сергей, знакомивший меня на первых порах с особенностями местной жизни, так характеризовал взаимные отношения слободы и ее окрестностей в это темное время:

— Война! Татар у джякут воровай, джякут у татар воровай... взад-вперед.

Но, в сущности, полной взаимности в этих отношениях не было. Якуты — народ мирный и робкий: они старались только защищаться. Правда, стоило татарской лошади забежать в улус, подальше от слободы, и она тотчас же попадала в якутский котел на общую пирушку. Но в остальном якуты ограничивались защитой, почти всегда неумелой и трусливо наивной. Их одинокие разбросанные юрты переживали весь ужас беззащитного ожидания. Проезжая иной раз ночью по наслежным дорогам, можно было услышать вдруг отчаянные вопли, точно где-то режут сразу несколько человек. Это население юрты, в которой две или три семьи сошлись на долгую холодную зиму, предупреждало неведомого путника, едущего мимо по темной дороге, о том, что они не спят и готовы к защите. Только эти угрозы производили скорее впечатление испуга, почти мольбы. Порой за ними следовали беспорядочные, такие же испуганные выстрелы в воздух. Все это, разумеется, было только на руку предприимчивым и смелым татарам, выжидавшим, пока якуты настреляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу...

А осень все злилась, снег все носился во тьме, гонимый ветром, стучал в наши маленькие окна, и кругом нашей юрты по ночам все слышалось тихое движение то

в одном, то в другом татарском дворе. Мой верный Цербер, которого я брал к себе в юрту из чувства одиночества, то и дело настораживал уши и ворчал особенным образом — как природные якутские собаки ворчат только на татар или поселенцев...

Я чувствовал себя, в своей юрте на отшибе, в своеобразном положении, точно на островке, кругом которого в мглистом туманном море кипела своеобразная деятельность пиратов. Порой я догадывался, кто именно из моих добрых соседей выезжает «в якуты» на промысел или в лес с добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мне закипало глухое негодование...

Однажды в слободу, занесенные снегом, постукивая перед собой палками, вошли слепые старик со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившие по богатым якутам и зарабатывавшие пропитание помолом зерна на ручных мельницах, на каких, вероятно, мололи еще рабыни Одиссея. Такая мельница есть в каждой якутской юрте. На стойке, в половину человеческого роста, укреплен неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходит над ним на железном стержне и цевке. Длинная палка, одним концом укрепленная у потолка, другим может вращать верхний камень. Человек вертит ею жернов, засыпая горстью зерна в отверстие. Камни тихо и скучно жужжат, мука медленно, почти незаметно струится на стол кругом жернова. За помол пуда платят от пятнадцати до двадцати копеек.

Этой работой старики долго копили деньги и наконец купили себе теплые шубы и одеяла в виде мешков на зиму и на старость. Это была для них настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видел, как летом они выносили свои сокровища и вытряхивали из них пыль. Разложив их на земле, старик нащупывал левой рукой место, а правой ударял гибким прутом. По инстинкту слепого, он редко ошибался, но все-таки порой удар попадал по кисти... Потом он передвигал руку и ударял рядом... Эту же работу старики исполняли у других, когда не было помола.

Теперь они шли по улице, озябшие и несчастные. Слезы текли из слепых глаз старухи и замерзали на лице. Старик шел с какой-то горестной торжественностью и, постукивая палкой по мерзлой земле, поднимал лицо высоко, как будто глядя в небо слепыми глазами. Оказалось, что они шли «делать бумагу» в управе. В эту

ночь из амбара якута, у которого они зимовали, украли их сокровища, стоившие нескольких лет тяжкого труда...

Выходили слобожане, выходили татары и смотрели на эту чету и слушали переходивший из уст в уста рассказ. Абрам тоже стоял у своих ворот и смотрел на стариков своими добрыми ласкающими глазами.

— Здравствуй,— окликнул он меня,— что идешь мимо, не говоришь?

Я как-то невольно повернулся и подошел к нему вплоть.

— Слушай, Абрам,— сказал я.— Хорошо это?

Он посмотрел немного вкось и ответил обычным ласковым голосом:

— Брат! Не я ведь это сделал.

И потом, поглядев вслед старикам, он прибавил задумчиво:

— Видно, положили свое добро с хозяйским вместе...

— Не отдадите ли теперь? — усмехнулся я желчно...

Абрам не сказал ничего. Но через несколько дней он как-то встретился мне на улице. С ним рядом шел незнакомый татарин, длинный, как жердь, и тощий, как скелет. Поравнявшись со мной, Абрам, под влиянием какой-то внезапной мысли, вдруг шагнул в сторону и очутился передо мной.

— Слушай, теперь я тебе буду говорить,— сказал он.— Вот этого татарина пригнали в наслег. Жена померла дорогой... четверо детей... ничто нет... голодом сидели, топиться нечем...

— Правда! — глухо сказал высокий татарин и мотнул головой. Но мне не нужно было его подтверждения: голод и застывшее отчаяние глядели у него из глубины впалых глаз, а от темного лица веяло каким-то смертельным равнодушием.

— Просил, кланялся на собрании... Наконец принес детей в управу и кинул, как щенят: делайте что хотите. Хошь, говорит, бросьте в воду...

— Сама сюда гулял,— пояснил татарин.

— Понял ты мое слово? — спросил Абрам, глядя на меня загоревшимся, пылающим взглядом. Я понял, что это ответ на мой упрек по поводу стариков и что в слободе прибавился еще один предприимчивый человек.

Но это было, как я сказал, несколько дней спустя. В тот вечер я возвращался домой весь еще под впечатлением слепого горя обокраденных стариков. Ночь спускалась ненастная и бурная. Кругом юрты все гудело, над

крышей отчаянно бился хвост искр и дыма, которые ветер нетерпеливо выхватывал из трубы и стлал по земле. На втором дворе, куда я пошел, чтобы дать лошади сена, мой Серый метался, как бешеный. Сначала и от меня он кинулся в испуге, но потом подошел, храпя и вздрагивая, и положил мне голову на плечо. Он стриг ушами и в испуге прислушивался к протяжному крику тайги, налетавшему с темных холмов и ущелий.

А кругом бесновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся с холмов за реку... Слобода притаилась под метелью, как вообще привыкла притаиваться под всякой невзгодой. По временам только среди белого хаоса мелькал вдруг сноп искр из трубы или в прореху метели открывалось и опять исчезало смиренно светившееся оконце...

Я начинал понимать в эту минуту настроение наших деревень, то смиренно выносящих непокрытую наглость любого молодца, освободившегося от совести и страха, то прибегающих к зверскому самосуду толпы, слишком долго испытывавшей смиренный трепет... Половина слободки держит в таком трепете не только другую, бóльшую половину, но и все окрестности. И вот теперь, в эту метель, то в той, то в другой юрте робко скрипит дверь — хозяева осторожно выглядывают: что это стучит у амбара, грабитель или непогода? А где-то плачут двое обездоленных стариков, и на много верст кругом раздаются бессмысленные вопли и не менее бессмысленные выстрелы запуганных людей... И я стою здесь среди метели... Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу. И казалось мне, что нигде, во всем этом, затянутом метелью, беззащитном мире нет никого, кто встал бы смело и открыто за свое право... Те, казалось мне, кто хотел бы что-нибудь сделать,— неумелы, бессильны, малодушны. А те, кто могут,— не хотят... Каждый только дрожит за себя, и нет никого, кто бы понял, что его дело — часть общего дела...

С этими мыслями я вернулся в свою юрту, но не успел еще раздеться, как моя собака беспокойно залаяла и кинулась к окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипший снег, и в окне показалось усатое лицо одного из моих соседей, ссыльного поляка Козловского.

— Спите себе! — сказал он шутливо.— А лошадь-то где?

Я наскоро оделся и выбежал наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось неверно. Испуганная метелью и непривычным одиночеством, она перепрыгнула через высокую городьбу и побежала в луга. Козловскому сообщил об этом Абрам, видевший, как лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были уверены, что она убежала за реку в якутские наслеги. В спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчас же ехать на поиски. Козловский дал мне свою лошадь, а на другой вызвался сам ехать со мною...

Это был крестьянин, замешанный в восстании и отбывший каторгу. После этого многие из его товарищей возвратились на родину, а он, попав в эти дальние места, почувствовал, как и Тимоха, что это очень далеко и что ему отсюда уже нет возврата. Он женился на слобожанке-полуякутке, его девочки говорили только по-якутски, а сам он пахал землю, продавал хлеб, ездил зимой в извоз и глядел на жизнь умными, немного насмешливыми глазами. Ему казалось смешным многое в прошлом и настоящем, а между прочим, и то, что он, Козловский, хотел когда-то спасти свое отечество, и что он живет в этой смешной стороне с пятидесятиградусными морозами, и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на чужом для него языке. К нам он чувствовал какое-то снисходительное расположение, любил молча слушать наши споры, но при этом всегда под его огромными усами шевелилась мягкая насмешливая улыбка...

— Помяните мое слово,— сказал он мне, когда мы тронулись в путь,— эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачут якутские амбары.

— Почему вы думаете?

— Абрашка ладит сани и две верховые во дворе. А вы еще скажите — слава богу: Абрам спал бы, лошадь бы вашу не увидел... В какую только сторону поедут?..

Дорога наша подбежала к реке и прижалась к береговым утесам. Место было угрюмое и тесное; справа отвесный берег закрыл нас от метели. Отдаленный гул слышался только на далеких вершинах, а здесь было тихо и тепло. Зато тьма лежала так густо, что я едва различал впереди мою белую собаку. Лошади осторожно ступали по щебню...

Вдруг Козловский наклонился и остановил за повод мою лошадь.

— Тише,— сказал он.— Слышите?

Я прислушался, и мне показалось, что с другого берега реки, которая здесь была очень узка, неслось к нам, точно эхо, осторожное постукивание копыт.

— Вот проклятые! — сказал он с оттенком удовольствия в голосе.— Взялись за ум!

— Что это значит? — спросил я.

— Якутский караул. Прослышали, видно, якутье, что татары собираются... ждут гостей... Эх! Вот только неприятно: как бы нас за татар не приняли. Пожалуй, сдуру грохнет который из ружья... Эй, догор! — крикнул он по-якутски.— Не попалась ли вам тут серая лошадь?

Шаги на той стороне стихли, но, когда мы подъехали к броду, на темной реке послышалось шлепанье и появились какие-то силуэты. Через несколько минут к нам приблизился всадник, ведя в поводу серую лошадь. Когда он подъехал вплотную, я с удивлением узнал Степана.

— Как вы тут очутились? — спросил я с невольной радостью.

— Да так... дело тут... у якутов,— ответил он уклончиво.— Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймал уже на том берегу... думаю: надо обождать маленько, может, хватитесь, приедете... А это кто с вами? — спросил он, наклоняясь в седле и вглядываясь в моего спутника.

— Человек божий, обшитый кожей,— ответил мазур своим веселым голосом.— Поехал вот с ними, думаю: может, бог даст, и моя конячка найдется.

— Тоже пропала? Когда? — спросил Степан.

— Да уже года два... Убежала с покосу, да еще, подлая, поселенца на себе унесла. Лошадь — бог с ней. Боюсь, как бы за поселенца не ответить.

Мне показалось, что шутка Козловского немного задела Степана, и, чтобы прекратить разговор, я поблагодарил за услугу и спросил:

— А вам не по пути в слободу? Переночевали бы у меня.

— Нет,— ответил Степан...— Я тут... к приятелю...

— Абрашка тоже к приятелю наладился,— насмешливо кивнул Козловский, когда мы тронулись в обратный путь. Степан, отъехавший на некоторое расстояние,

остановился было, как будто с целью спросить или сказать что-то, но затем ударил лошадь и съехал с берега.

— Счастье людям! — сказал Козловский, весело ухмыляясь.— У других воруют, вам возвращают. Один вор увидел, как лошадь сбежала, другой поймал...

— Ну, Степан не вор,— сказал я.

— Разумеется... А как вы думаете: кого он тут дожидается? У Абрашки с утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Черт их бей, всех. Давайте скорее выезжать из узкого места, как бы не встретиться.

— Но ведь с татарами Степан в ссоре?..

— Ну, мужик с бабой тоже весь день ссорились. А глядишь, к ночи помирятся...

Замечания Козловского поразили меня самым неприятным образом. Мне импонировала уверенность, с какой он читал все среди этой темной ночи, точно в открытой книге... И действительно, его предсказание оправдалось. Выехав из-за последнего берегового утеса в луга, мы вдруг наткнулись на несколько темных верховых фигур. Они сначала остановились, как будто в нерешительности...

— Что, нашел своего серого? — сказал один из них, и по голосу я узнал Абрама.— Скоро же! Я думал, до утра проездишь.

Потом, когда они отъехали несколько саженей, он повернул лошадь, догнал нас и сказал своим ласковым, приятным голосом:

— Вот что, парень... Мы ведь соседи... Не сказывайте никому, что нас здесь видели...

— Нам какая надобность,— угрюмо ответил Козловский, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ехали молча. Меня тяготило положение этого невольного, почти дружественного нейтралитета, который выпадал на нашу долю... Может быть, Козловский думал то же.

VI. СТЕПАН

Проснувшись на следующий день, я сначала считал всю эту ночную поездку просто сном. Только кинутое беспорядочно на полу седло и не успевшее высохнуть верхнее платье убедили меня в действительности моего маленького приключения...

Несмотря на то, что все окна были занесены снегом,

я чувствовал, что день стал светлее вчерашнего. У дверей лаяла собака, и когда, наскоро надев валенки, я впустил ее, она радостно подбежала к постели и, положив на край холодную морду, глядела на меня с ласковым достоинством, как будто напоминая, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворе, привязанная в наказание к столбу...

Настроение у меня было бодрое, радостное. Однако скоро под этим настроением оказалась какая-то маленькая змейка, которая шевелилась и шипела, напоминая о чем-то отравляющем и печальном...

«Да! Это о Степане,— вспомнил я внезапно...— Неужто Козловский прав? — подумал я с ощущением острой грусти...— Неужели Степан оказал мне услугу именно потому, что ожидал татар? Не выдержал, наконец, говора своей тайги, прозаической добродетели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотелось опять шири и впечатлений? Что мудреного? Ведь вот даже мое легкое приключение освежило и обновило мое настроение, застоявшееся от тоски и одиночества...

Что же теперь станет делать Маруся? Как пойдет ее жизнь? Бурные сцены или покорные слезы?.. Примирение и подчинение или разрыв? Неужели тихая заимка на дальнем озере превратится в склад краденых вещей и в передаточный пункт конокрадства? Уйдет ли при этом Тимоха или будет делать свое дело, не вмешиваясь в хозяйские дела? И скоро ли нагрянут на заимку власти из Якутска и для Марьи со Степаном опять пойдут этапы, тюрьмы, новые попытки побегов? А на заимке воцарится запустение и Марусины грядки зарастут наподобие губернаторских огородов?..»

В моих сенях послышался топот, в дверь хлынула струя свежего воздуха, и в юрту вошел Козловский. Он был несколько похож на гнома: небольшого роста, с большой головой; белокурая борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшие теперь усы висели, как два жгута. Серовато-голубые глаза сверкали необыкновенным добродушием и живым, мягким юмором.

— Ну вставайте,— сказал он, усмехаясь.— Давайте чаю. Новости расскажу.

— Что такое?

— В слободе что делается — страх! — говорил он, отряхая на пол белые комки свежего снега.

И, опять весело засверкав глазами, он сказал:

— Смотрите: татары теперь скажут, что непременно это вы сделали! А я с вами, помните, не был!..

Затем он рассказал новость, поразившую слободу, как громом. Оказалось, что в эту ночь татары предпринимали один из очень смелых набегов на юрту зажиточного якута, именно в том направлении, куда мы вчера ездили. Очень часто якуты знали заранее о сборах татар, но последние почти всегда направляли их внимание в ложную сторону. На этот раз, однако, смельчаки встретили противников готовыми. Когда, оставив лошадей в определенном месте, они стали подходить к амбару, навстречу им раздался дружный ружейный огонь, и в то же время другой отряд якутов кинулся к татарским лошадям. Бросившись назад, татары успели отбить двух лошадей, а две, и притом лучшие, остались военной добычей победителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татар с позором притащились в слободу едва на заре...

В числе потерпевших был и Абрам Ахметзянов. Каурого конька, которым он гордился, как лучшим бегуном в слободе, теперь в его дворе не было.

Слобода кишела, точно муравейник. Двери то и дело хлопали в наклонных стенах юрт, соседи и соседки перебегали от двора к двору, кое-где татары громко ругались друг с другом. Татарское население слободы было самое разношерстное. Тут были и киргизы, и ачинские татары из азиатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губернии. Всех их привела сюда, выбросив из более или менее мирной среды их соотечественников, не заглушенная культурой страсть к баранте. Здесь их объединили религия и нужда — но в их среде были подразделения, вражда и ссоры. Теперь, при этом поражении, деморализация среды сказалась с особенной силой: татары закидывали друг друга упреками и подозрениями в измене. Они не могли себе представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанию по своей инициативе.

— А знаете что,— задумчиво сказал мне Козловский, когда мы сидели за чаем.— Вы пока никому не говорите о Степане.

— Почему?.. Не ждете ли вы, что начнется следствие?

— Ка-кое следствие! А все-таки помолчите.

И он прибавил, улыбаясь:

— Я его святому должен поставить свечку... Кажется, вчера я его обидел напрасно.

— Так вы думаете, что это он... помогал якутам?..

— Ага! А по-вашему, якутье сами бы так распорядились? Никогда! Уж был у них кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдет потеха!

Действительно, с этих пор якуты переменились, как будто кто вдохнул небывалое мужество в сердца этих робких и запуганных людей. Абрам Ахметзянов с товарищами выезжал ночью на место своей неудачи, и, остановясь в отдалении, они кричали и грозили, требуя возвращения лошадей; но якуты только звали их подойти поближе, а на следующую ночь, как было известно в слободе,— устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не решился выехать туда вторично, и угрозы татар остались неисполненными...

За первой неудачей последовали дальнейшие. Два раза якуты ловили воров на месте и, связанных, отвозили в город, провожая их, на всякий случай, целыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной раз в слободу, представляя в «правление» ясные указания и улики. Проезжая по улицам, мимо татарских домов, якуты держались насмешливо и гордо, посмеиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться в улусы даже днем, а отдельные татарские семьи, поселенные среди якутов, покидали места поселения и стягивались к слободе. Якуты прекратили им всякие пособия, которые выдавали прежде. При этом, разумеется, пострадали и мирные татары, к которым все-таки относились подозрительно, опасаясь сношений с соотечественниками.

В это именно время Абрам остановил меня указанием на злополучного татарина, бросившего своих голодных детей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточение росло. Прежде татары воровали, но убийств не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрелках бывали раненые с той и другой стороны. Был и еще один косвенный результат наслежной войны: кражи в самой слободе значительно участились.

Однажды Козловский пришел к нам, видимо озабоченный, и сказал, улыбаясь и почесывая в голове:

— Нельзя ли, господа, как-нибудь... удержать этого вашего приятеля?

— Что такое? Какого приятеля?

— Да якутского генерала. Беда ведь это: прежде, когда татары ездили в якуты,— у нас хоть воровали, да все-таки жить было можно. А ведь теперь — съедят начисто. Эту ночь сломали два амбара...

Один из амбаров принадлежал смотрителю почтовой станции. Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели. Но смотритель имел все-таки чин и в некоторых торжественных случаях надевал даже шпажонку. К неприкосновенности почтовой корреспонденции он относился весьма своеобразно и считал себя в полном праве присланные кому-нибудь из поселенцев (чаще всего скопцам) золотые заменять тем же количеством кредиток. Но, конечно, о взломе своего амбара он тотчас же послал самые энергические жалобы в областной город.

Между тем имя Степана, хотя ни мы, ни Козловский ничего не говорили о нем, было на всех устах. В слободе об этом сначала говорили шепотом, в виде догадок, потом с уверенностью. Теперь даже дети на улицах играли в войну, причем одна сторона представляла татар, другая якутов, под предводительством Степана... А по улусам, у камельков, в долгие вечера о белоглазом русском уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже с большим интересом относились и к эпизодам этой небывалой борьбы, и к новой роли нашего знакомца. Мой желчный товарищ, хотя и объяснял все дело личными счетами Степана с Абрашкой, но все-таки переменил о нем свое мнение.

— Как бы там ни было, а молодчина! Проявляет искру, здоровую искру проявляет...

— Да, чем только это кончится? — озабоченно прибавлял Козловский.— На собрании решили на ночь наряжать большие караулы. Придется и вам, господа, из-за приятеля померзнуть...

В конце ноября, в ясный зимний день, в слободу явились гости. Утром, возвращаясь из поездки в город, приехал тунгусский поп. Вскоре после этого у наших ворот остановились санки, в которых сидели Маруся и Тимоха. Их сопровождали три верховых якута — может быть, случайно, но всем это показалось чем-то вроде почетного эскорта, которым наслег снабдил жену своего защитника. Маруся была одета по-праздничному, и в ее лице показалось мне что-то особенное.

А под вечер того же дня по дороге из города опять послышался колокольчик. День был не почтовый: значит, ехало начальство. Зачем? Этот вопрос всегда вызывал в слободе некоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары в несколько саней потянулись зачем-то к лесу, верховой якут поскакал за старостой... Через полчаса вся слобода была готова к приему начальства...

Приехал заседатель Федосеев и тотчас после приезда пригласил нас к себе на въезжую избу. Передав нам несколько писем, он попросил других присутствующих удалиться и сам запер за ними дверь. Подойдя затем к столу, он расстегнул форменный сюртук, как будто ему было душно, и стал набивать себе трубку. Он был, казалось, в каком-то затруднении и даже в некотором замешательстве.

Это был местный уроженец из казаков, человек средних лет, отличный служака, превосходно знавший местные условия. Из личных его особенностей мы знали его слабость к выпивке — из слободы его иногда увозили, уложив в повозку почти без сознания,— и к книжным словам, которые он коллекционировал с жадностью любителя и вставлял, не всегда кстати, в свою речь. Человек он, впрочем, был в общем добрый, и все его любили. С нами он был не в близких, но все же в хороших отношениях.

Набив трубку и закурив ее от сальной свечи, горевшей на столе,— он некоторое время усиленно затягивался и наконец сказал:

— У меня к вам, господа, дело, так сказать... партикулярное. Я буду с вами говорить прямо: вы знакомы с этим поселенцем из бродяг, Степаном?

— С Дальней заимки? Да, знакомы.

— Так!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Он, кажется, у вас останавливается, приезжая в слободу?

— Да, нередко.

Заседатель засосал свою трубку, как будто в данную минуту это для него было самым важным делом, и сказал:

— Странный человек!

— Чем же, собственно?

— Да как же, помилуйте: вмешивается не в свои дела, распоряжается тут в наслегах, как начальство, заварил кашу...

Он встал со стула, видимо в дурном расположении духа, и, беспокойно пройдясь по комнате, сказал уже с явным неудовольствием:

— Помилуйте, что же это такое. Прежде был самый спокойный улус — теперь не проходит недели без происшествия. Там стреляют, там ранили человека, там поймали татарина, волокут в город. Только и слышишь: где происшествие? В участке Федосеева. Гнездо какое-то.

Я начинал понимать настроение заседателя. Каждая профессия имеет свою специфическую точку зрения. Семен Алексеевич Федосеев не мог не знать, что каждый год окрестные наслеги являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась к ней пассивно. Взломан амбар, уведена лошадь, зарезана корова, поступает жалоба, виновные не найдены... Дело предается воле божией, даже не доходя до города; в каждый свой приезд в слободу он приканчивал несколько таких дел простой подписью под заранее составленными постановлениями о прекращении дел «за необнаружением виновных»... Это и значило, что в его участке было все спокойно. Теперь каждое дело приобретало громкую огласку, доставлялись пойманные с поличным, происходили перестрелки; толки о необычайном обострении борьбы наслегов с татарами обращали внимание. Проникнув в эту сущность дела, я невольно улыбнулся.

— Позвольте,— сказал я,— но ведь Степан не ворует и не грабит, а защищает и некоторым образом содействует обнаружению виновных.

Семен Алексеевич уселся и посмотрел на меня в упор.

— Ну, вот-вот. Это самое... Это-то вот и есть, как сказать... центр... именно: центр вопроса... Скажите пожалуйста: бродяга, непомнящий, обыкновенный, извините, варнак... Откуда у него вдруг эти... эти...

— Идеи,— подсказал я, догадываясь, куда клонится его мысль.

— Идеи-то идеи, но как это еще?..

— Рыцарские.

— Ну, вот-вот,— сказал он с облегчением, и лицо его несколько просветлело...— Вот в городе — извините, я уже буду говорить прямо...— и рассуждают: из простого варнака делается вдруг этакой, знаете, необыкновенный, как его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Как? Почему? Откуда? Книг он не читает... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тут действует (он искоса посмотрел на нас) *постороннее влияние*...

— Прибавьте, Семен Алексеевич, «вредное»,— сказал я, улыбаясь.

Он слегка поперхнулся дымом своей трубки.

— То есть я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... труистично... Ну да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнув себя чубуком несколько раз по затылку, он произнес с большим оживлением:

— Вот где у нас эта защита сидит, вот-с! То и гляди, из Иркутска запрос прискачет на курьерских... Кто заседатель в участке? Как мог допустить такое положение вещей!.. А, ч-черт! А я только тем и виноват против других, что у меня тут... не угодно ли... защитник угнетенных явился...

Его отчаяние было так искренно и комично, что оба мы с товарищем не могли удержаться от откровенной улыбки.

Заметив это, Федосеев сам улыбнулся.

— Ну хорошо, господа! Все это верно-с и справедливо! Донельзя справедливо! До нек плюс утра! [1] Признаюсь вам откровенно: сам в городе говорил, что останусь в дураках... А все-таки вот у Петриченки амбар сломали...

— Ну, это еще не самое печальное из бедствий... Почему это, Семен Алексеевич, вам амбар Петриченки дороже крестьянских или якутских?

— Сломают еще ваш, потом примутся за другие. Да если подумать так, по человечеству... так ведь больше им и делать нечего.

— Ну, положим,— работники они отличные.

— На чем работать? — уныло сказал заседатель, принимаясь набивать другую трубку.— Областное правление завалено их просьбами об отводе земли... Просьбы совершенно законные...

— Отчего же их не удовлетворяют?

— Откуда? Вы знаете, что у слобожан у самих земли немного. Насилу удалось склонить крестьян уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Он закурил и заговорил в совершенно другом тоне, просто и уже действительно вполне партикулярно.

— По закону нельзя поселять ссыльных больше чем на одну треть против местного населения. А их тут те-

---

[1] N e c p l u s u l t r a *(лат.)* — до последней степени.— *Ред.*

перь почти столько, сколько слобожан. Где же взять земли?

— Вот об этом в городе и следовало подумать.

— А, батюшка, думали! Даже писали много раз, потому что это ведь не от нас. «Для удобства надзора — поселить в одном месте при слободе...» Вот вам и удобство надзора.

— Повторять... добиваться.

— Повторяемо было многократно!.. (Он махнул рукой с видом полной безнадежности.) А теперь я вот вам прямо скажу: всех захваченных якутами татар мы выпустили.

— Да? А ведь кажется, улики полные.

— Тюрьма еще полнее. Недавно прислали партию спиртоносов из отряда Никифорова. Эти молодцы в Олекминской тайге дали правильное сражение приисковым казакам. Это поважнее якутских амбаров. А в остроге яблоку упасть некуда... Эх, господа, господа!.. Надо судить по человечеству... Мы тут так опутаны... Приезжай сейчас какой-нибудь ревизор из того же Иркутска: мы тут в нарушениях, как в паутине... А если бы разобрать хорошенько, по человечеству...

Расстались мы совершенно дружески. Мы объяснили заседателю, что наше влияние едва ли должно быть принимаемо в расчет в этом случае...

— А ведь сразил он вас, признайтесь,— сказал доро́гой мой товарищ, молчавший почти все время нашего разговора.

— Признаюсь охотно,— ответил я.— Действительно, вторая половина нашей бесе́ды произвела на меня сильное впечатление.

— И главное, чем сразил,— продолжал мой приятель,— вы говорили то, что должен был говорить он, а он — то, что, в сущности, должны были сказать вы...

И это было вполне справедливо. Короткий разговор с заседателем отбросил опять мое настроение в область того нейтралитета, который по какому-то инстинкту признала за нами сама среда... Но что же делать? Живому человеку трудно ограничиться ролью свидетеля, когда жизнь кругом кипит борьбой... Печать? корреспонденции? освещение общих условий? Долго, далеко, неверно!..

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонам тихо переливались огни сквозь ледяные окна... Слободка кончала обычным порядком свой бесхитростный день,

не задаваясь ни думами, ни вопросами... Она жила, как могла, и нам выпала роль безучастных свидетелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мне такой тяжелой...

На улице нас остановил Козловский, который дожидался у своих ворот, чтобы узнать о результатах переговоров наших с заседателем... Умный поляк выслушал внимательно наш рассказ и сказал с убеждением:

— А что вы думаете: ей-богу, это правда! Что нужно этому Степану, в самом деле? Какое у него шило сидит, что он эту кашу заварил? Не поверю я, что это он из-за якутов.

Я рассказал то, что знал сам. Вспомнил Дальнюю заимку, болезненный приступ Степана ночью над озером, его жалобы на пустоту жизни, его порывания на прииски, от которых его удерживало упорное сопротивление Маруси...

— Мудрено все это,— задумчиво сказал Козловский и прибавил решительно: — Ну, помяните мое слово, долго это все равно не протянется... А я был у вас: там теперь поп в гостях... Чего они святить собираются?

Я догадывался, о чем шли переговоры с бродячим священником, и мы в некоторой нерешительности остановились невдалеке от нашей освещенной юрты, чтобы не мешать этим переговорам, решавшим участь Маруси. Вечер был морозный, но безветренный и тихий, и мы думали еще пройтись по улице или даже уйти на время к Козловскому, как вдруг дверь нашей юрты открылась и из нее вышел Тимоха. Его приземистая фигура, в полушубке и неизменном треухе, вся облитая холодным светом луны, показалась мне как-то особенно устойчивой, кряжистой и крепкой. Когда он поравнялся с нами, в морозном воздухе пронеслась струйка винного запаха.

— Куда вы это, Тимофей? — спросил я.

— Да что, братцы... Сам не знаю: запрягать, что ли... Ведь уж дело-то видно: ни черта не выйдет. Не бывать, видно, плешатому кудрявым.

— О чем вы это говорите?

— Да все о том же. Она, конечно, хочет, чтобы как по-хорошему, как, словом сказать, у людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему без Абрашки и быть.

— Да ведь они с Абрамом теперь на ножах?

— То-то и я говорю... Не мытьем, так катаньем... Всю татарскую силу поднял. Чужих, вишь ты, амбаров жал-

ко... Свой-то убережешь ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!

Потом, наклонясь к нам, он прибавил тише:

— Дело-то, почитай, на мази было. Бычка да двух телок уж я к якутам свел на станцию. Попу, значит, мимо ехать — взял бы. Да денег пятнадцать рублей. Все ведь припасла Марья-то... А ни к чему.

— Отчего же?

— Да вот, по тому самому: боек очень. Теперь об нем не то что... в городу молва идет. Обвенчай эдакого хахаля — будешь у праздника. Чай, тоже не о двух головах хоть и поп этот...

В это время дверь юрты открылась опять, и на пороге появилась высокая фигура, вся в мехах и с посохом в руке. Это был священник. Я уже раз видел у знакомых эту своеобразную фигуру, всю проникнутую колоритом холодной и дикой пустыни. Родом с далекой Камчатки, настоящий подвижник своей трудной миссии, он разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, односложно, но по-своему определенно и сильно. Никогда я не видел человека, который бы мог пить так много и притом без всяких последствий. Другие собеседники валились кругом один за другим, а он продолжал, все такой же крепкий и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-чуть бледнело. На многое он смотрел слишком упрощенно, но мне казалось, что под этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Заметив нашу группу во дворе, он подошел близко и сказал с грубоватым простодушием, отрубая слова:

— Плачет. Глупая. Жаль. Баба хорошая.

— Баба как есть... Хоть в Рассею возьми,— отозвался Тимоха.

— Мог бы, обвенчал бы. Не венчаны. Побожилась. Верю. За грех не почитаю. Имена ты, господи, веси... А мне пятнадцать рублей деньги...

— Как не деньги! — убежденно поддержал опять Тимоха.— По здешним местам где возьмешь?

— Так в чем же дело, батюшка? — спросил я.

— Нельзя... Человек заметен. Не тот человек.

— Правильно! — подтвердил Тимоха.

— И ей не такого бы. Жаль. Ну нельзя.

Он сунул нам свою огромную руку и пошел к воротам, кидая по белому снегу гигантскую черную тень.

— Ха-а-роший батька,— сказал Тимофей с какою-то особенной теплотой в голосе...

Он пошел к лошадям, а мы вошли в свою юрту. Здесь еще ярко пылал огонь, на столе виднелись пустые бутылки и остатки угощения. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицом в изголовье...

Прошло минут двадцать. За перегородкой усилились глухие сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болезненного припадка, но в это время, к общему облегчению, вошел Тимоха и сказал как-то просто и решительно:

— Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Едем, что ли.

В его грубом голосе я различил непривычно мягкую ласковую ноту.

— Куда же это вы, на ночь глядя? — сказал мой товарищ.— Да и опасно, смотрите.

— Чего это? — спросил Тимофей.— Это ты насчет татар? Эва! Чего им от нас нужно. Не-ет! Нас не тронут. А в случае чего, у меня дубина. Ну, полно тебе, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой несколько секунд еще стояло молчание, потом Маруся поднялась как-то вдруг, и ее фигура появилась в темном четырехугольнике двери. Ее праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, как мне показалось,— выражением глубокого, мучительного стыда... Тимоха помог ей одеться. Она застенчиво поклонилась нам, и они вышли...

На следующее утро мы стояли с Козловским у ворот, разговаривая о событиях прошедшего дня... День был сравнительно мягкий, градусов пятнадцать, что для тех мест соответствует нашей оттепели, и на улице виднелось немало народу...

Вдруг мы заметили около середины длинной слободской улицы какое-то оживление. Лаяли собаки, выбегали люди, стайка татарчат бежала за всадником, ехавшим по самой середине улицы почти шагом.

— А ведь это, смотрите, Степан,— сказал, вглядываясь, Козловский.

Я сначала не поверил, но стоявший рядом слобожанин Сергей, обладавший чисто рысьей дальнозоркостью, с уверенностью подтвердил мнение поляка.

— Ну, смелая шельма,— сказал с одобрением Коз-

ловский.— Едет себе середи дня, как ни в чем не бывало. Пьяный, должно быть... Вот будет штука, если увидит Абрашка.

Абрашка в это время колол дрова. Заинтересованный шумом, он равнодушно вышел за ворота, пригляделся и вдруг со всех ног кинулся в дом. Через минуту дверь отворилась. Мне показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчас же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, как из юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней — сам Абрам покорно шел с пустыми руками...

Толпа за Степаном росла. Он ехал не торопясь, конь порывался и играл под ним, пугаясь шума и толкотни, но Степан сдерживал его и, казалось, не обращал внимания на все происходившее. Мне показалось, что он действительно несколько пьян. Я заметил, что в толпе было больше всего татар. Слобожане и якуты, наоборот, скрывались в юрты. Степан испытывал еще раз участь героя, оставляемого в трудную минуту теми самыми людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергей тоже с замешательством почесался...

— Уйти, однако,— сказал он, озираясь; но наше присутствие и любопытство пересилило, и он остался.

Степан тотчас же заметил Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстречу. Я подумал даже, вспомнив при этом Тимоху, что вся эта бравада Степана имела главным образом в виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которых ему приходилось ехать. Заметив своего противника, Степан нервно дернул повод, но затем в лице его показалось легкое замешательство и как будто растерянность. Он, вероятно, ждал чего-нибудь более бурного.

Между тем красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщины — и Степану пришлось остановиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытных. Вдруг среди нее послышался дружный смех, после двух или трех слов Марьи, сказанных по-татарски.

— Что она сказала? — спросил я.

— Ничего,— ответил Сергей, тоже улыбаясь.— Она говорит: «Здорово, Степанушка...», больше ничто не сказал...

— А он разве понимает по-татарски?

— Тюрьма сидел с ними... Знает.

Толпа опять загрохотала.

— Что такое? — спросил я опять.

— Ничего,— ответил мой переводчик.— Конфузил больно... Ты, говорит, якутской вера...

— А теперь что?

Он слушал и переводил мне, пока Степан тихо прокладывал себе путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительные речи.

Через некоторое время к ней присоединился Абрам. Он говорил страстно и все повышал голос.

— А! Че! — восклицал Сергей при каждой новой фразе.— Больна конфузил.

— Да что же такое? — спрашивал я с нетерпением.

— Ты, говорит, с нами хлеб ел.

— Ты, говорит, с нами спал вместе.

— Ты, говорит, нам считался все одно брат.

— Ты, говорит, за джякут заступил, за нас не заступил...

— Тебе, говорит, джякут лучше татарина стал...

— Ты, говорит, научил поганых якутов украсть моего каурка...

Я слушал с удивлением перевод этих речей, в которых, в сущности, не было ничего, кроме изложения действительных фактов. Все, что тут говорилось, была правда, все это было хорошо известно и нам, и Степану, и всей слободе. И я не мог понять, почему эта толпа торжествовала над этим человеком, которому стоило только поднять голову и сказать несколько слов. Я так и ждал, что Степан остановит коня и крикнет: «Да, я сделал все это и опять сделаю... Собаки!..»

Но Степан не говорил этого. Наоборот, его глаза, еще недавно дерзко искавшие опасности и кидавшие вызов,— теперь потупились; он густо покраснел, причем резко выступили опять светлые усы и брови, и по-видимому, все свое внимание сосредоточил на мундштуке коня, как будто ехал над пропастью. Конь по временам, видимо, просился, поднимал голову и, оскалив зубы и брызжа пеной, тряс над головами шнырявших перед ним татарчат своей красивой головой с страдальческим выражением.

Марья уверенно шла немного в стороне и впереди и продолжала выкрикивать нараспев с какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная уверенность в своей правоте слышалась в тоне Абрама. Его прекрасные глаза горели и,

казалось, метали искры, а голос звенел и заражал глубокой искренностью негодования.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнее, смех толпы все громче. Опасаясь, что в случае задержки все это может кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебежал через небольшую площадку и стал открывать свои ворота, в уверенности, что Степан едет к нам, и с намерением у своих ворот заступиться за него и остановить толпу.

И действительно, он уже стал было поворачивать за угол городьбы, как вдруг произошло что-то совсем неожиданное. Красавица татарка, державшая себя всегда с таким солидным достоинством, вдруг выступила вперед и перед всеми сделала по направлению к Степану бесстыдный жест...

Толпа неистово загоготала.

На наш взгляд, такой поступок опозорил бы только женщину; но я замечал много раз, что простые люди принимают это, наоборот, как самое тяжкое оскорбление своей личности. И действительно, Степан вздрогнул, конь его, казалось, сейчас кинется на татарку. Но он удержал его, подняв на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистив путь, и через минуту Степан исчез за околицей в туче снежной пыли, под грохот и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная победа одной стороны и поражение другой. Победа уверенного в себе и цельного в своей простодушной непосредственности злодейства над неуверенной и стыдящейся себя добродетелью...

. . . .

Недели через две мы с товарищем решили съездить на Дальнюю заимку. Обоим нам хотелось повидать Степана и прямо или косвенно выразить ему свое сочувствие.

Выехав задолго еще до рассвета, мы только к ночи подъехали к Дальней заимке.

Теперь трудно было узнать эту местность. Кругом все было занесено снегом, тайга стояла вся белая, за нею, едва золотясь краями на лунном свете, высились скалы, озеро лежало под снегом и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами. За нею виднелась небольшая юрта

с наклонными стенами, казавшаяся кучей снега. Летом я не обратил на нее внимания. Теперь в ее окнах переливался огонь, а из трубы высоко и прямо подымался белый столб дыма, игравший своими бледными переливами в лучах месяца.

Все было бело, бледно и прозрачно. Злой лай собаки приветствовал нас еще издали, и навстречу нам вышел, скрипнув дверью, Тимоха. В руках у него была здоровенная дубина. Очевидно, он полагался на нее более, чем на ружье.

Маруся приняла нас с грустной приветливостью, все-таки стыдясь чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

В юрте даже как-то незаметно было его отсутствие. Все было тесновато, но уютно, и, по-видимому, Маруся с работником жили довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествии в слободе. Степан домой не являлся. Очевидно, его жизнь начала отделяться от жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки рассказать Марусе о причине нашего посещения.

— Ну, теперь закрутит и еще пуще,— сказал Тимоха.

На шитье, с которым в это время сидела Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недели через две мы узнали, что Степан ушел на прииски.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло года полтора. В самом начале осени приехал заседатель Федосеев. Отдав нам письма и газеты, он попросил нас присесть и сказал:

— Да, кстати. Какое неприятное происшествие.

— Что такое?

— На Дальней заимке... Какой-то там Тимофей у них... Работник, что ли, черт его знает...

— Да, работник.

— Ранен или ранил себя по неосторожности. Вообще, таинственная история. Вы ничего не слыхали?

— Нет, не слыхали. Тяжело?

— Нет, легко. Уже поправляется. Я узнал стороной — они сами скрывают. Что, Степан у вас не бывал?

— Нет, он давно на приисках.

— Приходил не так давно за паспортом... Но, по нашим сведениям, он ушел опять недели за две до происшествия...

И вдруг, переходя в партикулярный тон, он сказал:

— Между нами сказать, я уверен, что это его рук дело.

И, лукаво засмеявшись, прибавил:

— Вот оно — женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... как это еще... идиллия, верность. И ведь работник-то, заметьте, рожа несказанная... Настоящий... Ну, как это?.. Ква... Ква...

— Квазимодо...

— Ну, вот-вот. Я ведь прямо оттуда. Отобрал показания.

— Что же?

— Сам, говорит, по нечаянности; ружьем баловался... Но рана такая, что этого никоим образом допустить нельзя... Понимаете?

— А тюрьма у вас переполнена?

— Как селедок в бочке,— сказал он, махнув рукой.— К тому же... Только уж это, пожалуйста, вполне партикулярно, между нами!

Он оглянулся на запертую дверь и прибавил:

— Пришлось бы, пожалуй, и другое дело подымать... А жаль батьку, батька-то простяк...

— Неужели бродяжий брак? — спросил я.

— А вы почему догадались?

— Я знал об их намерении венчаться. Значит, все-таки Степану удалось это устроить?

— Как Степану?

— А то кому же?

— Ну, там кто устраивал, не знаю. А только обвенчался все он же, работник этот... На кого, подумайте, променяла! Тот все-таки был действительно молодец!

Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе... Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это — лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа...

А впрочем... Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея,

горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что, быть может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все особенности пахаря,—мог задеть и другие сердечные струны...

Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.

Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.

«...О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на Дальней заимке. Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один — подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка — Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями «своего мужика», или, как она называет, «чоловіка»... В смехе Маруси ничего особенного не заметно... Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».

«Выпрямилась»,— подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница... Даже эти побои... Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что — не будь всего того, что вырвало ее из родной среды,— какой-нибудь «чоловік Тиміш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне... На то он «чоловік», свой, родной, «законный».

У всякого свои понятия о счастье...

Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам

на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль... именно рубль!.. И вдруг в его воображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул... десять рублей. Студент вяло посмотрел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

— Рупь...— сказал он с выражением тупой жадности в голосе.

— Но позвольте...

— Рупь, рупь, рупь,— повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и — значит, тоже счастлива.

Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения: героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана,— сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в безвестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть давно уже погибшего человека...

1899

МГНОВЕНИЕ

Очерк

I

— Будет буря, товарищ.

— Да, капрал, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

— Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться...

— Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

— Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены... Прощай. Смена через два часа...

Капрал ушел, часовой остался на стенке небольшого форта, со всех сторон окруженного колыхающимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и, по мере того как пламя разливалось по небу,— синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к острову. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки и море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглою, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни — несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.

II

— Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни... К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, вы-

жидает прибоя, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус... Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

— Кто идет? — опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.

— Брат! — отвечает рыбак,— отворите ворота ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

— Погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспоминать на покое о сердитом грохоте океана и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уж первый шквал широкою, во все море, грядою.

А в окне угловатой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился, и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел. Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан Мария Хозе Мигуэль Диац, инсургент и флибустьер. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне — толстая железная решетка, за окном — море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег... И вспоминать... И, может быть, еще — надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он

подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень... Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему... Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущенья и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбачьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего... А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер,— он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи...

И еще годы прошли в этой летаргии. Хуан Мария Хозе Мигуэль Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку... К чему?..

Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова,— в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются какие-то тени, и несутся над морскими валами, и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно... Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам... И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы остро-

ва, он также успокаивался и забывал минуты исступления...

Он знал, что его держит здесь не решетка... Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще... сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах...

IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознанья, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булавочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены...

Но прошло еще несколько дней... Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег... И он подумал, что это опять был только сон...

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега... К вечеру в четырех-

угольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега... Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страданья, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжко, как эти прибрежные камни в морской глубине...

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целиком через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, и замирает вдали...

Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было черно, море бесновалось в полной тьме, и были слышны смешанные крики убегавшего шквала.

Хотя такие бури бывали нечасто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Он кинулся к окну и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далекие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли... Остался



только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий...

Хуан Мария Хозе Мигуэль Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется, как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания... И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад... Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы... Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и, в порыве странного одушевления, сильно затряс ее. Посыпались опять известка и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка...

V

На стене в это время сменился караул.

— Святой Иосиф... Святая Мария! — пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю, во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног... Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с воем неслось что-то огромное, дикое, враждебное...

Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее чувствовалось, чем виделось, движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное, и гудело угрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте

можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур... Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю... Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку... Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль... Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь... Нет, он не хочет бежать... На море гибель...

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился...

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптанный пол, на матрац, лежавший в углу... Над изголовьем, вырезанная глубоко в камне, виднелась надпись:

«Хуан Мария Хозе Мигуэль Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

«Хуан Мигуэль Диац... Мигуэль Диац...» И — цифры... Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами... «Матерь божия, уже два года...» «Три года... Господь, сохрани мой разум... Диац... Диац...»

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний... Далее счет прекращался... Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой... И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря...

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием... Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров... Диац отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать... Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганом, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море. Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни, и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не защищенное от ветра, море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла...

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул... Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, целую вечность... Хуан Мария Хозе Мигуэль Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться... Со стены ее видели в последний раз... Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю...

VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного разгула... Синие, тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

— Наверное, погиб,— сказал один...— Это было чистое безумие... Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

— Да, вероятно, погиб,— сказал он.— А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..

— Однако что это там? Посмотрите...— И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны,— все опять стихло. И берег, и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..

Ответа не было...

Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни...

1886—1900

ОГОНЬКИ

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью,— близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось действительно далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом — и путь кончен... А между тем — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня,— все так же близко и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше, и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

1900

МОРОЗ

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке еще не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лун-

ною ночью и, чтобы не ночевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) еще теплым навозом,— легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжет мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною,— снилось, вероятно, то же самое. Луна светила ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нем то и дело. Сон его был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Все было бело и пушисто от изморози, и весь он казался белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

— Брр...— сказал он.— Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от ее движения на воде послышался звон как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищенных от быстрого течения, становились первые забереги, еще тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических игол, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль, искрящиеся, почти призрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет веселый, задорный, почти шутливый.

По мере того как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лед, плотно схватив уже края реки и окрепшие забереги, противился быстрому течению. Мороз все продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где еще недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко

оттеняя темную, тяжелую речную струю. Еще дальше — мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромождая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом... Черты изломов на реке становились все выше; льдины, выбрасываемые течением на края заберегов,— все толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение. Это река сердито кидала в сковывавшие ее неподвижные ледяные укрепления свободно еще двигавшимися по ее стрежню льдинами, пробивала бреши, крошила лед в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвинулась еще дальше, полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не тонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого тороса, которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась все безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он все еще ворочался тяжелыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни... Вся природа, казалось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные ущелья горных берегов покорно отражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжелое кряхтение изнемогающей реки.

Еще через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша,— густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмиревшее и обессилевшее течение.

II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то черный предмет, ясно выделявшийся на бело-желтом фоне. В пустынных местах все привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

— Ворона,— сказал кто-то.

— Медведь,— возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним черная точка казалась не больше вороны, другим — не меньше медведя: отдаленное однообразие этих белых подвижных масс, лениво проплывавших между высокими горами,— совершенно извращало перспективу.

— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у ямщика, высказавшего предположение о медведе.

— С того берега. В третьем годе медведица вон с того острова переправилась с тремя медвежатами.

— Нонче тоже зверь с того берега на наш идет. Видно, зима будет лютая...

— Мороз гонит,— прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех предмета. Белая ледяная каша между тем тихо подвигалась к нам, и было заметно, что черная точка на ней меняет место, как бы действительно переправляясь по льдинам к нашему берегу.

— А ведь это, братцы, козуля,— сказал наконец один из ямщиков.

— Две,— прибавил другой, вглядевшись.

Действительно, это оказались горные козы, и действительно, их было две. Теперь нам уже ясно были видны их темные изящные фигурки среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это были мать и дочь. Вокруг них льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

— Ну, что будет! — сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять темная глубь. На мгновение два жалких темных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой

льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением, разбивались с особенною силой. Зато более отдаленные, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отраженной струей и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас или нет — но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязавшаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюций... Совсем уже близко от берега, в десятке саженей от целой кучки людей, козы все так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась, подошла к роковому месту,— у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса,— и два черные тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была темная полоса воды, а проход загораживала кучка людей. Однако умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...

III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря занесла его в далекую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружье в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружье,— он не сделал этого движения. Его твердые серые глаза все время не отрывались от животных, и мне в первый раз в течение нашего — недолгого, впрочем — знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то не совсем холодное и не совсем загрубевшее.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все мы были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самообладание среди стольких опасностей.

— Впрочем,— сказал я, улыбаясь,— кое-что надо отнести и на наш счет. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

— Из чего вы это заключаете? — спросил Сокольский серьезно.

— Из совершенно необычного поведения этого Полкана, а также, простите сопоставление,— вашего собственного: ваше ружье осталось в чехле.

— Да,— ответил приискатель.— Это правда. Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить все это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах?

— Всякая мать, я думаю...— сказал я, улыбнувшись.— Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвел сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкою грустью...

— Да,— ответил он задумчиво.— Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз — это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замерзнуть, например... совесть?

— И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком,— ответил я, опять улыбнувшись. Настроение моего спутника казалось мне все более загадочным.

— Нет,— ответил он с той же странной мягкой грустью...— Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати, и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и встретите его продолжение...

IV

— Это было в 18** таком-то году... В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы так же встретили первый ледоход. Дальше лед все крепче схватывал реку, течение становилось все уже, потом оно стало перерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их все больше, ломает лед, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые версты стоит гул и грохот... Потом лед опять прорвется и сплывет вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар, прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем — поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их вели в кандалах без подкандальников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще, существо это было хлипкое, слабое — в чем душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент прямо огромный. И вообще, весь он был создан из

странных противоречий... Фамилия его была Игнатович...

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

— ...Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура... Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... экстатические преувеличения, что ли. Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное *я* головой поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнем и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения,— я все же должен был признать, что они могут будить ответные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырастал, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне все-таки казались ненатурально преувеличенными и странными,— то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его божественном начале, об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и, во всяком случае, далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвездных высотах, созданной из лучей,— то, разумеется, оборотная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то вроде презрения — к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резко-

сти, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жилье положительно превращалось в лечебницу. Целую неделю он возился с замерзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в поводу на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным. В конце концов, пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к «царю природы» — он превозносил ее меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время как какая-нибудь собака со спиной, перешибленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять оживал, опять парил под небесами и декламировал «мировые симфонии». В то время он тоже получил место на прииске чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашел ему эту должность и уговорил принять ее. Он пассивно подчинился, и мы отправились в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы все-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то, что одежонка у нас была неважная, как-то еще не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чем не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно

жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение было еще свободно хоть на середине — они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды все суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замерзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоем метались по узкой полынье, охваченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта темная, холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

«Стой! — закричал он ямщику.— Неужели вы способны проехать мимо?..» — обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынье.

Ямщик смеялся, как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полыньей, старался поймать уток. Птицы, разумеется, кинулись от него. Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полыньи, правильно рассчитав, что уток теперь понесет течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лед и погнал их книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лед. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полетом птицы, мелькавшей на фоне угрюмых гор, опушенных снегами, и когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность,— у него на глазах появились слезы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой, наконец, присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь,— утонула. Она нырнула из моих рук, и течением ее унесло под лед... Другая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьезно, так как до станции было еще не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва оттерли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в ее спасении и под конец даже увлекся этим благотворительным спортом,— но все-таки сознавал, что это сентиментально и глупо, тем более что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это мое настроение и презирал меня.

В конце концов утка все-таки издохла, и мы ее кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шел густой пушистый снег, покрывший на три четверти аршина и лед, и землю. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами — между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод забирается под одежу, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится,— и говорится недаром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унизительная... Приедешь на станцию — до полуночи едва начнешь обогреваться, а наутро трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то убыло, что начнешь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег еще более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся

неприятнее. Сам себе тоже становишься противен... В конце концов закутываешься как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные сорока-пятидесятиверстные перегоны...

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С N-ской станции выехали мы светлым, сверкающим, снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты... Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик (им здесь ездить приходится не очень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спутник, казалось, совсем застыл. Во все время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я проворчал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как закоченелый, и я представлял себе его лицо — с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь от моего дыхания не попадала мне в лицо — через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик останавливался и извлекал пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны проходили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, еще желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом карабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы еще более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно, точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

В одном месте в глаза мне попало неожиданное

впечатление: невдалеке от дороги вился тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны темным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху еще освещенные солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи. Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повел глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мертвые, неподвижные, ничего в нем не будя и не шевеля воображение...

Ямщик повернулся к нам и, наклонясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту пору не было никаких понятий. Смех ямщика тоже не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвел бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опушенными инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и все... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню, это была кучка лачуг, как и большинство станков — под отвесными скалами. Те, кто выбирали места для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной площадке, выступавшей к реке, которая в этом месте вьется по равнине, открытой прямо на север. Несколько верст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители называли его еще Холодным станком. И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холоде, чем эти кучки бревен, глины и навоза на каменистой площадке, заметенные снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили назади, кончился у начала

лугов в низинке и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту и доехали как раз вовремя, чтобы быть еще в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запылал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры, легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чаю. Стаканы было трудно держать в закоченелых руках, но ощущение теплоты потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня все еще стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил еще дров и скрылся в какой-то угол. В темной избушке все затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились все чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

«Беда! — сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику.— Как поедешь? Поднялся сивер, поземка идет».

«Да...— ответил тот.— А мороз не стал меньше... Такому ветру,— прибавил он, по-своему коверкая русский язык,— гляди, и почта не ходит...»

«Не дай бог»,— прибавил хозяин, зевая.

Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление — морозная буря, когда налетающий откуда-то ветер толкается в отяжелевший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, еще не могущего двинуть сгущенную атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, все еще плохо созна-

вая происходящее и только радуясь животною радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что все то, что во мне так неприятно застыло и окоченело,— скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то «оттаяло... и распустилось...».

V

— Как и когда оказалось, что я уже не сплю и притом совсем не сплю,— сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я еще вижу сон или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет и я не успею рассмотреть в нем что-то очень важное и очень нужное. А между тем сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опушенный инеем лес, и косые лучи солнца, густые и желтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то еще гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра темную фигуру... И все это, по обычной нелогичности сна,— казалось мне острыми, колючими льдинками, попавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел еще лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишенное выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и под влиянием его взгляда льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И вместе с тем я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встает во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и всякая подробность обрастает в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно вглядеться в лицо человека, как будто зашевелившегося на пне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно вгляделся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович, и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски,— все то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

— Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых путешественников. Зимой слова замерзают и лежат мерзлыми льдинами до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о том, что он убился где-то на приисках и идет пешком от станка до станка... Только теперь эти слова вдруг оттаяли, и от них в груди у меня что-то мучительно заныло...

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе все еще тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещенного трепетным пламенем камина... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали, как будто от озноба...

«Что такое? Ради бога?» — сказал я, подымаясь.

«Вы не знаете? — спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами.— Скажите — разве это... был только сон?»

«Что именно?»

«То, от чего вы сейчас застонали и проснулись»,— сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И, видя, что я не отвечаю, он все так же подозрительно всматривался мне в лицо:

«Вы не заметили там, в лесу... человека?..»

Я промолчал и невольно отвел глаза.

«Послушайте,— заговорил он,— скажите мне что-нибудь... Я еще думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...»

«Да ведь это и был почти сон,— сказал я.— Мороз так притупляет впечатления...»

Он сделал резкое движение и сразу сел на своем месте; глаза его странно сверкнули...

«Правда?..— сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: — Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал... Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю,

и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О какая низость...»

Он схватил голову руками, и несколько секунд прошло в молчании... Наша избушка все продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять послышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями размеренно шагал кто-то огромный и тяжелый...

«Да встаньте же, наконец, вы... негодяй! — крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой.— Ведь мы с вами убили человека. Пон-нимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..»

В освещенном пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина. Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожному разговору незнакомых проезжих людей, упоминающих об убийстве. И теперь, все еще полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучавшей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал напяливать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошел с своего места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чем дело. В углу заплакал ребенок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Все это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, темной избушки с тихо набиравшимся в нее народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно когда она грозит...

VI

— Послушайте, может быть вы все-таки доскажете, что было дальше? — спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл о своем рассказе, глядя прямо перед собой на освещен-

ные солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чем-то весело балагуря с своим ямщиком.

— Да, простите, пожалуйста!..— заговорил рассказчик.— Я задумался. Это очень тяжелые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

— Что в избу стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

— Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, глядя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно стараясь ободрить и себя, и станочников:

«Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...»

Однако когда я стал разъяснять, в чем дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, и мой рассказ, правда бессвязный и сбивчивый, не облекался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу послышался даже смех.

«Да это Митрохин, поселенец!» — сказал кто-то.

«Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетется с приисков. Надоели нам...»

«И верно,— вставил свое замечание привезший нас ямщик.— У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Свезите, говорит, Христа ради, ноги не ходят».

«Ну, что ж не дали?» — спросил староста сурово.

«Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет...— ответил ямщик, отворачиваясь.— Была бы бумага или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...»

«Пешком пришел! Умные! То, чай, тепло было, а тут, видишь, сивер. Застынет теперь — заседатель с доктором небось пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...»

«У него теплина́ была (костер)»,— вставил ямщик в виде оправдания.

«Как же зря,— сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать.— Ведь человек замерзнет... Надо помочь».

«Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придет, дальше свезем... Почто, Тимофей, не подобрал его?» — обратился он опять к нашему ямщику.

«Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...»

«Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасет...»

«Постойте,— крикнул я с тоской.— Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слышите, что делается...»

На мгновение водворилась тишина — и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толок что-то в ступе... И по временам воображение примешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек — или, может быть, на реке трескался лед.

В избе послышались вздохи. Тем не менее дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

«Спаси господи!» — прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

«Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютый!»

«Третий год — Федька в этом же лесу застыл».

«В прошлом годе баба с мальчонком».

«А у меня мнук не застыл, что ли?» — злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

«Этому ветру почта не ходит»,— опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.

«Постойте,— сказал я в отчаянии.— Возьмите деньги, что ли! Десять рублей — кто согласится поехать со мною...»

В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

«Двадцать, тридцать, все, что у нас есть!» — сказал я, почти задыхаясь от волнения...

«Стойте,— крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась.— Никто не уходите! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..»

Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.

«Эх, господин,— сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе.— Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет склёка».

И действительно, началась мучительная «склёка». Вы знаете — эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломок прошлых веков. Земли у них нет, и состоят они на жалованье. «Пара лошадей» составляет основание подушной раскладки, «душа» равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счеты, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормежка арестантов — все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:

«Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...»

Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи несся все тот же зловещий гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную машину, которая так шумно

действовала перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело,— пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы...

«Братцы,— сказал он.— Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь... Не надо мне денег... Я еду не в зачет, без очереди... Когда господь ежели поможет,— оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...»

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной «выти»,— первый сказал с спокойным сочувствием:

«Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...»

«Дело твое...»

«Не в зачет — твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...»

«Ишь ведь сиверко... Господи помилуй... Верно — почта не пойдет... Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...»

«Помоги тебе владычица, Софрон Семеныч».

Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято,— есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему;



по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда...

«Товарища кличешь? — спросил меня проходивший мимо ямщик.— Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас... Может, попросился к шабрам».

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.

«Что такое? — спросил он.— Что еще?»

«Скорей, скорей, ради бога»,— сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

«Ну нет,— сказал он.— Погоди, барин,— этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся».

И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежи на всякий случай...

Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая поземка. Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...

— Нашли вы этого человека? — спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

— Нашли,— ответил он как-то беззвучно...— Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...

— А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

— Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна и притом широкая и обставленная вехами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую все-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом взошло солнце. Следов нигде не было...

— Значит, вы ошиблись?

— Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

— Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок,— сказал он.— Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.

— Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затишных местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

— Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам — совершенный ребенок. Ему просто стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...

Он опять замолк.

— Вы сказали, кажется,— *подлую* человеческую природу? — сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивленный.

— Ах да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...

Он недосказал, махнул рукой, и все остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.

VII

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

— Человек тут застыл... двое... Крест поставил прискатель, Сокольской; может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещенному продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

— Никогда мимо не проедет,— сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь.— Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.

И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

— Видно, приятели были...

1900—1901

НЕ СТРАШНОЕ

Из записок репортера. Этюд

I

«Двадцатому будьте в N-ске. Сессия окружного суда. Подробности письмом. Редакция».

Я посмотрел на часы, потом справился в путеводителе. У меня была надежда, что я уже не попаду к ночному поезду на станцию железной дороги, расположенную верстах в десяти от города, где я только что закончил другое редакционное поручение. В уме мелькал лаконически деловой ответ: «Телеграмма запоздала, двадцатому не могу». К сожалению, однако, путеводитель и часы говорили другое: у меня было три часа на сборы и на путь до станции. Этого было достаточно.

Около одиннадцати часов теплого летнего вечера извозчик доставил меня к загородному вокзалу, светившему издалека своими огнями. Я приехал как раз вовремя: поезд стоял у платформы.

Прямо против входа оказался вагон с открытыми окнами. В нем было довольно просторно, и какие-то господа интеллигентного вида играли в карты. Я догадался, что это члены суда, едущие на сессию, и решил искать место в другом вагоне. Это оказалось нелегко, но, наконец, место нашлось. Поезд уже трогался, когда я, с легким багажом в руках, вошел в купе второго класса, занятое тремя пассажирами.

Я уселся у окна, в которое веяло свежестью лунной ночи, и скоро мимо меня понеслись концы шпал, откосы, гудящие мостки, будки, луга, залитые белым светом луны,— точно уносимые назад быстрым потоком. Я чувствовал усталость и печаль. Думалось, что вот так же быстро бежит моя жизнь от мостка к мостку, от станции к станции, от города к городу, от пожара к выездной сессии... И что об этом никоим образом нельзя написать в газетном отчете, которого ждет от меня редакция. А то, что я напишу завтра, будет сухо и едва ли кому интересно.

Мысли были невеселые. Я отряхнулся от них и стал слушать разговор соседей.

II

Ближайший мой сосед беззаботно спал, предоставив мне устраиваться, как знаю, у него в ногах. Напротив один пассажир тоже лежал, другой сидел у окна... Они продолжали разговор, начатый ранее...

— Положим,— говорил лежащий,— я тоже человек без суеверий... Однако все-таки... (он сладко и протяжно зевнул) нельзя отрицать, что есть еще много, так сказать... ну, одним словом — непознанного, что ли... Ну, положим, мужики... деревенское невежество и суеверие. Но ведь вот — газета...

— Ну что ж, газета. То суеверие мужицкое, а это газетное... Мужику, по простоте, является примитивный черт, с рогами там, огонь из пасти. И он дрожит... Для газетчика это уже фигура из балета...

Господин, допускавший, что есть «много непознанного», опять зевнул.

— Да,— сказал он несколько докторально,— это правда: страхи исчезают с развитием культуры и образованности...

Его собеседник помолчал и потом сказал задумчиво:

— Исчезают?.. А помните у Толстого: Анне Карениной и Вронскому снится один и тот же сон: мужик, обыкновенный мастеровой человек «работает в железе» и говорит по-французски... И оба просыпаются в ужасе... Что тут страшного? Конечно, немного странно, что мужик говорит по-французски. Однако допустимо... И все-таки в данной-то комбинации житейских обстоятельств от этой ничем не угрожающей картины веет ужасом... Или вот еще у Достоевского в братьях Карамазовых... там есть наш городской черт... Помните, конечно...

— Н-нет, не помню... Я ведь, Павел Семенович, преподаватель математики...

— А, да... Извините... я думал... Ну, я напомню: это, говорит, был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен лет уже не молодых, с проседью там, что ли, в волосах и в стриженой бородке клином... Белье, длинный галстук, в виде шарфа, все, говорит, было так, как у всех шиковатых джентльменов, но только белье грязновато, а галстук потертый. Словом — «вид порядочности при весьма слабых карманных средствах».

— Ну, какой же это черт? Просто проходимец, каких много,— сказал математик...

— То-то вот и есть, что много... Это и страшно... И именно потому страшно, что так обыкновенно: и галстучек, и манишка, и сюртучок... Только что потертые, а то бы совсем, как и мы с вами...

— Ну, это что-то, Павел Семеныч... это, извините, какая-то у вас странная философия...

Математик слегка как будто обиделся. Павел Семенович повернулся к свету, и мне стало ясно видно его широкое лицо с прямыми бровями и серыми задумчивыми глазами под крутым лбом.

Оба помолчали. Некоторое время слышался торопливый стук поезда. Но затем Павел Семенович заговорил опять своим ровным голосом.

— На N-ской станции подошел я, знаете, к локомотиву. Машинист человек отчасти знакомый... Хронически сонный субъект, даже глаза опухшие.

— Да? — спросил собеседник равнодушно и не скрывая этого равнодушия.

— Положительно... Явление, конечно, естественное. Тридцать шесть часов не спал.

— М-м-да-а... Это много...

— Я вот и думаю: мы заснем... Поезд летит на всех парах... А правит им человек некоторым образом совершенно осовелый...

Собеседник слегка завозился на своем месте...

— Да, вы вот с какой стороны!.. Действительно, черт возьми... Вы бы заявили начальнику станции...

— Что тут заявлять... Засмеется! Дело самое обыкновенное, даже можно сказать — система. В Петербурге в каком-нибудь управлении сидит господин... И перед ним таблицы, в таблицах — цифры. Приход... Расход... И в одной графе расхода есть машинисты. Жалованье — столько-то. Поверстных столько-то. Поверстные — это пробег поездов — цифра полезная, доходная, твердая, подлежащая увеличению. А вот жалованье людям — это уже минус... Вот этот человек и ломает голову: взять меньше машинистов, а пробег оставить тот же... Если даже немного увеличить... Происходит, так сказать, стихийная игра цифр... И занимается ею самый обыкновенный господин... И сюртучок на нем, и галстучек, и вид полной порядочности... Товарищ хороший, семьянин прекрасный... Деточек любит, жене к празднику сувенирчики дарит... И дело его самое безобидное: простейшие задачи решает. А в результате сон у людей убывает... И по полям и равнинам нашего любезного отечества в этакие вот лунные ночи мчатся вот этакие же поезда, и с локомотива глядят вперед полусонные, запухшие глаза человека, ответственного за сотни жизней... Минута дремоты...

Ноги математика, одетые в клетчатые брюки, зашевелились; он поднялся с своего места в тени и сел на скамейке... Его полное маловыразительное лицо с толстыми подстриженными усами было встревожено.

— Ну вас, ей-богу, с вашим карканьем,— сказал он с неудовольствием...— И как это у вас, черт возьми, ощутительно выходит... Только что хотел заснуть...

Павел Семенович с удивлением посмотрел на него.

— Да нет, что вы это? — сказал он...— Бог с вами!.. Доедем, бог даст, благополучно. Я ведь только к тому, что вот как оно перемешано: страшное и обычное... Экономия — обыкновеннейшее житейское дело... А около нее где-то смерть... И даже подлежит учету по теории вероятностей...

Математик, все еще огорченный, вынул портсигар и сказал, закуривая:

— Нет, это вы верно; действительно, черт его знает:

заснет, каналья, и как раз... Скоты эти железнодорожники... Однако давайте о чем-нибудь другом. К черту все эти страхи... Итак, вы все еще процветаете в Тиходоле?.. Давно что-то застряли...

— Да,— ответил немного сконфуженный Павел Семенович.— Такой уж, знаете, город несчастный... Точно в яму какую проваливаешься. Учитель, судебный следователь, акцизный... Как попал сюда, так будто и забыли про тебя и из списков живущих вычеркнули...

— Да, да... Действительно, город, черт его знает. Глухой какой-то... Даже клуба нет. И грязь невылазная.

— Клуб теперь, положим, есть... И мостовые кое-где завелись. Освещение тоже, особенно в центре... Я, положим, живу на окраине, так мало этими удобствами пользуюсь...

— А вы где, собственно, живете?

— В доме Будникова, на слободке...

— Будников? Семен Николаевич? Представьте, ведь и я жил в этих же местах: у отца Полидорова... С Будниковым встречался, как же! Прекрасный господин, с образованием и, кажется, немного даже того... с идеями?..

— Да, с некоторыми странностями...

— Нет, что же?.. Я говорю: с идеями. А странности... Какие же? Кажется, ничего особенного.

— Вот именно: особенного ничего, а все-таки... Ценные бумаги, например, хранил в тюфяке...

— Ну, я этого не знал. А так, при встречах производил отличное впечатление. Свежее такое, оригинальное... Домовладелец, и вдруг — сам живет в двух комнатках, без прислуги. Впрочем... постойте... Было, помнится, что-то вроде дворника...

— Это, верно, Гаврило...

— Именно, именно Гаврило. Низкорослый такой, белобрысый? Да? Ну вот... Помню — приятно было смотреть на его рожу: добродушнейшее этакое мурло... Бывало, думаю: в хозяина и работник... Ну что он? Все такой же?

Павел Семенович некоторое время молчал. Потом посмотрел на собеседника каким-то помутневшим взглядом и сказал:

— Д-да... Вы правы... И это было действительно так... И Семен Николаевич... И Гаврило... И оба они вместе...

— Ну да! Я ведь помню...

— Именно свежий был человек для нашего города...

Образованный, независимый, с идеями... Был в университете, только не кончил из-за какой-то истории... Сам он мне говорил, будто влюбился несчастливо. «Сердце, говорит, у меня разбито». С другой стороны, мне известно, что он переписывался с каким-то приятелем в местах весьма отдаленных. Значит, было назади что-то такое... Отец у него, говорили, ростовщичеством занимался, хотя не особенно злостно. Так с сыном у него из-за этого ссора некоторая вышла. Молодой студент не одобрял и не прикасался к его деньгам, перебиваясь грошовыми уроками... Ну, когда отец умер — Семен Николаевич приехал, вступил во владение наследством. Говорил кое-кому: «Не для себя... Считаю это долгом всему обществу...» Потом... дела-то оказались запутанными... Дома там, земля, долгосрочные контракты, тяжба какая-то... Разбирался он во всем этом год, другой, третий, а там и втянулся. Многие еще помнили, как он говорил: «Только бы тяжбу закончить с этими подлецами да дела устроить... Дня в этой проклятой трущобе не останусь...» Ну, одним словом — история обычная... Учитель у нас один, зоолог, поступая к нам в гимназию, так прямо и говорил: только бы, говорит, диссертацию написать, и вон из этого болота!

— А, это Каллистов! Ну, что же? — спросил живо математик. Рассказчик только махнул рукой.

— До сих пор все пишет. Женился. Третьим бог благословляет... Ну, вот так же и Семен Николаевич Будников — все свою, так сказать, жизненную диссертацию писал. Началось, кажется, с того, что увлекся тяжбой. Отзывы эти, протесты, кассации, вся эта игра... И все сам писал, почти не советуясь с адвокатами. Потом — пока что — новый дом стал строить. Когда я с ним познакомился, он был уже благополучным среднего возраста холостяком, с румяным лицом и приятной этакой, спокойной, солидной и сочной речью. И уже тогда были маленькие странности. Приходил иногда ко мне, главным образом в сроки уплаты за квартиру... Мы эти сроки пригнали к двадцатому. Ну, значит, двадцатого он и приходил в восемь часов вечера и выпивал у меня два стакана чаю с ромом. Не больше, но и не меньше! На каждый стакан по две ложечки рому и по сухарю. Я привык смотреть на это как бы на некоторую прибавку к квартирной плате. И у других квартирантов бывало то же — у кого с ромом, у кого без рому. Сроки найма были все различные, квартир в четырех его домах (один в го-

роде довольно большой) было около двадцати... Итого сорок стаканов чаю... Впоследствии оказалось, что это входило в его бюджет и вписывалось в книги... Иной раз так и стояло: «Не застал такого-то, деньги он принес сам на следующий день. В расход сверх сметы два стакана чаю...»

— Неужели? — засмеялся Петр Петрович.— Вот не думал никак! Откуда же вы узнали?

— Пришлось по одному случаю. Да, это, конечно, черта тоже неожиданная, и, вероятно, в ваше время ее еще не было. Ну, а позже стало заметно. Даже обыватели стали поговаривать: дескать, господин Будников — человек с расчетцем. Говорилось это благодушно, даже с одобрением. Это как будто роднило Будникова со средой... Понимаете? Явилась в непонятном человеке какая-то ниточка своя, бытовая так сказать, понятная... Ну, и стала эта черта все более обозначаться. Считалось, например, что господин Будников не держит почти прислуги: Гаврило был дворником того дома, где была и моя квартира; чистил некоторым жильцам платье, ставил самовары, бегал на побегушках. И бывало так, что хозяин и работник сидят рядышком и чистят сапоги: дворник жильцам, Будников себе... Но потом господин Будников завел лошадь. Без особенной нужды. Маленькая роскошь: ездил он раза два в неделю на загородный хутор. Остальное время лошадь была свободна. У Гаврилы тоже не все время было занято... Ну, и вышло естественным образом, что лошадь перешла на попечение Гаврилы, и он с нею стал выезжать на биржу. Гаврило против этой комбинации, по-видимому, ничего не имел, так как неустанный труд считал своим приятным назначением. Есть, знаете, своего рода талантливость на все, и я думал иной раз, что Гаврило своего рода гений в области мускульного труда... В движениях легкость, беструдность какая-то неутомимая... Иной раз даже ночью... не спится, бывало. Взглянешь в окно: метет мой Гаврило улицу или там канавки подчищает. Это значит — лег спать и вдруг вспомнил: не успел за другими делами мостки дочистить... Идет и чистит. И была в этом положительно какая-то своя красота...

— Да, да! — сказал математик.— Вы очень верно изобразили этого человека. Вспоминаю именно, что на него вообще было приятно смотреть, благообразие какое-то.

— Душевное равновесие всегда красиво, а он испол-

нял свое назначение, не углубляясь в характер своих отношений к хозяину... И это тоже было приятное зрелище, то есть их взаимные отношения. Один красиво играет мускулами. Другой придает этой игре смысл и разумную целесообразность... Увидел, что время не заполнено,— и нашел новое применение... Своего рода гармония интересов, почти идиллия... Чуть свет — Гаврило уж на работе. Господин Будников вставал тоже рано. Они здоровались с очевидным взаимным расположением. Потом господин Будников или работал в саду, или обходил свое хозяйство, разбросанное в городе: беднота-то поднимается рано, он и заходил утром в квартирки, занятые беднотой... Потом возвращался и говорил:

«Ну, ты теперь, Гаврилушко, запрягай, пожалуй, а я за тебя тут дочищу... Как раз чиновники в канцелярии идут. Может, кто и попадется...»

Себя он считал в то время не то толстовцем, не то... опростившимся, что ли... Часто заговаривал о ненормальности нашей жизни, о необходимости отдать долг трудящемуся народу, о пользе физического труда. «Работаю вот,— говорил он, когда кто-нибудь заставал его за топором или лопатой.— Помогаю ближнему дворнику трудом своим». И трудно было разобрать в его тоне: ирония это или серьезно... В середине дня Гаврило возвращался и ставил лошадь в конюшню, а господин Будников опять отправлялся по хозяйству, делал жильцам вежливые замечания за изломанный палисадник или обитую детскими мячами штукатурку... Возвращался он порой с каким-нибудь нищим, а то и двумя. Они, значит, попросили на улице милостыню, а он предложил «трудовую помощь»... Ну, конечно, попрошайки обращались в постыдное бегство, а господин Будников с особенным удовольствием продолжал работать один или с Гаврилой. Вскоре его узнали все нищие в городе и только кланялись с добродушной улыбкой, а денег не просили. «Как это вы, друзья мои, не понимаете своей пользы»,— назидательно говорил господин Будников. И надо сказать, что этот «трудовой» образ жизни ему лично приносил очевидную пользу: румянец у него был прямо завидный, ровный этакой, с здоровым загаром. Выражение лица всегда спокойное, уравновешенное, почти как у Гаврилы... И вот тоже... ничего ведь в этом не было ни зловещего, ни странного.

— Ну, вы опять свернули на прежнее! — сказал

математик, подымаясь и похлопывая собеседника по плечу.— Конечно, ничего страшного... А между прочим, я выйду на этой станции... Восемь минут.

Поезд замедлил ход, потом остановился.

III

Павел Семенович, оставшийся вдруг без слушателя, оглянулся несколько растерянно... Через некоторое время взгляд его серых глаз встретился с моим. В глубине этого взгляда светилась какая-то упорная мысль, точно у маниака...

— Вы... понимаете? — спросил он просто, не смущаясь тем, что говорит с незнакомым человеком...

— Кажется, понимаю,— ответил я.

— Ну, вот-вот,— сказал он с удовлетворением, потом стал продолжать просто, как будто не замечая смены слушателя...

— Был у меня, знаете, товарищ школьный... Некто Калугин, Василий Петрович. Был он захвачен тогдашними течениями в молодости... а человек был своеобразный. Говорил мало. Больше слушал, что говорили другие, и наблюдал, как они суетились, пытаясь, как говорится, повернуть колесо истории. Но в самом молчании чувствовалось восхищение и преданность... И пришел он к заключению: «Все это хорошо и чрезвычайно благородно, но нет рычага. А рычаг — деньги. За эти дела, говорит, нечего и приниматься без ста тысяч». И успел, знаете, убедить в этом еще нескольких товарищей, которые и составили маленький кружок, накопителей, что ли... Ну — из кружка, положим, ничего не вышло: кто просто отстал, кого судьба зашвырнула далеко от источников добывания. А он, Василий Петрович,— выдержал и достиг. Человек был без блеска, но с большим характером, такие в деловых сферах очень ценятся. Поступил для начала в одно учреждение на Волге. Не то, знаете ли, банк, не то касса ссуд. Для великой цели не пренебрег он и этим учреждением и сразу, как говорится, вдохнул в него новую жизнь. Года через три получал уже тысяч что-то около шести... Тогда он поставил задачу в таком виде: пятью двадцать — сто! На себя, значит, и на прочее — тысяча в год. Пять тысяч на великое дело. «Через двадцать лет — рычаг готов»... И что вы думаете: достиг. Правда, нужен был харак-

тер — прямо самоотверженный. И система!.. Во-первых, во избежание всяких глупых случайностей,— на время отошел от прежних товарищей... тех, которые голыми руками за колеса истории хватаются. «У меня, дескать, своя задача... Неблагонадежность там... случайное письмецо... сделайте одолжение, не надо»... И это тоже выдержал. Вообще всю жизнь приспособил, все подробности рассчитал. Ничего — кроме накопления! Вставал ежедневно не то что в семь часов, как Будников, а в семь часов без тринадцати минут. Секунда в секунду! От личной жизни отказался... Было у него до того времени увлечение одно: сошелся с одной девушкой и тоже на свободных началах. Дали взаимно слово не связывать друг друга. Ну, да ведь это глупые фразы: ребеночек-то никому слова не давал... Явился на свет и потребовал свое... Она и рада... А он насупился. Так как, говорит, эта неприятная случайность может повториться, и принимая, говорит, в соображение мою великую цель, то я, говорит, намерен воспользоваться свободой. На ребеночка я, говорит, хотя и в ущерб великой цели... такую-то сумму... Женщина была тоже с характером: денег не взяла ни копейки, захватила ребеночка — и прощайте — навсегда... Как он чувствовал себя после этого — неизвестно, но накоплению отдался без помехи... И вот, после разных удач и неудач, через двадцать лет, проснувшись по обыкновению в семь часов без тринадцати минут,— он поздравил себя с успехом: сто тысяч собраны. На службу явился в обычное время, вошел в кабинет своих принципалов и говорит: «Через два месяца я ухожу». Те и рот разинули. «Да что вы, бог с вами! Может быть, прибавить жалованье? Или процент с дохода?» Нет! Сказал, как отрезал, и через два месяца был в Москве на прежней жизненной точке... И в кармане сто тысяч.

— О-го! — сказал Петр Петрович, вернувшийся в эту минуту из буфета.— Это у Будникова, что ли?..

— Нет,— ответил Павел Семенович.— Это я о другом...

— А! О другом? Ну, все равно... Продолжайте о ста тысячах... Это уже, надеюсь, не страшно?..

В его голосе звучала легкая насмешка. Павел Семенович посмотрел на него с наивным удивлением и повернулся ко мне.

— Да, так вот... Приехал он в Москву, то есть, понимаете: к своему прошлому... Думал — жизнь будет

его ждать, пока он выполнит великую задачу накопления... И явится он в тот же Газетный переулок, и там застанет те же споры и тех же людей, и так же будут они хвататься голыми руками за колеса истории... Тут он им свой рычаг... «Извольте! У нас великие идеи... А вот мой вклад для осуществления»... Глядь, а предлагать-то уже и некому: в Газетном переулке другие люди, и говорят по-другому. Прежние или погибли под колесами истории, или отстали... Жизнь — это ведь поезд... Отлучился со станции на время, глядь — поезда уже и не видно... А порой не застанешь и станции... Понимаете вы, милостивый государь, какая это трагедия?

— Ну, сделайте одолжение,— сказал Петр Петрович.— Сто тысяч! Свободен!.. Многие согласятся на этакую трагедию...

— Да?.. Но ведь человек-то, я вам говорю, был искренний.

— Ну, и что же?

— Да вот... Бродил он среди старых и новых знакомых, все своего поезда разыскивал. Тоску на всех навел... То, для чего отдал жизнь и свою, и чужую — уже непонятно: кажется, что там одна пальба идет... а для чего — неизвестно. А то, что понятно,— разные почтенные дела, вроде «народного дома», или газеты, или «идейное книгоиздательство» его, семидесятника, не удовлетворяет... На это он готов, пожалуй, отдать... проценты с капитала...

— Ну что ж — шесть процентов, при скромных потребностях... Жить можно! И даже можно часть отдать на доброе дело...

— Да... конечно... Но если взять исходную точку... Ведь это был подвиг... Люди отдавали жизни, и он жизнь отдал... И не только свою... Неужели это можно сделать для одних процентов... А на подвиг-то уже не хватает стимула. Одним словом, в один прекрасный день нашли его в одиноком номере гостиницы — с пулей во лбу... И деньги рассовал кое-как, наскоро и невнимательно... Накануне еще я его видел в одном обществе. Никто в нем ничего особенного не замечал. Здоровались и проходили мимо — почтенный, дескать, человек. С характером, и намерения наилучшие. Скучный только необыкновенно!

— Гм, да! — сказал математик,— бывают и этакие чудаки.— И он стал укладываться. Лицо его с толстыми подстриженными усами опять потонуло в тени, а наружу были видны ноги в клетчатых брюках...— По-мое-

му,— сказал он из своего угла,— уж Будников интереснее... Вы про него не досказали...

— Да... я ведь... извините — к тому и случай этот привел... Сидел я как-то недавно всю ночь... Переписку Будникова с его этим «отдаленным» приятелем читал. Поверите: оторваться не мог... и представить невозможно, что это писал тот же Семен Николаевич Будников, который у меня чай с ромом пил, Гаврилу на биржу посылал и душа которого незаметным образом, почти на моих глазах, в этом вот нашем дворике выдохлась и опустела... И осталась без всякой, так сказать... ну, одним словом, без всякой святыни...

IV

Он остановился и посмотрел на меня застенчивым и вопросительным взглядом, почувствовав как будто, что у него вырвалось слово, не совсем обычное для вагонного разговора. И он почти вздрогнул, когда математик, выпустив из своего темного угла густой клуб дыма, сказал:

— А вы, Павел Семеныч, я вижу, такой же чудак, право!.. Удивительно! У одного — сто тысяч... Стреляться! Другой живет себе на всей, как говорится, своей воле: здоров, румян... Спокоен духом... Обеспечен... Вам и это странно?.. Ей-богу, это невозможно... Ну, спокойной ночи... Пора спать. Ничего, ничего!.. Вы мне разговором не мешаете... Я не стану слушать...

Он повернулся к стенке.

Павел Семенович стыдливо и вопросительно взглянул на меня наивными серыми глазами и заговорил тише...

— Есть в Тиходоле улица, называется Болотная. Уже при мне на ней построили дом... Новый, из свежего леса... В первый год так и сверкал он, даже глаз резал этой своей свежестью. Потом очень быстро стал покрываться этим особенным бытовым налетом, этими мхами да лишаями и так слился с общим тоном старых сараев и заборов — не отличить. А теперь уже говорят, что там завелись привидения... Так вот и о господине Будникове вдруг стали говорить, что он ограбил одну женщину...

— Ну, это, как хотите, глупости! — отозвался математик.— Никогда не поверю, чтобы Будников был грабитель... Пустили какую-нибудь глупую сплетню.

Павел Семенович улыбнулся грустной и немного растерянной улыбкой:

— Вот именно. Какой грабитель!.. Грабитель — слово такое... определенное! А тут вышла просто некоторая житейская... запутанность, что ли, с расплывчатыми очертаниями... Видите... Должен сказать, что уже после вас в последние годы поселились во дворе мать с дочерью... Женщины были простые, очень бедные, и господин Будников относился к ним покровительственно и великодушно: задолжали они что-то много, и он — очень аккуратный насчет платы — тут терпел и даже иной раз помогал деньгами. На доктора там, улучшенное питание для больной. Потом старушка умерла, и осталась эта Елена круглой сиротой... Господин Будников и тут оказал большое участие: отвел ей уютный уголок, хлопотал насчет работы: шила она, кое-как перебивалась... Потом стала вроде экономки у господина Будникова, а там... начали поговаривать, что отношения их стали гораздо ближе...

— А-а...— произнес математик.— Это уж действительно без меня... И красивая?

— Да, пожалуй, красивая, полная, с плавными этакими движениями и покорными глазами. Говорили, что глупа. Но если и так, то ведь глупость женская бывает порой особенная... Тут и наивность, и какая-то дремлющая невинность души. Положение свое она чувствовала очень сильно. Как это говорится у Успенского, кажется,— вся была во стыду... Пробовал господин Будников учить ее, подымать, так сказать, до своего уровня. Она оказалась неспособна. Сидит, бывало, над книжкой, водит по-детски указкой, и лицо по-детски напряженное. А при Будникове вся как-то сожмется и оглупеет. Охладел он к этим занятиям, а потом и к Елене, тем более что возникли некоторые другие виды. А было, должно быть, время, когда он ее начинал любить. Были, вероятно, и обещания какие-нибудь. Одним словом, доставался ему этот разрыв не так уж легко — совесть, что ли, была задета... только он старался смягчить разрыв. И между прочим вздумал ей подарить билет внутреннего займа... Призвал ее однажды, вынул три билета, разложил на столе, разгладил рукой и говорит:

— Смотри, Елена. Вот на каждую эту бумажку можно выиграть двести тысяч. Понимаешь?

Она, конечно, понимает плохо. Воображения не хватает на этакую сумму. А он продолжает:

— Ну, вот, говорит,— одну я дарю тебе. Сама бумажка стоит, говорит, триста шестьдесят пять рублей, но ты ее не продавай... Ну, возьми своей рукой на счастье...

Она не берет, жмется, точно боится. «Ну, хорошо,— говорит господин Будников.— Дай сюда руку. Вот, пусть эта будет твоя бумага...» Взял один из этих билетов и провел ее рукой две черты карандашом, резко этак, с нажимом. Видно, что намерение было у человека твердое... Отдал бесповоротно, со всеми, так сказать, последствиями. «Видишь, говорит, это на твое счастье, и если выиграешь двести тысяч — тоже твои будут...» И положил опять в стол. А у нее из-за пазухи вынул ладонку и положил туда бумажку с номером билета.

— Ну, и что же? — спросил математик...

— Ну, и вот... Нужно же было случиться, что... работает там эта машина в Петербурге, выкидывает, знаете, номер за номером. Берут их, кажется, детскими руками... И один из этих билетов выигрывает...

— Двести тысяч? — живо спросил математик, очевидно забывший о сне.

— Двести не двести, а семьдесят пять... Смотрит господин Будников в марте месяце тиражную таблицу и видит: стоит крупный выигрыш против его номера. Нуль, опять нуль... триста восемнадцать и тридцать два. И вдруг вспоминает, что один билет подарил Елене... Он хорошо помнит, что две черты поставил на первом. У него три подряд: триста семнадцать, триста восемнадцать и триста девятнадцать. Значит, триста семнадцатый... Достает билеты, смотрит: две черты стоят на триста восемнадцатом. Выиграла-то Елена...

— Ах, черт возьми,— воскликнул математик и слегка приподнялся.— Вот это штука!

— Да, именно штука. И даже довольно глупая. Черты попали на этот номер, когда он думал, что дарит другой... Ошибка, механический промах руки, пустая случайность... И из-за этой случайности Елена, глупая женщина, которая ничего не понимает и не сумеет даже распорядиться деньгами, возьмет у него... именно у него, у господина Будникова, отымет, так сказать, крупную сумму! Ведь это нелепость, не правда ли? У него и образование, и цели, или там были когда-то цели... Ну, и опять могут быть. Он эти деньги, может быть, на добрые дела назначит. Опять напишет своему этому приятелю, попросит у него совета... А она — что такое? Животное с округленными формами и красивыми глаза-

ми, в которых даже и не разберешь хорошенько, что в них: глупость теленка или невинность младенца, еще, так сказать, не проснувшегося к сознательной жизни... Вы понимаете?.. Ведь это так натурально... Каждый на месте Будникова... вы... я... вот Петр Петрович почувствовал бы приблизительно то же...

Со стороны Петра Петровича послышался какой-то не совсем внятный звук, который можно было истолковать различно.

— Нет? — сказал Павел Семеныч.— Ну извините... Говорю о себе... Мысли или, вернее, поползновения, что ли, такие у меня были бы, может быть, где-то там, в подсознательной, как говорится, сфере... Потому что... сознание и все эти сдерживающие силы, это ведь как земная кора: тонкая пленка, под которой ходят и переливаются чисто эгоистические первобытные, животные побуждения... Найдут место послабее и...

— Ну хорошо, хорошо,— с снисходительной усмешкой сказал Петр Петрович, и мне показалось, что он подмигнул мне из своего темного угла...— Вернемся к Будникову. Что же он? Отдал — и кончено?..

— Да, по-видимому, так он и хотел разрешить этот вопрос, и так как, кажется, боялся немного себя, то в тот же день призвал к себе Елену и поздравил ее с выигрышем. И тут же, при сем случае, желая воспользоваться, так сказать, благоприятными условиями, намекнул: вот, дескать, когда мы разойдемся, ты обеспечена. И при этом все время сердился...

— За что же сердился?

— Я думаю, за то и сердился, что вот ты какая дура. Если бы тогда сама выбрала — наверное, взяла бы не тот номер. А теперь из-за твоей глупости какая история вышла. Порядочный и умный человек какой суммы лишается. Так я, по крайней мере, представляю себе по рассказу Елены... «Все, говорит, бегали из угла в угол и сердились на меня...»

— Ну, а она что же? Обрадовалась, конечно?

— Н-нет... Спужалась, говорит, очень, и ударила из нее слеза. Он сердится, а она плачет, и от этого он еще больше сердится.

— Действительно дура!..

— Д-да. Я уже докладывал: умной ее не считаю, но в слезах этих... Нет, это была не глупость... И когда мне после рассказывала... дошла до этого места, взглянула на меня своими чистыми, птичьими глазами и вся вско-

лыхнулась от плача... И вот теперь я не могу забыть этих глаз... Глупость-то, может быть, и глупость. То есть нет ни ясности сознания, ни отчета в положении вещей. Но было что-то в этих голубых глазах, особенно в самой глубине... точно мерцал в них какой-то правильный инстинкт... Эти ее глупые слезы были, может быть, единственным правильным, настоящим, пожалуй... позволю себе сказать — самым умным во всей этой запутанной истории... Где-то тут недалеко скрывался выход, точно потайная дверка...

— Ну, хорошо, хорошо... Дальше-то что же?

— А дальше... Господин Будников посмотрел на глупую женщину долго и внимательно, потом подсел к ней, потом обнял, а потом... в первый раз после значительного охлаждения приказал ей не уходить к себе, а остаться ночевать у него.

И пошло это так на некоторое время. Елена расцвела... Любовь ее тоже была глупая, то есть очень непосредственная. Сначала — сама мне говорила, господин Будников был ей противен. Потом, когда уже взял ее,— точно, говорит, присушил. У таких непосредственных женских натур нет разделения, так сказать, чувства и факта. С какого конца ни затронь — весь этот комплекс действует нераздельно... Опять вернулся к ней, значит, опять полюбил... Две недели она так сияла радостью и красотой, что все, кто в это время смотрел на нее,— тоже заражались безотчетной радостью... Только недели через две господин Будников опять охладел... И потянулась у нас на дворе слякоть какая-то... У Елены глаза наплаканы... Соседки судачат, жалеют, господин Будников сумрачен... Две-то черты эти прошли глубоко по душе обоих. А тут еще и третий под них подвернулся... Дворник Гаврило...

— Гм!.. Целая история,— сказал Петр Петрович, опять подымаясь с места и садясь рядом с Павлом Семенычем.— Он-то при чем? Тоже узнал о выигрыше?

— Ничего он не знал. Я о нем уже говорил. Существо, бесхитростнее которого трудно представить,— прямо райская непосредственность... Иной раз он представлялся мне даже не человеком, а... как бы сказать... простым собранием мускулов, отчасти осознающих свое бытие. Все в нем было слажено хорошо, гармонично, правильно, и все в постоянном действии. И при этом два добрых человеческих глаза смотрели на весь мир с точки зрения своего физического и морального, так сказать,

равновесия. Порой в этих глазах светилось, пожалуй, любопытство и... такое бессознательное превосходство, что прямо бывало завидно. Порой мне даже казалось, что если не сам Гаврила, то *что-то* в нем отлично понимает и господина Будникова, и меня, и Елену... Понимает и улыбается именно потому, что понимает...

И вдруг этот человек тоже помутился... Началось это с той поры, как Будников сошелся с Еленой вторично и опять бросил... Для него она стала брошенная «барская барыня», существо, особого почтения не внушающее, и очень вероятно, что первые его авансы выразились как-нибудь просто, по-деревенски. Но она встретила эти авансы с глубокой враждой и гневом. Тогда Гаврило «задумался», то есть стал плохо есть, уставать за работой, похудел, вообще стал сохнуть...

Так это тянулось осень и зиму. Будников окончательно охладел к Елене; она чувствовала себя оскорбленной и считала, что он над ней надсмеялся... У Гаврилы несколько испортился характер, и во взаимных отношениях его и Будникова исчезла прежняя гармония... А билет с двумя чертами лежал в столе, и казалось, все о нем забыли...

Подошла среди такой ситуации и весна... На время я потерял из виду всю эту маленькую драму, которая разыгрывалась у меня на глазах... Подошли у меня и экзамены, уставал я сильно, даже сон потерял. Чуть задремлешь — вдруг будто толкнет кто-то — сна как не бывало. Зажжешь свечу — на столе тетрадки лежат — и станешь править... А там и солнце всходит... Выйдешь на крылечко, смотришь на спящую улицу, на деревья в саду... По улице сонный извозчик проедет, в саду деревья чуть трепыхаются, будто вздрагивают от утреннего озноба... Позавидуешь извозчику, позавидуешь даже деревьям... Покоя хочется и этой сосредоточенной бессознательной жизни... Потом пойдешь в сад... Сядешь на скамейку и, случится — задремлешь, пока солнце в глаза не ударит. Скамейка такая была у стенки конюшни в укромном уголочке. Солнце как раз в семь часов на нее светило — проснешься, чаю наскоро выпьешь — и в класс.

Вот однажды вышел я на заре и задремал на этой скамейке. Проснулся вдруг, точно кто разбудил. Солнце недавно поднялось и на скамейке еще тень. Что такое, думаю... Отчего бы мне так внезапно проснуться? И вдруг слышу у Гаврилы в конюшне голос Елены.

Хотел я встать и уйти: подслушивать я не охотник, да и неприятно показалось столь простое разрешение Елениной драмы. Но пока спросонок-то собрался встать — разговор продолжался, а затем уж я и не ушел... Прямо заслушался.

«Ну, вот и пришла,— сказала Елена.— Что вам?»

И потом вдруг, с глубокой такой, ну просто захватывающей тоской прибавила:

«Измучил ты меня...»

И так она это сказала... с таким искренним душевным стоном. И на «ты»... Прежде всегда, да и после — все «вы» ему говорила, а тут... вся изболевшая стыдом и любовью женская душа зазвучала — просто, без условностей, беззаветно...

«И вы меня, Елена Петровна, измучили,— ответил Гаврило.— Мочи моей нет. Сохну. Не работается, куска, говорит, не съем...»

«Что ж теперь,— говорит Елена,— будет?»

«Да, что! — говорит,— жениться на тебе, видно».

На некоторое время оба замолчали. Елена, кажется, тихонько плакала. И все в этом молчании было удивительно ясно, просто, без всяких недомолвок. Вот, дескать, какое положение: ты мне, конечно, не пара. Я вот поработал бы тут на Будникова, сколько полагается для моих целей, и пошел в деревню, поставил бы хозяйство, женился, взял бы честную девушку... И все это теперь пошло прахом: приходится поневоле брать тебя какая есть...

«Потерянная я...» — сказала Елена тихо...

«Что ж, Елена Петровна,— ответил Гаврило с какой-то угрюмою лаской.— Не посмотрю я на это, что вы сами себя потеряли... Все одно... Не житье мне... Постыло все... Кусок в рот не идет. Силы нет...»

Елена заплакала сильнее... Плач был хороший. Мне казалось — болящий, но исцеляющий. Гаврило сказал строго:

«Ну, что уж... будет... Пойдешь, что ли?..»

Елена, видимо, сделала усилие, сдержала слезы и на повторный вопрос ответила:

«А бога вы, Гаврило Степаныч, побоитесь?»

«Чего это?» — говорит Гаврило.

«Попрекать не станете?»

«Нет,— говорит.— Попрекать не стану. И другим в обиду не дам. А ты вот сама побожись, что баловство бросишь... Навсегда... Я тебе поверю...»

Стало тихо. Я не слышал, что ответила Елена, представляю себе только, что она, должно быть, повернулась на восток, а может, и иконка в каморке была... И перекрестилась... После этого она вдруг обхватила его голову руками, и я услышал поцелуй. И тотчас же Елена выбежала из каморки, метнулась было к дому, но потом вдруг остановилась, открыла калитку и вошла в сад...

И тут увидела меня... Но это ее нисколько не смутило. Она подошла, остановилась, посмотрела на меня счастливыми глазами и сказала:

«А ты все гуляешь по зорям... Эх ты, сердешный...»

И вдруг, переполненная вся этим своим чувством, подошла ко мне, взяла руками за плечи, бесцеремонно встряхнула меня, посмотрела в глаза и засмеялась... И так это просто вышло. Она поняла, что я все слышал, и ничего в этом не видела дурного... Только когда Гаврило вышел с метлой и тоже направился в сад, она вдруг вся зарделась и быстро пробежала мимо него. Гаврило посмотрел ей вслед с спокойной радостью, потом его взгляд упал на меня. Он поклонился с прежней стихийной благосклонностью и принялся мести дорожку. И опять была в нем та же красивая и беструдная игра мускулов, здоровых и свободных... И помню: как раз в эту минуту в монастыре ударили к ранней заутрене — дело было в воскресенье. Гаврило остановился в широком просвете аллеи, снял шапку и, придержав метлу на левой руке, правой стал креститься. И показалось мне это необыкновенно светло и красиво. Стоит человек в центре своего светлого мира, где все у него устроено хорошо, то есть все эти отношения — и с землей, и с небом... Одним словом, такое это было успокоительное зрелище, что я пришел к себе в комнату и в первый раз после многих беспокойных ночей заснул как убитый... Есть что-то в хорошем человеческом счастии исцеляющее и выпрямляющее душу. И мне, знаете, приходит иной раз в голову, что, собственно говоря, все мы обязаны быть здоровыми и счастливыми, потому что... видите ли... счастье — это высшая степень душевного здоровья. А здоровье заразительно, как и болезнь... Мы, так сказать, открыты со всех сторон: и солнцу, и ветру, и чужим настроениям. В нас входят другие, и мы входим в других, сами этого не замечая... И вот почему...

Павел Семенович вдруг остановился, почувствовав на себе пристально насмешливый взгляд Петра Петровича.

— Да, да!.. Извините,— сказал он,— у меня это действительно несколько туманно...

— Есть немножко... Лучше уж рассказывайте дальше. Без философии...

— ...Разбудил меня уже господин Будников. Это было как раз двадцатое. Пришел он, как всегда, и, как всегда, выпил два стакана чаю с ромом, но я видел, что господин Будников сильно не в духе и даже нервничает... И я невольно поставил это в связь с утренним эпизодом.

И некоторое время он все был не в духе. Все во дворе замечали, что между хозяином и работником идет что-то неладное и... непростое. Гаврило хотел уходить. Будников не отпускал, хотя при этом часто говорил мне, что в Гавриле он разочаровался. Однажды я шел по дорожке сада и увидел, как они оба стояли у калитки и разговаривали о чем-то. Будников был возбужден, Гаврило спокоен. Он стоял в свободной позе, глядя на свою лопату, которой постукивал в землю. Было видно, что он твердо стоит на чем-то, а господина Будникова это выводит из себя... И еще мне показалось, что предмет разговора устанавливает между ними какое-то странное равенство...

«Это, голубчик, дело, конечно, ваше,— говорил господин Будников. Он заметил меня, но не счел нужным прекратить разговор. Говорил язвительно и с горечью...— Да-с... Вы человек свободный... Но только, имейте в виду, Гаврило Степаныч... ежели у вас есть какие-нибудь утилитарные виды... Я с своей стороны, конечно, очень скромную сумму...»

Господин Будников не умел говорить просто и иностранные слова употреблял даже в разговоре с Гаврилой... Гаврило посмотрел на него спокойно и ответил:

«Ничего нам не надо... Нам хватит своего».

Господин Будников кинул на него настороженный взгляд и сказал:

«Ну хорошо. Помните! А затем... вот я уеду в Петербург по делу... Делайте как хотите».

Гаврило поклонился и сказал:

«Покорно благодарим...»

«Извините-с...— с оттенком иронической меланхолии сказал господин Будников.— Я на благодарность не рассчитываю».

И вышел из сада, хлопнув калиткой.

Во дворе он остановился, подождал меня и, взяв под

руку, пошел к нашему крыльцу. По дороге и сидя у меня на крылечке, говорил что-то запутанное и невнятное. Он не скрывает, что питал некоторое чувство к некоторой женщине. И это чувство может быть живо под пеплом... С другой стороны, мечтал о слиянии и возможности дружбы с меньшим братом. И хотя то и другое чувства послужили источником разочарования, но он, с своей стороны, что-то докажет, и все что-то увидят... Но, вообще говоря, великодушие, как и тонкие чувства, свойственны только высококультурным людям...

Он нервничал, и под несколько деланным пафосом мне слышались ноты искреннего огорчения и волнения.

Впоследствии я имел случай ознакомиться с его дневником. Там были отдельные странички в форме как бы писем к этому его отдаленному другу... Писем он, кажется, давно не посылал, но эти странички были точно просветы среди сумеречной обыденщины. И под тем приблизительно числом, когда происходил разговор с Гаврилой, стояло горячее излияние. Он сообщал всю эту историю с Еленой и писал, что ошибся, что любит ее и теперь... И что сделает еще один опыт... И кончалось это внезапным лирическим порывом: ты, дескать, далекий друг, не сомневаешься, конечно, что я выполню то, что считаю долгом великодушия...

И вот однажды, отправив Гаврилу с лошадью за город, господин Будников подошел к флигельку, где попрежнему жила Елена.

«Елена! Вы бы пришли ко мне. Убрать кое-что надо...»

Несколько дней перед этим он был особенно задумчив и торжествен, а теперь оделся попараднее, подошел к флигелю и вошел в комнату Елены, не стесняясь любопытными взглядами.

Никто тогда не знал, что происходило в ее комнате, но через полчаса господин Будников вышел оттуда прямой, чопорный и как будто растерянный. И все стали говорить, что господин Будников делал Елене форменное предложение и — Елена отвергла...

После этого он уехал в Петербург, где у него была тяжба в сенате. Он ее проиграл, а когда вернулся, то Гаврило и Елена были уже обвенчаны...

V

Впечатление все это произвело на него сильное, как будто совершился некоторый душевный переворот. Особенно поразило его одно на вид незначительное обстоятельство. Прежде каждую весну в палисадничке у окон господина Будникова цвели цветы. Это было у них с Еленой общее и составляло признанную статью расхода: семена, лейка, кузнецу за ремонт лопаты... С ранней весны Елена возится, бывало, в этом цветнике, радостная и оживленная, и господин Будников, тоже радостный, принимал в этом участие. Теперь флигелек опустел, цветник заглох, окна господина Будникова как будто ослепли... А у другого флигелька, где жил теперь Гаврило с женой, все зацвело и распустилось. Точно символ. Когда господин Будников вернулся с вокзала и кинул взгляд на этот неожиданный контраст — лицо его передернулось и на некоторое время он потерял свой обычный величавый вид. И мне вдруг стало его жалко. Я вышел и пригласил его к себе. Он долго сидел у меня, рассказывая свои столичные впечатления,— фразисто, пространно и неискренно. И все время чувствовалось, что в душе господина Будникова происходит что-то далекое от столичных впечатлений.

Потом понемногу все как будто вошло в колею. Господин Будников так же ездил два раза в неделю на загородный хутор, ходил в определенные дни по квартирантам, готовил себе обед на керосинке. Только в дневнике стало больше разных пустяков: например, он стал записывать, сколько шагов он делает ежедневно и, кажется, высчитывал по этим записям выносливость и стоимость подметок.

А еще через некоторое время последовала новая перемена: господин Будников почувствовал склонность к религии.

Помню, как-то был осенний вечер... Из тех тихих вечеров, когда природа особенно внятно трогает душу. На небе звезды будто шевелятся этак и шепчутся, а на земле свет и тени... Городок у нас, знаете сами — тихий и весь в зелени. Выйдешь, бывало, вечерком и сядешь на крылечке у себя. И у других домов, вдоль улицы, кто на скамеечке у ворот, кто на завалинке, кто просто на травке... Шепчутся где-то люди о своем, деревья о своем — и стоит какой-то невнятный шорох. Ну, и в душе тоже шепчет что-то... Перебираешь невольно всю свою жизнь.

Что было и что осталось, куда пришел и что еще будет дальше? И зачем все... и какой, знаете ли, смысл твоей жизни в общей, так сказать, экономии природы, где эти звезды утопают, без числа, без предела... горят и светятся... и говорят что-то душе. Иной раз и грустно, и глубоко, и тихо... Кажется, как будто не туда направляешься, куда надо. И начинаешь угадывать что-то там, высоко... И хочешь убежать от этой укоряющей красоты, от этого великого покоя со своим смятением и хочешь слиться с ними... А уйти некуда... Войдешь в кабинет, посмотришь при лампе на эту свою обстановку... учебники... тетрадки с ученическими письменными ответами... И спрашиваешь: где тут живое-то?

Петр Петрович пробормотал что-то, и рассказчик опять спохватился.

— Так вот... В этаком состоянии сижу на крылечке и думаю: «Вот люди от вечерни идут... Что же? Находят они в этом свое отношение к бесконечному?.. Или только привычка, пустой автоматизм? И так хочется, чтобы это было настоящее». И вдруг вижу: отделяется от идущих одна тень и подходит ко мне. Оказывается — это господин Будников. Тоже от вечерни. И садится рядом.

И я чувствую, что господин Будников ждет: дескать — спроси у меня — зачем я стал посещать церковь. Все не бывал и к религии относился иронически, а теперь вдруг стал посещать богослужения. И меня это действительно интересовало, да и так, откровенность под влиянием этого вечера нашла... Отчего, думаю, не сказать, что вот, дескать, у меня на душе сумрак какой...

«Вот, говорю, Семен Николаевич... Смотрю я на небо и вот что думаю...»

Покачал он головой и говорит:

«Мучился и я этим... и страдал. И вот, как вы же — не видел выхода. А выход — вот он, под руками...»

И жестом указывает в сторону, где белеется за деревьями церковь...

«Нас, говорит, интеллигентных людей, пугает, что это, так сказать, дорога избитая, банальность... А между тем — стоит отбросить гордость и слиться... или, как это Толстой когда-то выразился, прикоснуться к общей чаше, растворить свои искания в смиренной общей вере... перестать осуждать основы жизни... Как Антей, так сказать, прикоснуться к общей матери...»

И так он это сказал как-то вкусно. Голос такой сочный, журчащий, точно басок в архиерейском хоре.



Говорю вам искренно: я даже позавидовал. Ведь действительно: кругом тишина и благодать... Стоит, как говорит господин Будников, слиться, и у меня тоже все эти трещинки в душе затянет, как маслом. И сразу найдется потерянный смысл. Я вот спрашиваю себя: зачем тетрадки? А зачем все это вот, вся эта тихая жизнь?.. Почему вот тот сапожник идет такой торжественный и довольный?.. Или вон Михайло не ищет никакого особенного смысла, а плывет в общем потоке жизни, то есть в ее общем значении и общем смысле. Придут люди раз в неделю в это беленькое здание, так приветливо выглядывающее из зелени, побудут некоторое время в общении с какой-то тайной — и, смотришь, запасаются на всю неделю ощущением смысла... А ведь для многих жизнь гораздо тяжелее моей...

И вот теперь господин Будников... Неужели и он нашел для себя *это* и разрешил свои смятения... Хотел было спросить, но тут мимо прошел сначала наш священник. Господин Будников с ним раскланялся, и он ответил приветливо. И на меня посмотрел тоже с вопросительной благосклонностью... Будников вот обратился, может быть, дескать, и еще одного заблудшего приведет... Я тоже ответил на поклон особенно как-то тепло и благодарно и опять хотел спросить у господина Будникова, но тут появилось еще новое лицо, уже совершенно другого настроения...

VI

Павел Семенович несколько задумался и потом спросил у Петра Петровича:

— Учился при вас некто Рогов?

— Рогов... Не припомню... Столько их училось...

— Этот был заметный, и об нем приходилось часто разговаривать в совете... Судьба его была особенная... Видите ли. Отец этого мальчика был злодей старого закала, ябедник, пьяница и сутяга, гонимый новыми временами, как волк охотниками. Тип, так сказать, запоздалый. Способности недюжинные, а не приспособился к новым порядкам. И коротал он свои последние дни среди невзгод, нищеты и пьянства. И все ему казалось, что судьба к нему несправедлива: люди умеют устроиться отлично, а он при том же, по его мнению, образе действий — грязен, голоден и гоним... И пред-

ставьте, что у этого человека — семья... Жена и сынишка...

Жена — существо безответное, уничтоженное им в полном смысле слова, за исключением одного угла души. Когда дело касалось сына — в этой, как будто совсем опустошенной, душе открывалась какая-то дверка, точно не сдавшаяся цитадель в занятом неприятелями городе, и оттуда выступало вдруг столько женского героизма, что порой старый буян и пьяница поджимал хвост. Таким образом, бог уже не знает какой ценой, но ей удалось все-таки дать сыну образование. Поступив в Тиходол учителем, я застал этого юношу в последних классах. Мальчик был застенчивый, скромный на вид, поведения тихого. Только в глазах было что-то такое, странно сдержанное, возбуждавшее, пожалуй, некоторую тревогу: какой-то особенный огонек, точно блеск, беспокойное внутреннее горение. Худощавый, тонкое лицо всегда бледно, и копна буйных волос над крутым лбом. Учился отлично, с товарищами знался мало, отца, кажется, ненавидел, мать обожал почти болезненно...

Теперь... извините... Придется мне несколько слов сказать о себе... Иначе — останется многое непонятно в дальнейшем... Я тогда учительствовал еще первые годы и переживал особенное настроение... На призвание свое смотрел возвышенно и, так сказать, идеально. Товарищи представлялись мне какой-то священной ратью, ну, там... гимназия эта — чуть не храм... Молодежь это чувствует и ценит... И бежит на этот огонек со всей непосредственностью и со всеми своими запросами... А ведь это и есть живая душа нашего дела... Что толку, если он придет к тебе, застегнувши вместе с мундиром на все пуговицы и свою юную душонку. С своими вопросами и заблуждениями он мне, учителю, нужнее... Да и я ему нужнее, пока сам ищу и учу́сь... При некоторой искренности бери их прямо руками...

Рассказчик помолчал и продолжал тихо:

— И было это у меня когда-то... Сблизился я тогда крепко с несколькими мальчиками своих классов, в том числе и с Роговым... Книги свои давал, сходились ко мне. Ну, там, за самоварчиком, запросто, задушевно, понимаете... Вспоминаю об этом как о празднике жизни... Журнал иной раз свежий откроешь, толки, рассуждения, споры. Слушаю, не вмешиваюсь сначала, как они колобродят тут, путаются, потом разъяснишь — осто-

рожно, но с увлечением... А там, глядишь, иной раз родилась мысленка, другая — иной раз он уж тебя самого царапнет, довольно остро... И чувствуешь: надо держаться начеку, надо самому думать и учиться. И растешь вместе с ними. И живешь...

Недолго только шло это у нас. Как-то раз призывает меня директор для конфиденциальной беседы... Ну, вы знаете сами... Теперь эти внеклассные влияния руководителей юношества покровительством не пользуются. А уж журналы!.. Директор, вы его знаете — Николай Платонович Попов — деликатный человек... Он только намекнул и затем сделал вид, что ему, в сущности, ничего неизвестно... Я было погорячился, сначала даже отказался подчиниться, апеллируя к высшему пониманию своих обязанностей. А потом... вижу, что ничего не поделаешь. Главное — не обо мне одном и речь-то идет: на мальчиках отражается... Трудно было и тяжело, а главное — стыдно, вот что всего хуже. Что я мог сказать своим молодым собеседникам? Чем объяснить? Исполняю приказание, явно бессмысленное и оскорбительное, и только! Это был для меня первый удар жизни, и я тогда не заметил, что удар-то, пожалуй, был смертельный...

Подчинился я и прекратил свои вечерние беседы. По совести скажу, что думал больше о них. Ну, молодежь-то, знаете, не так легко подчиняется в этих случаях и не все в них понимает. Однажды вечером — шасть ко мне этот Рогов с товарищем... Тайным образом. Лица возбужденные, глаза горят и глядят как-то этак особенно... Ну, я этот способ сношений отклонил. «Нет, говорю, господа, лучше это оставить». Вижу, что мальчики вспыхнули оба... Рогов этот заговорил что-то, да только спазма схватила горло, а глаза стали вдруг злые... Но я нашел себе оправдание: за них я, особенно за Рогова и за мать его, боялся... Ведь если бы открылись наши конспирации, пожалуй вся его карьера и весь материнский героизм — пошли бы насмарку. Так я и отступил тогда... в первый раз.

Старался зато уроки сделать как можно интереснее. Вечера у меня остались свободные... Скучно. Привыкать ведь уже начал к своему молодому кружку. А тут — пусто. Ну, я за книги. Работал как вол, и все, бывало, прикидываешь в воображении: вот это должно их заинтересовать, вот это будет ново, а это ответит на такие-то запросы... Читаю, роюсь в книгах, коллекционирую

все интересное, оживляющее, раздвигающее казенные стены и казенную сушь учебников... И все с живой мыслью о недавних собеседниках... И кажется — выходило что-то... Помню, что класс весь иной раз замирал, умы вспыхивали... Но тут вдруг стал директор ходить на уроки. Придет, сядет, слушает, молчит... Знаете сами, как это делается. Как будто и ничего, а ведь и класс, и сам я чувствую, что это уже не урок, а своего рода дознание... Потом на стороне — деликатные вопросы: вот это, собственно, вы, позвольте узнать, откуда почерпнули? Из какого утвержденного учебника? И в какой мере, по вашему мнению, это соответствует программе?

...Ну, не стану распространяться... Так, одним словом, огонь этот понемногу во мне угасал... Класс стал именно классом: живые лица стали отдаляться все больше, отошли в туман какой-то... прикосновение умственное утратилось. Отметки... планы... перечисление стилистических красот живого произведения. В данном произведении двенадцать красот. Красота первая, красота вторая... Ну, и так далее... Соответственно требованиям программы... То есть, понимаете, и не заметил, как пошла и у меня та же будниковская бухгалтерия.

Как бы там ни было, кончил этот юноша курс гимназии и уехал в столицу... Однако в университет поступить сразу не удалось. Это было уже время этих секретных аттестаций... Может, и мои чтения тут были в игре. Одним словом — год у него пропал. Матери-то он написал, что поступил и даже — что получает стипендию, а в действительности перебивался кое-как, бедствовал и, вероятно, озлоблялся. Потом как-то все-таки стал выбиваться на дорогу... Но тут вдруг и настигни его горе: мать умерла, не дождавшись. С тех пор как сын уехал, таяла все... Исчезла, так сказать, с горизонта путеводная звезда всей ее жизни — ну, и сила сопротивления тоже исчезла. Исчахла, знаете ли, как-то быстро, даже как будто с удовольствием. «Я, говорит, Ване теперь уже не нужна... На дорогу, слава тебе господи, вывела. Теперь и сам пойдет». Сказала: «Ныне отпущаеши...» — и умерла. А вскоре после этого и почтенного родителя в канаве нашли... И остался мой Рогов круглым сиротой...

Однако старушка-то, видно, поторопилась: теперь-то она, может, всего нужнее была сыну. Учился он, правда, хорошо и даже как-то страстно, так сказать, без оглядки,

будто торопился к чему-то. А как получил известие о смерти матери — в душе-то, видно, оборвалось что-то... Очевидно, и она для него, в свою очередь, была единственной мечтой в жизни. Вот, дескать, кончу, стану на ноги и восстановлю нарушенную справедливость: мать, наконец, хоть на закате узнает, что есть еще благость господня и любовь, и благодарность... Хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю... Пусть хоть на миг один, да чтоб сердце радостью вспыхнуло и оттаяло. И вдруг — вместо всего могила... Обрыв — и кончено! И никакой уже благодарности не надо, и ничего уже ни вернуть, ни исправить нельзя... Да, чтоб выдержать такое испытание без надлома, нужна сила... нужна вера в общий смысл жизни... Чтобы и это казалось не одной глупой случайностью...

Ну, он и не выдержал. Опоры не было... Оступился, закрутил и стал вином заливать ядовитое чувство оскорбления и несправедливости судьбы... А там и пошло. Экзамены бросил — дескать, теперь не для кого дипломы добывать... И понесло его случайными течениями, как лодку, брошенную на реке... Заявился опять в нашем городе... Может быть, думал зачалиться как-нибудь за материнскую могилку... Да ведь что тут могила поможет... Если бы в ней отыскался смысл какой-нибудь, тогда, конечно, другое дело... А так... взял в суде свидетельство «на право хождения» по делам и вступил на отцовскую дорожку. Жизнь повел беспутную, время проводил в кабаках, с голытьбой, и брал дела самого рискованного свойства. Год такой жизни — и выработался в пьяного и дерзкого буяна, анфан-терибля всего нашего мирного городка, грозу мирных граждан. И откуда-то, черт его знает, в этом застенчивом юноше объявилась вдруг наглость, а с нею и остроумие просто дьявольское: все в городе его боялись... Замечательно, что редкий городок на Руси обходится без своего Рогова. Своего рода должность, полагающаяся по штату. Тихо это всюду, мирная дремота, идиллическое спокойствие, господин Будников по улицам ходит, прямой, величавый, собственные шаги считает... По вечерам — особенно в праздники, шорохи эти поэтические, а тут где-нибудь ухает кабак вроде нашего «На Ярах», и бурлит какая-нибудь безобразная, изболевшая и одичавшая душа... А около нее, конечно, сателлиты. Это уже, так сказать, в порядке вещей, необходимый аксессуар глухих провинциальных углов...

Первое время после своего появления Рогов иногда встречался со мною... Робко поклонится и отойдет к стороне, особенно когда пьян. Раз, встретившись, я заговорил с ним и пригласил его к себе. Пришел... трезвый, серьезный, даже застенчивый... по старой памяти, что ли... Только — как-то у нас не склеилось. Встало между нами воспоминание: я — молодой учитель со свежею верой в свое призвание, с живым чувством и словом. Он — юноша, еще чистый, благоговеющий перед моим нравственным авторитетом... Теперь он — Ванька Рогов, тиходольский дебошир и ходатай по сомнительным делам... А я... Ну, одним словом — точно стена какая-то стоит между нами и разъединяет: о главном, о том, что всего важнее,— не говорим. Чувствую, что надо бы разрушить какую-то перегородку, сказать ему что-то такое, что проникло бы в эту душу и взяло бы ее, как когда-то... И он, вижу, сам ждет как будто со страхом: вдруг ты за это, за самое больное-то все-таки схватишь... В глазах и боль, и ожидание... А у меня силы для этого нет. Оборвалась... еще, кажется, тогда, давно, когда в первый раз со стыдом пришлось отступить...

Так мне и пришлось наблюдать в качестве, так сказать, сочувствующего свидетеля, как опускался этот юноша на глазах, пошлел, спивался, грязнел... Обнаглел, стыд стал терять, потом слышу: Рогов вымогает и попрошайничает по мелочам. Дела берет плохие: ходит по самой, так сказать, границе между просто предосудительным и уголовным. Да ходит ловко, как акробат, и над всеми смеется. Года в два-три уже совершенно определился. Фигура мрачная, грязноватая и чрезвычайно неприятная.

Ко мне иной раз стал уже заходить пьяный... И странно: в этом виде мне с ним стало как будто легче... Задача, что ли, упростилась, стала очевидна его вина, и мораль давалась легче. Помню, как-то после одной его выходки, до очевидности скверной, говорю я ему:

— Так и так, Рогов, нехорошо.

Он сначала сжался было, глаза отвел, как бы боясь нравственного удара, а после тряхнул лохмами и посмотрел мне прямо в глаза, видимо, призывая на помощь свою наглость.

«Почему бы, говорит, Павел Семенович, нехорошо?»

«Нечестно, говорю».

«Ну, знаете ли, говорит, это ведь только замена одного спорного термина другим, не менее спорным. То было нехорошо, а теперь стало нечестно. А у меня, говорит, на этот счет своя теория выработалась. Честность и другое тому подобное есть не что иное, как десерт. Десерт же, как известно, подается после обеда. А если нет обеда — какая же, говорит, надобность в десерте?..»

«Но припомните, говорю, Рогов, отчего у вас нет обеда... Учились вы хорошо, были уже на дороге — и вдруг уклонились с пути...»

Самому мне в эту минуту показалось это соображение не только убедительным, но даже неопровержимым. А он посмотрел на меня, засмеялся и говорит:

«Вы, говорит, в последнее время, кажется, на биллиарде стали иногда вечерами поигрывать?»

«Ну что ж, говорю, играю... для отдыха».

«Клапштос, говорит, знаете?

«И клапштос знаю».— А клапштос, как вам известно, удар этакой особенный, парадоксальный. От этого удара шар сначала идет вперед, а потом вдруг как бы произвольно откатывается назад... На первый взгляд непонятно и как бы противно законам движения, но в сущности просто.

«Ну так вот, по-вашему, говорит, это что же: шар свою волю обнаруживает? Нет?.. Просто борются два различных движения... Одно действует сначала, другое берет верх после... Ну, так видите ли, говорит,— мамаша моя шла всю жизнь прямым путем, а папаша, как вам хорошо известно, вертелся волчком. Вот и я сначала шел прямо, пока хватало мамашиных импульсов... А потом, знаете, и сам хорошенько оглянуться не успел, как уж меня завертело по-отцовскому... Вот вам и вся моя биография...»

И так это он сказал искренно как-то и безнадежно. Опустил голову, закрыл лицо кудрями, потом посмотрел на меня, и опять мне стало жутко. Боль в глазах. Видали вы когда-нибудь у животных, когда им очень больно?.. Собака — на что ласковая тварь — а и та в это время хозяина укусить готова.

«Что же, говорит... Кто тут, по-вашему, виноват?»

«Не знаю, говорю, Рогов. Я вам, конечно, не судья... Да и не в виновности дело».

«Не в виновности, так в чем же? По-моему, тот виноват, кто меня клапштосом в жизнь пустил... Значит, судить некому. Вот я и двигаюсь клапштосом по жизнен-

ному полю... Исполняю волю пославшего... Так-то вот, говорит, голубчик Павел Семенович... Не найдется ли у вас около двугривенного этак серебром?.. Тоска палит, залить надо...»

В первый раз он у меня тогда двугривенный попросил, и я сразу почувствовал, что бывшая между нами преграда разрушена. Что он и меня теперь может оскорбить, как и всех...

И мне захотелось защититься.

«Нет, говорю, Рогов. Двугривенного я вам не дам... Так — хотите приходить — приходите. Я рад... А этого не нужно».

Опустил он свою лохматую голову, посидел и говорит глухо:

«Да, Павел Семенович. Простите меня. Я и без двугривенного стану приходить. Все-таки посидишь с вами, как будто легче и точно минус какой из обычного угара...»

Посидел опять. Помолчали мы оба тяжело и напряженно. Потом он опять говорит:

«Было время... надеялся я много от вас получить... Вы сами не знаете, что вы для меня значили. Вот и теперь иной раз тянет к вам. Ждешь чего-то. Да нет... бесполезно... Клапштос — и кончено».

«Извините, говорю, Рогов. Но вы положительно злоупотребляете этим биллиардным сравнением. Ведь вы не костяной шар, а живой человек».

«И поэтому, говорит, чувствую... Шар-то, куда его ни загони — в лузу ли, в лужу ли,— ему, костяному дураку, все равно... А человеку, почтеннейший Павел Семенович, в луже тяжело... Вы думаете, кто-нибудь сознательно и по доброй воле откажется от десерта?.. Не отказался бы и я... Человек я, как говорится, с рефлексом. Вижу и обсуждаю свою траекторию до конца... Скоро ведь стану свинья свиньей и уже беспросветно. Вот порой и думается: а ведь может быть... как-нибудь... где-нибудь... какая-нибудь... точка опоры, что ли... ведь вот порой задевает еще что-то... настоящее... И есть оно где-то, наверное, настоящее-то?.. Есть ведь, Павел Семенович?»

«Есть, говорю, конечно, есть».

«Ну, вот, говорит, как вы это искренно сказали. Да, должно быть, действительно есть... Так где же оно? Ну, извините, я вам не хочу ловушки ставить... Не знаете вы этого и сами. Искали когда-то, да бросили... Вот поэтому-

то я только двугривенный у вас и прошу. Да еще иногда, спасибо, посижу, будто у огонька... Человек вы все-таки с душой... Иной, может быть, сумел бы и больше взять у вас...»

«Так что же, послушайте,— говорю я ему.— Придумайте: не могу ли быть вам действительно полезен».— И чувствую: подается в нем что-то... растроганность какая-то почувствовалась, наглости нет... Задумался, опустил голову.

«Нет, говорит, не выйдет. И не вы, голубчик, виноваты. А потому, что... я да все мы такие... очень требовательны. Сами, как свиньи, в грязи валяемся, а с других требуем, чтобы те, кто руку протянуть хочет, сами были чище снега... Много, голубчик, силы надо. Не хватит ее у вас... Буря нужна, понимаете ли... Чтобы дохнуло огнем... Ну, тогда и чудеса бывают... А вы... Вы на меня не сердитесь?..»

«Что ж, говорю, на что сердиться?»

Замолчали мы оба тогда. Я не нашел, что сказать ему, а он опять стал ходить, но понемногу опять стал возвращаться к прежнему тону. Придет, сядет, и перегаром от него несет. В следующую субботу пришел таким же образом и сел рядом на крыльце... Как раз опять к вечерне ударили. И через короткое время выходит из ворот господин Будников. Щеголеватый, прямой, как всегда, и во всей фигуре довольство... Так от него и разит сознанием исполняемого долга.

Помню, что и на меня тогда его появление подействовало неприятно, а у Рогова даже лицо вдруг изменилось... Схватился с места, стал в театральную позу, шляпу с головы снял и говорит:

«Господину Будникову, Семену Николаевичу, к вечерне шествующу — от Ваньки Рогова нижайшее почтение».

И потом отвел шляпу широким этаким жестом и запел из известного романса:

Сам не в си-лах я боль-ше моли-и-иться...
Пам-мались, милый друг, за м-миня...

Передернуло меня это гаерство. Чувствую, что и мне Будников неприятен, но все-таки... Оскорбляет человека в таком чувстве, которое во всяком случае и со всякой точки зрения заслуживает полного уважения. А тут вскоре из калитки вышла и Елена и тоже в церковь идет. Он и к ней:

Офелия! О, нимфа! Помяни
Меня в твоих святых молитвах.

Это меня уже окончательно рассердило. Елена сжалась вся под наглым взглядом и наглыми, хоть и не понятными ей словами, опустила голову и скоро-скоро пошла к церкви.

«Послушайте, говорю, Рогов. Как вам не стыдно! И притом должен вам сказать... если хотите ко мне ходить, то попрошу вас покорно вести себя приличнее...»

Повернулся он ко мне... и вижу, в глазах особенное выражение — злой боли: укусить собирается...

Захотелось мне несколько смягчить эту свою резкость. И говорю:

«Ведь вот вы, Рогов, не знаете ни этих людей, ни их отношений, а позволяете себе оскорблять...»

Он посмотрел на меня насмешливо и говорит:

«Это вы не насчет ли идиллии? Добродетельный господин Будников устроил счастье двух сердец. А вот, кстати, и Гаврюшенька».

И действительно, Гаврило как раз вышел из ворот. Рогов как-то противно подмигнул ему.

«Поздравляю, говорит, Гаврюшенька... с барскими отопочками... Умница! Узнал, видно, где раки зимуют?.. В случае надобности, говорит, можешь рассчитывать на мои юридические познания...»

Да, удивительное дело, как эти циники узнают иные вещи. По-видимому, Рогов тогда уже знал все, и, вероятно, заподозрил Гаврилу в корыстных видах...

Подошел к нему и хлопнул по плечу... Тот озлился вдруг и сильно оттолкнул Рогова. Рогов чуть не упал, засмеялся и с преувеличенной развязностью пошел по панели. Поравнявшись со мной, он остановился и говорит:

«Вот что, почтеннейший Павел Семенович... Давно хотел у вас спросить: не читали ли вы... есть у Ксенофонта... разговор Алкивиада с Периклом... Если не читали — положительно рекомендую. Хоть и на мертвом языке, а поучительно».

И пошел, напевая скверную песенку. А я через некоторое время разыскал этот диалог. Что, думаю, он хотел сказать...

Тяжелая, знаете ли, штука, но сильная. Дело, собственно, приблизительно вот в чем. Приходит как-то к Периклу юный Алкивиад... Перикл, представьте себе,

к этому времени уже почтенный человек, окруженный общим почетом, ну, там... прошлые заслуги и некоторый ореол добродетели... И, вероятно, уже брюшко и прочее. Ну а Алкивиад — повеса, безобразник, кутила, с девочками афинскими скандалы всякие устраивает, собакам, как известно, хвосты рубил... И насчет добродетели человек мало сведущий. Ну, так вот приходит к Периклу этот порочный молодой человек и говорит: «Послушай, Перикл. Вот ты человек полный, можно сказать, добродетели до самых макушек. А я вот путаюсь без дороги и от безделья даже вот столбы выворачиваю. Сограждане недовольны. Научи ты меня добродетели и разреши сомнения. Я буду спрашивать, а ты мне, говорит, разъясняй все по порядку». Ну, Перикл, разумеется, согласен, даже, пожалуй, рад: отчего не разъяснить молодому человеку? Может быть, и остепенится. «Хорошо, говорит, спрашивай». Тот и спрашивает: «Что такое добродетель? И как ей научиться?» Перикл, конечно, только усмехнулся: «Чти, говорит, богов, исполняй законы, и вся недолга. Законы соблюдать есть первейшая обязанность гражданина и человека». «Ну, вот, отлично,— отвечает ему юноша.— Теперь скажи, пожалуйста, какие законы я должен исполнять: дурные или хорошие?» Тот немного даже обиделся: «Да ведь закон,— значит, дескать, хорош. Что же тут толковать?» «Нет,— говорит Алкивиад,— постой, не сердись...» А уж у них, знаете ли, в это время в Афинах все эти, так сказать, основоначала замутились несколько... партии, борьба, одни других грабят, остракизмы эти, своего рода ссылка административным порядком... узурпаторы пошли; временщики там... чуть замешательство — уж он выскочил и свой закон написал, для собственного употребления или там для кумовей и приятелей. Боги старые сконфузились, оракулы бормочут нивесть что, совсем не к делу. Одним словом, ясное-то в жизни стало уже неясно: равновесия нет, всеми признанная правда затерялась... Обновление нужно. Тучи кругом заволокли небо, и путеводные звезды, бог их знает, где они... Так вот Алкивиад и спрашивает: «Какие же, говорит, законы надо исполнять: которые предписывают хорошее или дурное?» — «Конечно, говорит, хорошее».— «Ну, а по чему же мне, говорит, узнать, какие хорошие? По какому, так сказать, признаку?» — «А ты, говорит, исполняй всякие; закон, говорит, на то и пишется...» — «Значит, и те, какие введены насилием тиранов?» —

«Ну, этих, пожалуй, и не надо... Только, говорит, законные, так сказать, законы».— «Ну, хорошо. Если, например, меньшинство насилует большинство в свою явную пользу, таких законов не надо?» — «Пожалуй, не надо».— «А если большинство явно насилует меньшинство, противно всякой правде?..» Видите, куда этот юноша гнет: внешних признаков ему не надо, а покажи так, чтобы душой почувствовать общественную правду, высшую, так сказать, правду жизни, святыню... Ну, а Перикл-то, понимаете, уж и не того... И не то что Перикл — весь строй жизни стоит на рабстве, на сознанной неправде... религия выдохлась, недавняя святыня, освящавшая каждый шаг, каждое движение, весь строй, все людские отношения — уж ее люди не чувствуют... Ну, Перикл туда-сюда... самому-то перед собой не хочется признать, что уже ихние законные законы выдохлись... Он этак снисходительно потрепал беспутного юношу по плечу и говорит: «Да, да! говорит, ты, конечно... мальчик с головой... Мы, говорит, и сами в прежнее время этакие же трудные вопросы разрешали...» Ну, Алкивиад видит, что уж Перикл — так сказать, признанный авторитет — одними пустяками отделывается, живого-то в нем эти противоречия не задевают,— и махнул рукой. «Жалко, говорит, почтенный человек, что я с тобой не был знаком в то время... А теперь пойду от скуки опять столбы выворачивать...»

Вот этот анекдот Рогов и поднес мне, своему бывшему учителю...

. . . .

VII

Рассказчик остановился. Поезд замедлял ход, подходя к какой-то станции. Петр Петрович протянул руку и, сняв с крючка синюю фуражку с кокардой, сказал:

— Пойти опять в буфет... Признаться, почтеннейший Павел Семенович, не понимаю я, к чему все это клонит... Это, извините, даже и не философия, а бог знает к чему. Начали про Будникова. Ну, это пожалуй: человек все-таки знакомый... Потом этот, черт его знает, Рогов, прохвост какой-то отпетый, а тут уже, не угодно ли, и Ксенофонт, и Алкивиад... хвосты собакам рубит... Черт знает что: какое мне, позвольте спросить, до всего этого дело?.. Нет, как хотите... Лучше пойду вторично водку пить...

Он надел фуражку и, придерживаясь за стенки от толчков останавливающегося поезда, вышел из вагона. Но в это время на другой верхней скамейке зашевелился четвертый пассажир. Он лежал в тени, по временам курил и проявлял признаки внимания к рассказу. Теперь он сошел с своей скамьи и, сев рядом с нами, сказал:

— Извините, не имею чести быть знакомым, но... я слышал поневоле ваш рассказ, и мне было бы интересно... Так что, если вы ничего не имеете против...

Павел Семенович посмотрел в лицо нового собеседника. Это был культурный человек, одетый аккуратно, с умными глазами, твердо глядевшими из-под золотых очков, которые он прилаживал обеими руками...

— Да? — сказал Павел Семенович.— Вы, значит, тоже слышали...

— Да, слышал. И меня интересует... ваша точка зрения, которая, признаюсь, мне не вполне ясна...

— Да?.. Действительно, может быть, я не вполне ясно это... Я хотел сказать... что в сущности все так связано... И эта взаимная связь...

— Налагает общую ответственность?

В лице Павла Семеновича блеснуло радостное оживление.

— Вот! Вы, значит, поняли? Именно — общую... Не перед Иваном или Петром... Все, так сказать, переплетается... Один по неаккуратности бросит апельсинную корку... другой споткнулся и, глядишь — сломал ногу.

Новый собеседник слушал с спокойным вниманием. Но в это время в вагон вошел опять Петр Петрович, который ошибся станцией, и, окинув обоих несколько ироническим взглядом, сказал, вешая на крючок фуражку:

— Ну, вот, теперь — не угодно ли — корка!

— Нет, Петр Петрович,— сказал Павел Семенович серьезно.— Вы это напрасно так... Тут, конечно, вопрос, так сказать...

— У вас, я знаю, всё вопросы, в самых простых вещах...— сказал Петр Петрович.— Не стесняйтесь, пожалуйста. У вас есть достаточно слушателей.

— Да, пожалуйста,— подтвердил господин в золотых очках.

— Извольте... Я охотно, тем более что все это мне все равно не дает покоя... Я остановился на...?

— Вы остановились,— насмешливо помог ему Петр

Петрович,— на Алкивиаде... История, так сказать, древняя. Теперь последуют средние века...

Павел Семенович не обратил внимания на соль этой остроты и обратился к новому собеседнику:

— Да, так видите ли. Дело находится в таком положении: Гаврило женился, живет себе... В столе у господина Будникова лежит билет с двумя чертами... ходят об этом нехорошие слухи и, как всегда, в преувеличенном виде. И не знает об них один только Гаврило — работает себе по-прежнему, лезет, так сказать, из кожи, старается... Мускульная эта симфония в полном ходу, глаза так и лучатся общим довольством и благорасположением...

И вдруг однажды натыкается на него в этакую минуту Рогов. Шел по панели мимо двора, остановился, подумал о чем-то и подозвал Гаврилу.

Ну, тот русский человек, добродушный... Не так давно толкался, а тут забыл. «Чего, говорит, тебе?» — «Поди сюда, дело до тебя. Спасибо скажешь».

Признаться, что-то толкнуло меня. Хотел подозвать к себе этого Рогова и, чувствуя, что затевает он скверность,— остановить его. Но это было уже после Алкивиада... вообще, не надеялся я уже на себя. Так и остался у окна. Гляжу — оставил Гаврило лопату, подошел и стал слушать. Сначала в лице его видно было только недоумение, отчасти даже пренебрежение. Но потом все с тем же видом колебания он отвязал фартук, пошел к себе во флигелек, надел картуз и вышел к Рогову... И потом они вместе пошли по улице и свернули к береговому откосу... А через минуту вышла к воротам Елена, стала у калитки и долго смотрела вслед двум удалявшимся фигурам... И в глазах у нее были печаль и испуг...

И действительно, с этого самого дня характер у Гаврилы круто как-то изменился. Вернулся он несколько как будто пьяный... Может быть, от водки, а может быть, и от огромности непосильного бремени, которое вдруг навалил на него Рогов... Во-первых, и сумма совершенно подавляющая: гора денег, превышающая самую его способность счета. И потом — источник этого богатства, возвращающий невольно мысли к прошлому Елены. Наконец — недоумение, почему Елена ему ничего об этом не сказала, и отсюда, может быть, нехорошие подозрения... В общем, разумеется, полный душевный сумбур... Две черточки, которые господин Будников провел на билетах,— по душе Гаврилы прошли, оче-

видно, всего глубже и больнее... Ну, соскочил простодушный человек со своего центра. Вся эта симфония непосредственности и труда внезапно оборвалась... Заметался мой Гаврило беспорядочно, как отравленный...

И начало его ломать... Сначала все ходил угрюмый, с каким-то потемневшим лицом. Работа у него стала валиться из рук: то топор швырнет, то лопату сломает... Совершенно как хорошо пущенная машина, в которую вдруг сунули бревно... Когда же Будников удивленно и кротко стал делать ему вполне резонные замечания, что ведь вот лопата стоит денег и что он вынужден будет вычесть у Гаврилы из жалованья,— то этот кроткий прежде человек отвечал невнятными и нерезонными грубостями... А у Елены глаза все заплаканные...

Потом Гаврило уже формально запил, стал пропадать, и преимущественным местопребыванием его стал довольно грязный вертеп «Яры» на берегу, на песках, недалеко от пристани... Домишко этакой небольшой, деревянный, с мезонином, темный, покосившийся в одну сторону и подпертый бревнами. С берегового откоса можно было видеть его: все, бывало, по вечерам два оконца и дверь открытая светятся, какой-то бубен ухал, и пиликало что-то для увеселения публики... А по временам неслись смешанные крики — не то песни, не то драка и караул. Вообще — вечное беспокойство и как будто угроза. Антитеза дремлющей обывательской жизни... Бурлаки с нашей скромной и по большей части бездействующей пристани, рабочие с кирпичных заводов, как кроты копавшиеся в мокрой глине, профессиональные нищие... одним словом, народ бездомный, несчастный, беспутный и злой. Даже и пролетариат-то попорядочнее избегал этого кабака. И вот, в него-то именно и втянул Рогов Гаврилу. А за Гаврилой узнала дорогу в «Яры» и Елена, собственно для того, чтобы мужа оттуда вытаскивать...

Делала она это как-то удивительно покорно, безропотно и, право, даже красиво. Раз иду с уроков, вхожу в калитку, глядь, Елена бежит навстречу, наскоро платок на голове повязывает.

«Куда вы, говорю, Елена?»

Застыдилась немного.

«Не видали вы,— спрашивает,— Гаврило Степаныч в ту сторону прошли?..»

«Кажется, говорю, пошел... Да вам-то бы, Елена, туда, пожалуй, и не дорога».

Хотел даже удержать ее... Но она сердито метнулась мимо и, кажется, с некоторою гордостью кинула на ходу, что, дескать, Гаврило Степаныч — ей муж, а она ему жена законная... А через полчаса гляжу — ведет Гаврилу Степаныча под руку. Тот упирается, но идет и только смотрит перед собой тусклым, оловянным и непонимающим взглядом. И все-таки идет. У самой калитки уперся вдруг ногами, оттолкнул ее руку и уставился в нее. Лицо темное, и в оловянных глазах злая решимость...

«Ты, говорит, кто?.. Говори: кто ты?.. А?»

Она стоит, опустивши руки, убитая какая-то. Вспомнилось мне то весеннее утро и взаимные клятвы: «А вы, Гаврило Степаныч, бога не забудете?..» И стало мне страшно: забудет, думаю, и именно вот сейчас... сию минуту и забудет... Но вдруг луч некоторого сознания мелькнул в бессмысленном лице, и он как будто проглотил что-то. Не сказал ни слова и молча пошел к себе... И она пошла за ним, испуганная, почтительная и покорная...

И все так пошло: мигнет Рогов Гавриле, он исчезнет со двора и забурлит. Власть какую-то приобрел этот человек над Гаврилой, а Елена ее оспаривала... покорно, почтительно, робко, но настойчиво. Вероятно, считала всю эту историю наказанием, посланным ей для искупления греха. Осунулась, приятная полнота исчезла, глаза впали... Но зато, глядя на них, я бы теперь никак не решился назвать их глупыми. Страдание всегда удивительно умно, даже у птицы... В вертепы является, мужа пьяного выводит, смеются над ней на улице, грубо задевают...— у нее за себя стыда ни капли... Только иной раз скажет шепотком: «Нехорошо, Гаврило Степаныч, люди на вас смотрят...»

Однажды при этаком же вот случае, когда она привела его из «Яров», он вырвался из ее рук, кинулся к дверям Будникова и стал бешено колотить в них ногой. Елена как-то вся помертвела и, будто не в силах подойти к нему, глядела только, как человек в кошмаре, когда к нему приближается что-то давно ожидаемое и страшное, против чего нельзя уже бороться... Но тут вдруг дверь открылась, и на пороге появился господин Будников. Спокойный, даже величавый, с чувством полного превосходства. Я даже, правду сказать, несколько удивился... Как бы ни было, все-таки положение щекотливое. Подробностей я еще тогда не знал, но все-таки чувствовалась некоторая нечистота и неаккуратность...

И вдруг ясность взгляда, спокойствие, достоинство. И не то чтобы притворство. Нет — заметно это было бы... Просто — полная невозмутимость.

«Что, говорит, тебе, Гаврило, нужно? Зачем стучишь ногой? Не знаешь, как надо позвонить... Вот видишь: звонок...»

И показывает ручку звонка. Гаврило посмотрел на ручку и растерялся... Действительно, дескать, ручка и, значит, ногой совершенно-таки незачем... А господин Будников с верхней ступеньки продолжает:

«И вообще, говорит, что ты о себе думаешь и что тебе, потерянному человеку, от меня нужно? Что, обидел я тебя, поступал с тобой неправильно, жалованье хоть на день один задержал? Ну, вот ты стучал ногой... Хорошо. Вот я к тебе вышел... Что же тебе надо?»

Гаврило — ни слова...

«Ну, так вот, говорит, я тебе скажу с своей стороны: лопата опять сломана, панель не подметена, лошадь не напоена до сих пор... Лошадь бессловесная, ничего сказать не может... но, при всем том, она живая и чувствует... Слышишь, ржет вот...»

Этот аргумент подавил Гаврилу до такой степени, что он, побежденный совершенно и окончательно, повернулся и... отправился прямо в конюшню. И через минуту, даже как будто не пьяный, повел в поводу лошадь к водопою... А господин Будников спокойно запер ключом свою дверь и пошел со двора. Проходя мимо моего палисадника и догадываясь, что я все видел, он остановился и, грустно покачав головой, сказал:

«Да вот, толкуют: народ, народ... не угодно ли полюбоваться...»

VIII

Скандалы эти стали уже обращать внимание. Заговорили в городе. Судили, конечно, разно. Одни стояли за Будникова. Стоит ли верить слухам? Да и ничего ведь, в сущности, неизвестно. Какие-то, с одной стороны, глухие толки, а с другой — явные скандалы и безобразное нарушение общественной тишины... Но было и другое мнение. Люди низшего звания сочувствовали Гавриле. Должно быть, представлялось им, что господин Будников, умный и сильный, похитил у Гаврилы какое-то право вроде талисмана, что ли, и теперь колдует

каким-то образом, чтобы этот талисман потерял свою силу... И вот десятки глаз поворачиваются к окнам господина Будникова и смотрят на него, когда он проходит, прямой и спокойный, как будто не замечая, что за ним тянется это облако недоумения, подозрения, осуждения, вопроса... вообще, греха. И в каждом взгляде отражается нехорошая мысль, и в каждом сердце шевельнется нехорошее чувство... Это ведь своего рода темная туча... Сотни одинаковых душевных движений, спутанных, неясных, но злых... И все направляются к одному центру...

А Будников, надо заметить, был до известной степени популярный и прежде пользовался общей благосклонностью... Даже Рогов, когда случалось ему проходить мимо нашего двора, завидя господина Будникова с лопатой или граблями, прежде остановится, бывало, и скажет:

«Господин Будников, Семен Николаевич, труждается... Трудивыйся да яст».

Или:

«Господин Будников помогает ближнему дворнику трудами рук своих. Похвально!»

И пройдет дальше, как мимо явления безразличного или даже приятно развлекающего...

А тут все это окрасилось иначе... У меня даже физическое ощущение какое-то являлось... вроде кошмара. Как будто эти две черты... или что-то в личности господина Будникова пропитали собою всю атмосферу... Даже, представьте, почти до галлюцинации... Идешь в гимназию или из гимназии... Высчитываешь в уме отметки... И покажется вдруг, что это господин Будников идет за тебя этим размеренным шагом, довольный от сознания исполненного долга... Или задаешь урок, или читаешь необходимую нотацию и слышишь, ну вот просто-таки слышишь эти будниковские нотки в своем голосе... когда он нищим внушает трудовые правила, или читает Гавриле мораль по поводу сломанной лопаты, или мне самому советует «отбросить гордыню и смириться»...

Да, есть в этом обыденном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас... специфический, так сказать, не сразу заметный, серый... Где тут, собственно, злодеи, где жертвы, где правая сторона, где неправая?.. И так хочется, чтобы проник в этот туман хоть луч правды живой, безотносительной,

не на чертах карандашом основанной, действительно разрешающей всю эту путаницу... настоящей, о которой догадывается даже Рогов... Вы меня понимаете?

— Кажется, понимаю,— серьезно сказал господин в очках.

— Господин Будников тоже, кажется, начал ощущать, что около него неладно что-то. И заметался, но, как это часто бывает, метнулся не туда, где настоящий выход... Пришел раз ко мне в обычный срок, двадцатого. Ну, разумеется, я, как всегда, угощаю чаем... Выпил, как обыкновенно, только вид не совсем обыкновенный. Не то грустный, не то торжественный. Кончил деловой визит, деньги тщательно уложил в книжечку, отметил... и все не уходит... Начал говорить обиняками... вообще о ненормальности жизни, в частности о своем одиночестве, о какой-то ошибке, происшедшей от предрассудка и гордости... Потом свел на Елену и Гаврилу. Гаврила оказался полным негодяем, а Елена ошиблась и теперь глубоко несчастна... И он чувствует себя виновным, что выдал ее, но исправить это нелегко... И деньгами исправить всего труднее. Что значат деньги в руках пьяницы?.. И так далее, все обиняками, из которых, однако, под конец мне стало ясно, что господин Будников желает повернуть всю эту запутанность к исходному, так сказать, пункту, то есть развести Елену с Гаврилой и жениться на ней самому... Тогда, значит, две черты сами собой уничтожаются и исчезают... По-видимому, он уже успел посоветоваться об этом кое с кем и в том числе с о. Николаем... Теперь решил посоветоваться еще со мною...

«А что же, говорю, Елену вы об этом спросили?»

«Нет, говорит, не спрашивал еще... Я к ней... может быть, вы изволили заметить, даже не подхожу, чтобы не было никаких поводов... Но я знаю, что ей нужно... И не имею оснований сомневаться...»

Попробовал я представить, с своей стороны, некоторые соображения, но господин Будников не стал слушать... Быстро попрощался и ушел... Как будто опасаясь за цельность этой своей системы действий...

А через некоторое время начали, в отсутствие Гаврилы, шастать к Елене какие-то старушки с погоста, а к Будникову какие-то консисторские субъекты. Раза два, под вечер, гляжу: идет от Будникова и Рогов... Вот оно, думаю, что: молодой-то мой человек дошел уже до своего предела, и теперь понятно, зачем он спаивает

Гаврилу: подготовляет нужную для господина Будникова бракоразводную обстановочку...

И показалось мне все это, в целом, до такой степени безобразным и безвыходным, что я задумал переменить квартиру, чтобы просто-напросто уйти от этого всего... Бессонница замучила... Опять по саду шатаюсь. И однажды застаю в нем Елену. Лежит на той самой скамейке, где я сидел в то утро, весной... А теперь осень... Умирает это все, обнажается... Осень ведь большой циник... Ветер треплет опавшие листья, смеется... Лежат они на грязной, мокрой земле. А на мокрой скамейке лежит женщина лицом книзу и плачет... так и бьет всю ее плачем... Впоследствии я узнал: комбинация господина Будникова, разумеется, была совершенно неосуществима. Услыхав об этом предположении, она только всплеснула руками: «Пусть, говорит, подо мной земля провалится, пусть высохну, как щепка... Ну, и так далее... Лучше заройте меня живую в землю вместе с Гаврилом Степановичем...» А Гаврило Степаныч и дома уж не ночует. И угасает недавнее чистое счастье, а она и понять не может, в чем дело, и не умеет себя отстоять. Билет... две черты... кумушки с паперти, Будников, Рогов. А она глупа и покорна, и боится, что над ней сделают что-то без ее воли...

Подошел было к ней... хотел как-нибудь утешить. Но когда дотронулся до нее и под рукой затрепетало это бабье тело... таким оно мне показалось тогда глупым, что я даже содрогнулся, точно от бессильной жалости...

И ушел... Забыл все, и захотелось мне все бросить и отгородиться от всего. Идет мимо господин Будников... Пусть идет... Рогов делает гадости... Пусть делает! Глупая Елена пьяного мужа ведет... Пусть ведет... какое мне дело? И кому попадет билет с двумя чертами, и кому эти глупые черты дадут умное право... не все ли равно?.. Все разрозненно, все случайно, все бессвязно, бессмысленно и гнусно...

. . . .

IX

Павел Семенович остановился и стал глядеть в окно, как будто забыл о рассказе...

— Ну что же, чем же все-таки кончилось? — осторожно спросил новый слушатель.

— Кончилось?..— очнулся рассказчик.— Конечно, все на свете чем-нибудь кончается. И это кончилось глупо и просто. Однажды ночью... звонок ко мне. Резкий, тревожный, нервный... Вскочил я в испуге, туфли надел... выхожу на крыльцо... никого. Только показалось мне, что Рогов за углом мелькнул. Ну, думаю: шел мимо пьяный и злой и захотел лишний раз досадить мне... Напомнить, что вот я сплю, а он, Ванечка Рогов, любимый ученик, на улице дебоширит и хочет об этом довести до моего сведения. Запер я дверь, лег опять, засыпать начал. Вдруг — опять звонок. Я не встаю. Пускай, думаю... Только опять звонок, и в другой раз, в третий... Нет, думаю, тут, видно, что-то другое. Накинул опять пальто... Отворяю дверь. Стоит ночной сторож. Борода в инее. «Пожалуйте»,— говорит.

«Куда, говорю, что ты, братец?»

«К Семену Николаевичу, говорит, к господину Будникову... У них... неприятность...»

Я как-то так, не понимая ничего, машинально оделся, иду. Ночь светлая, холодно, поздно... У господина Будникова в окнах огни, на улице где-то свистки... ночное движение... Подымаюсь по лесенке, вхожу. И первое, что мне кинулось в глаза — было лицо Семена Николаевича, господина Будникова... Только не прежнего, а совсем нового. Лежит на подушке и смотрит куда-то, в какое-то пространство неведомое... Странно так... Остановился я на пороге и подумал: «Как же это? Такой был знакомый человек и вдруг... совсем другой...» Совсем не тот, который приходил раз в месяц и выпивал два стакана чаю. И не тот, который хлопотал о разводе Елены, а некто, занятый другими мыслями. Лежит неподвижно, важный, и на нас ни на кого не глядит и видит как будто совсем другое... И никого не боится, и всех судит: и себя, то есть прежнего Семена Николаевича, и Гаврилу, и Елену, и Рогова, и... ну, и меня тоже... И так это, понимаете, стало мне ясно...

А затем я увидел Гаврилу. Стоит у окна, в углу, жалкий, но спокойный. И так как я многое в ту минуту понимал как-то сразу, то я подошел к нему и говорю:

«Ты это сделал?»

«Так точно, говорит, Павел Семеныч. Я-с».

«Как же ты решился?»

«Не знаю, Павел Семеныч...»

Потом я уже заметил доктора, который сказал мне, что всякая помощь бесполезна... Потом приходили, при-

езжали, входили, сидели и писали протоколы... И так мне показалось тогда странно, что молодой следователь, такой аккуратный человек и такой уверенный, распорядился не отпускать Гаврилу и Елену и производит какие-то розыски... И помню, как он усмехнулся, когда я спросил: «Зачем это?» Вопрос, конечно, странный, но тогда мне казалось, что все это не нужно... И когда стали уводить Гаврилу и Елену, я как-то невольно поднялся с своего места и спрашиваю: «И меня тоже?» После явились слухи, будто у меня не все в порядке. Но это неверно. Никогда так ясно не было в голове... Следователь удивился. «Если смею, говорит, посоветовать, то — вам надо воды выпить и успокоиться».— «А Елена, спрашиваю, зачем?» — «Будем, говорит, надеяться, что все разъяснится в благоприятном для нее смысле, но теперь... при первоначальном дознании... печальная обязанность...» А мне все кажется, что делает он не то...

Увели их, а я пошел к себе и сел на крыльце. Было холодно... Ночь была ясная, осенняя, спокойная, с белым и чистым инеем. В небе звезды мерцают и шепчут. И так много во всем какого-то особенного смысла... Вот прямо слышишь таинственный шепот, только разобрать не можешь... Не то какая-то далекая тревога, не то спокойное и близкое участие.

Я как-то вовсе не удивился, когда ко мне тихонько подошел Рогов и робко сел на крыльце рядом. И долго сидел молча... И я даже не помню, говорил ли он что-нибудь, но я знал все... Он не думал об убийстве. Он хотел по-своему выиграть у господина Будникова дело Елены. Для этого нужно было овладеть билетом, на котором, как он полагал, была передаточная надпись... И ему нравилась эта остроумная комбинация: овладеть незаконными путями доказательством законного права. Видел в этом нечто даже юмористическое... Незаконное овладение законными доказательствами в виде предполагаемой передаточной надписи... Для этого он и втерся к Будникову в доверенность по бракоразводному делу... Разведал все в квартире и послал одного из своих послушных клиентов из «Яров» с приказом захватить намеченную шкатулку. А Гаврило должен был открыть дверь господина Будникова вторым ключом, которого, по странной оплошности, Будников у него не отнял. Но Гаврило, вместо того чтобы остаться у дверей, пошел сразу наверх. И мне казалось, что я сам видел, как он шел тяжелой походкой, с омраченной головой, с темною

враждой в душе... И как он встал на пороге, и как господин Будников проснулся и, должно быть, даже не испугался, а все вдруг понял...

А у меня в голове все стоял тот момент из прошлого, когда в мою квартиру такой же светлой ночью прибежали два гимназиста, а я стоял перед ними, охваченный стыдом и бессилием... И как у одного впервые вспыхнул в глазах огонь... злой и насмешливый...

И показалось мне, что я сейчас разгадаю что-то такое, что должно объединить все это: и эти высокие мерцающие звезды, и этот живой шорох ветра в ветвях, и мои воспоминания, и то, что случилось... В юности это ощущение бывало у меня часто... Когда свежий ум искал разгадки всех вопросов и большой правды. И когда казалось иной раз, что вот-вот уже стоишь у порога и что все становится ясно... А потом все исчезает.

Сидели мы долго. Потом Рогов встал.

«Что же вы теперь?» — спросил я.

«Не знаю,— ответил он,— что тут нужно... Но пока, кажется мне, надо идти туда, где теперь Гаврило и Елена...»

А сам стоит... Так как многое понимал я тогда яснее, чем обыкновенно, то и тут понял, что он ждет, чтобы я протянул ему руку. Я протянул, и он вдруг припал к ней, страстно и долго...

А потом оторвался и пошел... прямо по улице. А я смотрел ему вслед, пока была видна тонкая фигура моего бывшего ученика...

. . . .

Некоторое время в купе стояло молчание, нарушаемое только клокотанием поезда, сквозь которое доносился протяжный свисток. Хлопнула дверь, по коридору прошел кондуктор, объявляя на ходу:

— Станция Н-ск. Десять минут.

Павел Семенович торопливо встал, взял в руки небольшой чемоданчик и, кивнув с какою-то грустною лаской своим собеседникам, вышел из вагона на площадку. Я тоже стал собирать свой багаж, так же как и господин в золотых очках. Петр Петрович оставался один в купе. Посмотрев вслед Павлу Семеновичу, когда за ним закрылась дверь, он улыбнулся господину в золотых очках, покачал головой и, помотав пальцем около своего лба, сказал:

— Всегда был чудак... А теперь, кажется, не все

дома. Слышал я, что службу он бросил. Бегает по частным урокам...

Господин в золотых очках пристально посмотрел на него, но ничего не сказал.

Мы вышли.

Дело с точки зрения репортажа оказалось малоинтересным. Присяжные оправдали Гаврилу (Елену не судили), а Рогова признали виновным в подстрекательстве, но заслуживающим снисхождения. Председателю много раз пришлось останавливать свидетеля Павла Семеновича Падорина, бывшего учителя, то и дело уклонявшегося от фактических показаний в сторону отвлеченных и не идущих к делу рассуждений...

1903

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Зап. книжки — Короленко В. Г. Записные книжки. М., 1935.

Избр. письма — Короленко В. Г. Избранные письма: В 3 т. М., 1932—1936.

Короленко в восп.— В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.

Очерки и рассказы — Короленко В. Г. Очерки и рассказы. СПб., 1886—1903.

Полн. посм. собр.— Короленко В. Г. Полное посмертное собрание сочинений. Гос. изд-во Украины, 1923—1928.

ПСС (1914) — Короленко В. Г. Полное собрание сочинений: В 9 т. Пг., 1914.

Собр. соч.— Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1953—1956.

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Рассказ

Впервые: Рус. ведомости. 1889. № 224, 229, 233, 236. В основе рассказа — впечатления от путешествия Короленко в 1887 г. совместно с А. И. Богдановичем в расположенный в пятидесяти верстах от Нижнего Новгорода Оранский монастырь, откуда ежегодно приносили в город икону, считавшуюся чудотворной. Для встречи и проводов иконы собирались большие толпы людей.

ТЕНИ

Фантазия

Впервые: Рус. мысль. 1891. № 12. Идею этого рассказа Короленко пытался сформулировать в 1887 г. в набросках рассказа «Чужой мальчик». Черновой вариант написан в 1884 г. в Крыму, работа над расска-

зом продолжалась и в 1890 г. В основу произведения положены сочинения Ксенофонта, диалоги Платона «Критон» и «Федон» и «Апология Сократа», то есть речь, которую якобы произнес Сократ перед афинским судом, защищая самого себя против обвинений, предъявленных Мелитом и поддержанных сообвинителями Анитом и Ликоном. Смысл рассказа Короленко пояснял в письме Н. К. Михайловскому 3 марта 1893 г.: «С великим наслаждением прочитал я Вашу статью о Мережковском и особенно рад был встретить строки об истинном религиозном чувстве и об истинном идеализме ⟨...⟩ Мой взгляд на этот предмет высказан (к сожалению, очень неясно) в «Тенях». Нужно глядеть вперед, а не назад, нужно искать разрешения сомнений, истекающих из положительных знаний, а не подавления их в себе. Всякий — кто служит истине, хотя бы и самой беспощадной — служит и божеству, если оно есть, потому что, если оно есть,— то оно, конечно, есть и истина» (Собр. соч. Т. 10. С. 175).

С. 44. *Потидея* — колония, основанная Коринфом на юге Македонии, с которой афиняне вели длительную войну, требуя присоединения ее к Афинскому союзу. В 431 г. Сократ участвовал в осаде Потидеи.

Делосские празднества — празднества на острове Делос в Эгейском море, где находилось старинное святилище Аполлона.

Гелиасты — члены гелиэи, то есть афинского суда присяжных.

Цикута — ядовитое растение, из семян которого готовился яд для приговоренных к смертной казни.

С. 46. *Эринии* — в древнегреческой мифологии богини-мстительницы.

С. 47. *...как говорит великий поэт...* — Далее неточная цитата из «Илиады» Гомера (песнь 6).

С. 50. *...справедливость слов, сказанных поэтом...*— Далее следует вольный пересказ слов Ахиллеса, обращенных к Одиссею из «Одиссеи» Гомера (песнь 11).

...нет ни дороги, ни герма...— Гермы представляли собой каменные или бронзовые колонны, увенчанные головой Гермеса — покровителя людей на путях жизни. Они стояли на дорогах, перекрестках, площадях.

С. 52. *Орк* — латинское обозначение подземного царства. Соответствует греческому Аиду.

С. 54. *Парки* — богини судьбы в греческой мифологии, прядущие и обрывающие нить жизни человека.

С. 56. *Гекатомба* — жертвоприношение из ста быков.

С. 58. *Гомер говорит...*— Далее следует цитата из «Илиады» Гомера (песнь 21).

СУДНЫЙ ДЕНЬ

(Иом-кипур)

Малорусская сказка

Впервые: Рус. ведомости. 1891. № 43, 47, 48, 58, 61, 69, 77. Написан в декабре 1890 г. Первоначальное заглавие: Жид, черт и мельник; с подзаголовком: Может, быль, а может, и небывальщина. Короленко несколько раз предлагали перевести этот рассказ на украинский язык. Он, в частности, отвечал: «Насчет «Иом-кипура» у меня уже раз спрашивали из Киева, и я не могу и теперь ответить ничего другого: у меня насчет этого рассказа есть свой план. Хочу попытаться изложить его по-малорусски сам, потом попрошу добрых земляков поисправить и издам с картинками, которые у меня так вот и стоят перед глазами, да сам не могу исполнить. Поэтому пока что должен отклонить предложение о переводе» (Собр. соч. Т. 10. С. 170). На украинский язык Короленко свой рассказ так и не перевел.

Отвечая на письма и статьи о содержании этого рассказа и еврейского вопроса, поставленного в нем, Короленко так объяснял свою позицию в письме от 14 июня 1900 г.: «Взгляды мои на еврейский вопрос до известной степени высказаны печатно. Кроме публицистических заметок в «Русском богатстве», могу указать на «Судный день»... Я родился и жил в юности в Западном крае, евреев знаю хорошо, с некоторыми из них меня соединяли отношения юношеской дружбы, с другими судьба сводила в трудные минуты жизни, и до сих пор я дорожу завязавшимися в то время крепкими товарищескими связями. Это, конечно, относится к людям интеллигентным, но и этого было бы достаточно, чтобы сделать меня горячим противником всякой антиеврейской исключительности. Масса еврейская состоит из трудящихся классов, и если все-таки в так называемом «национальном характере» евреев можно заметить (в сгущенном, пожалуй, виде) черты, отличающие весь уклад современной жизни, основанной на конкуренции и эксплуатации, то, во-первых, это все-таки черты не специфически еврейские, а во-вторых, их интенсивность в значительной степени объясняется исключительностью и общим бесправием. Бороться нужно с самыми явлениями, а не с их национальной или иной оболочкой...» (Собр. соч. Т. 10. С. 299—300).

С. 69. *«В лесу пасется волколак»*.— Из поэмы Т. Г. Шевченко «Ведьма» (1847, 1858). Волколак — по поверьям некоторых славянских народов — оборотень, выходящий ночью из могилы, чтобы сосать кровь у спящих людей.

С. 80. *Ла́сая* (укр.) — лакомая, охочая до чего-нибудь.

С. 90. *Гать* — здесь: плотина.

С. 98. *Небо́га* — неимущий, убогий.

С. 109. *Пуриц* (евр.) — барин, важное лицо.

С. 124. *Моча́га* — сырое, болотистое место.

РЕКА ИГРАЕТ

Эскизы из дорожного альбома

Впервые: В помощь голодающим. СПб., 1892. С некоторыми сокращениями: Очерки и рассказы. Т. 2.

Первоначальный набросок рассказа был сделан Короленко в записной книжке летом 1889 г., когда он в конце июня совершил пешеходную экскурсию на озеро Светлояр (см.: Зап. книжки. С. 147—153).

В воспоминаниях о Короленко В. В. Вересаев приводит следующий рассказ писателя о герое своего произведения: «В рассказе «Река играет» сохранена даже фамилия перевозчика — Тюлин.

— Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии, не мог изменить ни единого звука в фамилии. Закроешь глаза — так и слышишь, как по реке издалека несется: «Тю-у-у-у-ли-и-ин!»

На Ветлуге рассказ быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтоб дать возможность пассажирам посмотреть на прославившегося Тюлина. Он знает, что его пропечатали. Когда ему прочли рассказ Короленко, он, помолчав, поглядел в сторону и, подумав, сказал:

— Так ведь меня ж в тот раз не били!

— Если бы я знал,— прибавил Короленко,— что рассказ дойдет до него, я, конечно, переменил бы фамилию» (Короленко в восп. С. 317).

С. 128. *...на Святом озере, у невидимого града Китежа...*— Озеро вулканического происхождения Светлояр (Светлое) находится на реке Люнде близ села Владимирского в бывшем Семеновском уезде Нижегородской губернии. С озером связана легенда о «невидимом граде Китеже». По преданию, по молитве жителей город скрылся под водою в тот момент, когда к нему подступил Батый с намерением его разорить. Считается, что в городе продолжается прежняя жизнь и тот, кто верует, может увидеть его в воде и услышать звон китежских колоколов, доносящийся из глубины озера. Озеро Светлояр было местом паломничества, особенно почитаемым старообрядцами разного толка.

С. 130. *«...но только не помню когда...»* — Не совсем точная цитата заключительных строк из стихотворения А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской...» (1840-е гг.).

С. 133. *Грешневик* — валеная войлочная крестьянская шляпа, похожая по виду на усеченный конус.

С. 153. *...английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля.*— Индепенденты (букв.: независимые) — течение в пуритантизме,

требующее полного самоуправления церковных общин. Под руководством О. Кромвеля (1599—1658) захватили власть в установившейся в 1649 г. после казни Карла I республике.

С. 155. *Где же это и когда я видел вас раньше?* — В записной книжке Короленко за 1899 г. содержится такой ответ на заключительный вопрос рассказа: «Это было в 1879 году. Мы с Перчиком (братом Короленко Илларионом Галактионовичем.— *Б. А., Н. Д.*) переправлялись через Ветлугу, отправляясь в ссылку (направляясь в ссылку в г. Глазов в 1879 г., Короленко с братом переправлялись не через Ветлугу, а через Унжу.— *Б. А., Н. Д.*). Река так же прибывала, внезапно и торопливо, и так же кудрявилась зелень на том берегу, и колокольня выглядывала из-за холма. Я переехал благополучно, а Перчика на другом пароме подхватило стрежнем и несло вниз. Гребцы не могли выгресть, и паром все уменьшался, а мы с моим жандармом смотрели на тщетные усилия паромщиков. Помню, как я старался разглядеть фигуру брата в кучке людей на пароме,— и какая-то глупая тревога вставала в сердце... В таких обстоятельствах тревожишься легче и любишь сильнее... Так вот почему я встретил и здесь Ветлугу, точно родную реку. Мое прошлое, грустное и дорогое, неслось в воспоминаниях так же быстро, как эти струи» (Зап. книжки. С. 147).

АТ-ДАВАН

Из сибирской жизни

Впервые: Рус. богатство. 1892. № 10. Сопровождался следующим примечанием редакции: «Фабула настоящего рассказа встречается в очерке того же автора, помещенном в «Волжском вестнике» несколько лет тому назад под заглавием «На станке» (Волж. вестн. 1895. № 284, 285, 291)». Кроме того, Короленко написал корреспонденцию «Адъютант его превосходительства» на ту же тему в 1887 или 1888 г., которая была опубликована его дочерьми в кн.: Короленко В. Г. Сибирские очерки и рассказы. М., 1946. Ч. 2.

После публикации рассказа в журнале в редакцию пришел чиновник Алабин и, угрожая автору и редакции, потребовал опровержения. Об этом сообщил писателю соредактор журнала С. Н. Кривенко. Короленко ответил: «Вы пишете, что г. Алабин очень огорчен и взволнован. По человечеству мне очень жаль, но помочь я тут не могу: нельзя убивать людей и после того оставаться всю жизнь спокойным и неприкосновенным. Вы намерены напечатать в журнале, что рассказ мой — по характеру художественное произведение и что не следует видеть в нем обличительную корреспондецию. Помоему, и этого слишком много. Характер рассказа очевиден, и все внешние черты не совпадают с чертами г. Алабина: фамилия другая, самарский дворянин сделан карымом, то есть полуинородцем, чиновник превращен в казацкого хорунжего, наконец все приписано

сумасшествию, тогда как в действительности — убитый лежит в земле, а г. Алабин спокойно занимает в Петербурге положение, подобающее здравомыслящему человеку. Чего же еще? Вы хотите, чтобы я еще лично написал г-ну Алабину нечто вроде извинения и признал бы, что неплатеж прогонов — тоже только художественный вымысел. Никак не могу. Я действительно лично с г. Алабиным не встречался и вся сцена на Ат-Даване, так же как и личности (мой спутник, отчасти писарь),— вымышленны. Но мне действительно пришлось проехать по Лене после г-на Алабина, и вся Лена еще говорила об его поездке, о том, как он крушил и избивал, в одном месте ударил беременную женщину, заступившуюся за избиваемого мужа,— толстой почтовой книгой, в другом чуть не застрелил писаря, спасшегося благодаря тому, что «собачка» у револьвера оказалась неподнятой, и т. д., и т. д. ⟨...⟩ Я отлично знаю пределы, за которыми кончаются права литературы и начинается неприкосновенность частных лиц, и меня самого возмущают приемы писателей, берущих внешние черты известных лиц и навязывающих им всякие гнусности, которых они не совершали в действительности, или же врывающихся в частную интимную жизнь. Я поступил как раз наоборот: я взял «общественные» деяния г. Алабина, которые имел право и желал ранее огласить в корреспонденции с полной фамилией г. Алабина и своей,— но в рассказе приписал их совсем другому по внешности человеку! Чувствую себя поэтому глубоко правым и никаких авансов делать не намерен. Вы приняли от меня худож⟨ественный⟩ рассказ и потому вправе написать то, что хотите, разумеется, только отнюдь не от моего имени. Но лично я, признаюсь, считаю и эту уступку излишней и предпочел бы, чтобы ее не было, потому что я-то лично знаю, что г. Алабин в действительности поступал хуже, чем мой вымышленный карым-хорунжий ⟨...⟩ Для меня же г. Алабин — характернейшее явление торжествующей безнаказанности, возможное только среди нашего произвола и нашего бесправия. Может быть, условия тут виноваты больше, чем он, но все же уступать этим господам с дороги тоже не резон. В конце концов — я повторяю, что написал художественный рассказ, но факты взяты из действительности, и они хуже вымысла» (Избр. письма. Т. 2. С. 60—63).

Подробно об истории создания рассказа см.: Дерман А. Б. История создания «Ат-Давана»//Рус. язык и литература в трудовой школе. 1928. № 4—5.

С. 172. *Ринальдо Ринальдини* — легендарный герой-разбойник так называемых разбойничьих романов (1797—1800) немецкого писателя К. А. Вульпиуса (1762—1827).

С. 174. *Ластовый* — чиновник, собирающий налог с купеческих судов.

С. 189. *Улахáн Арабын-тойон* (якут.) — большой начальник Арабин.

ПАРАДОКС

Очерк

Впервые: Рус. богатство. 1894. № 5.

Смысл рассказа Короленко разъяснял в письме от 28 сентября 1894 г. к сестре своей жены П. С. Ивановской: «Вы меня немного пожурили за знак вопроса в «Парадоксе». В отдельном издании — выскажу свою мысль яснее, а пока Вам лично скажу, что этот рассказ явился для меня самого неожиданным результатом всего, что пришлось пережить в последнее время. Я вообще человек не унылый и не пессимист. Но смерть моей Лели (маленькой дочери Короленко, умершей во время его путешествия в Америку, в 1893 г.— *Б. А., Н. Д.*) так меня пришибла, что я никогда, в самые тяжелые минуты моей жизни, не чувствовал себя до такой степени изломанным, разбитым и ничтожным. Жизнь вообще, в самых мелких и самых крупных своих явлениях, кажется мне проявлением общего великого закона, главные основные черты которого — добро и счастье. А если нет счастия? Ну что ж, исключение не опровергает правила. Нет своего — есть чужое, а все-таки общий закон жизни есть стремление к счастию и все более широкое его осуществление. Только это я и пытался сказать своим парадоксом, но собственная моя душа в это время была еще так же изломана, как мой несчастный философ. И потому эта сама по себе простая и не пессимистическая мысль оказалась как-то непроизвольно с такими пессимистическими придатками, что в общем выводе рождает недоумение и вопрос. Повторяю — впоследствии я скажу все это яснее, и впечатление, думаю, выйдет более цельным» (Короленко В. Г. Письма к П. С. Ивановской. М., 1930. С. 64).

Вопрос Ивановской относился, вероятно, к следующей финальной фразе рассказа, которая не вошла в окончательную редакцию: «И много раз еще мы сидели над этой бадьей и путешествовали в старом кузове, и много раз впоследствии случалось нам предаваться таким же неумным занятиям в течение жизни и чувствовать себя такими же дураками, как в ту минуту, когда Петр застал нас с удочками на заборе. И не раз мне казалось, что за плечами у меня вырастают крылья, а потом я чувствовал себя беспомощным, разбитым и бессильным, как червяк, раздавленный в дорожной пыли. Бывали безумные удачи и постыдные поражения, сердце не раз трепетало от восторга и сжималось смертельной тоской, мир раскрывался навстречу моим надеждам и замыкался четырьмя стенами душной тюрьмы... Но никогда с тех пор я не забывал странного афоризма, написанного ногами парадоксального счастливца, которого голос и до сих пор упрямо звучит в памяти с такою же ясностью, как и в первую минуту.

— Человек создан для счастья, как птица для полета...»

БЕЗ ЯЗЫКА

Рассказ

Впервые: Рус. богатство. 1895. № 1—4.

В 1902 г. Короленко подготовил отдельное издание рассказа, почти вдвое расширив его объем, введя новые персонажи, изменив его стилистику. В рассказе отразились впечатления писателя от поездки в 1893 г. в Америку на Всемирную выставку в Чикаго. В дневнике 9 августа 1893 г. Короленко записал: «...начал рассказ (со слов Егора Лазарева) о латыше в Америке» (Полн. посм. собр. Т. 2. С. 82). В письме к жене от 15 августа того же года Короленко сообщал: «Наконец — я до половины написал небольшой рассказец о похождениях поляка в Америке, так, пустячок, а все-таки — ничего» (Избр. письма. Т. 1. С. 109).

Об одном из прототипов главного героя рассказа Короленко писал в «Истории моего современника»: «Был в нашей среде рабочий Девятников. Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд, он походил на медведя, и, когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем, передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай» (Собр. соч. Т. 7. С. 151). Нилов в рассказе имеет сходство с И. Л. Линевым, описанным в «Истории моего современника» (Собр. соч. Т. 7. С. 331—336). Прототипом мистера Гомперса послужил президент Американской федерации труда Самуил Гомперс, который действительно произносил речь на митинге безработных в Чикаго 30 августа 1983 г. См.: Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983. С. 220—223.

В 1915 г. в ответ на предложение экранизировать одно из своих произведений Короленко выбрал для этой цели «Без языка». Проект остался неосуществленным (См.: Избр. письма. Т. 3. С. 234—235).

С. 213. *Голота* (укр.) — чернь, беднота.

Реестровые казаки — часть украинских казаков, находившихся в XVI—XVIII вв. на службе у польского правительства по охране польских границ и получавших за это жалованье. Вносились в реестры (списки). После воссоединения Украины с Россией (1654) были приняты на государственную службу. В связи с реорганизацией украинского казачьего войска в регулярную русскую армию в 1873 г. реестровое казачество было отменено.

С. 214. *Греко-униатская вера* — христианское объединение, созданное Брестской унией (1596) и подчиненное папе римскому. Униаты признавали основные догматы католической церкви при сохранении православных обрядов.

Чинш — плата, вносимая владельцу земли за ее бессрочную наследственную аренду в западных губерниях России.

С. 241. *Тамани-холл.*— Название произошло от штаб-квартиры общества Таммани, основанного в 1789 г. в Нью-Йорке. В XIX в. общество контролировало политический механизм Демократической партии.

С. 251. *Конгрегация* — религиозное братство.

С. 306. *Реверенд* (англ.) — почтенный, преподобный (титул священника).

В ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ

Очерк

Впервые: Рус. богатство. 1896. № 2. Подзаголовок: Эпизод из ненаписанного романа. После некоторой переработки: Очерки и рассказы. Т. 3. В ПСС (1914) Короленко датирует этот рассказ 1891 г., хотя в первой фразе рассказа говорится: «Был знойный летний день 1892 года». В настоящем издании датируется по первой публикации.

Первый набросок рассказа был сделан в июне 1890 г., когда Короленко совершал путешествие на лошадях из Нижнего Новгорода в Арзамас. Спутница его по этому путешествию, М. П. Подсосова-Грацианова, так вспоминает об истории создания рассказа: «Я сказала Вл. Гал., что на одной станции есть ямщик, хороший рассказчик-юморист, и зовут его Василий Косой. На одном перегоне Вл. Гал. разговорился с ямщиком, и тот начал рассказывать про случай из крепостного права. Умело направлял Вл. Гал. речь ямщика, и когда тот закончил мрачный эпизод из того времени, то спросил меня:

— Не про этого ли ямщика рассказывали вы?

— Нет,— отвечала я,— этот серьезнее, умнее и лучше говорит.

— А как тебя зовут? — спросил Вл. Гал. ямщика.

— Василий Косой,— послышался ответ.

Я была изумлена, как развертывалась душа человеческая перед писателем, и он, как виртуоз-скрипач, сумел чудно сыграть на посредственной скрипке. Дорóгой Вл. Гал. рисовал пейзажи и детские лица и высказывал сожаление, что не пришлось научиться рисовать. По приезде в Арзамас, на другой день, он дал мне прочитать начало рассказа «В облачный день», где был передан вчерашний рассказ ямщика. Я была удивлена памятью Вл. Гал. и тем, что он запомнил все меткие выражения рассказчика и сумел схватить колорит его речи. После к этому рассказу Вл. Гал. сделал добавление, и я увидела, как в сознании писателя переплетаются разные переживания» (Короленко в восп. С. 111—112).

С. 353. *...н-ское дворянство... обратилось с известным адресом об эмансипации... и подали контрадрес...*— Нижегородское дворянство в 1857 г. подало адрес с отречением от права владения крепостными, а через год — адрес с просьбой «защиты интересов сословия».

С. 355. *...подоспела новая реформа...*— земская реформа 1864 г.

С. 356. *«...бежит кипучая вода».*— Из поэмы М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек» (1833).

ХУДОЖНИК АЛЫМОВ

Из рассказов о встречных людях

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 15.

Рассказ был начат в середине 90-х гг. и окончен осенью 1896 г. Предназначался для «Русского богатства», был набран, но от печати его Короленко отказался. Работа над рассказом совпала у писателя с болезнью и ощущением творческого кризиса.

Тема волжской вольницы звучит у Короленко в отрывке без указания года, озаглавленном «На Волге», с пометой «Алымов», где в соответствии с одной из ведущих тем рассказа атаман говорит молодому интеллигенту: «Эх, кабы на вашу любовь и на ваше сердце да наша молодецкая сила, взыграла бы матушка волной с самого дня...» (Полн. посм. собр. Т. 15. С. 111).

Прототипом Романыча был товарищ Короленко по якутской ссылке М. А. Ромась, о котором Короленко писал в «Истории моего современника».

С. 385. *Легость* — веревка для подъема на судно снастей, такелажа.

С. 391. *Казенка* — рубка или каюта на речных судах, где живет хозяин или приказчик и где хранятся деньги.

Косяк — ходовой канат, на котором тянется судно.

С. 399. *«К тебе я буду прилетать...»* — слова из первой части поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

С. 400. *«Довольно с нас купцов, кадетов...»* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».

С. 411. *«Есть на Волге утес...»* — начало стихотворения А. А. Навроцкого (1839—1914) «Утес Стеньки Разина» (1864?), положенного позднее на музыку и ставшего широко популярной песней.

С. 412. *...с мудростью российского Барбароссы...*— Фридрих I Барбаросса боролся против феодальной раздробленности Германии; в 1152 г. стал императором «Священной Римской империи».

С. 417. *Куно Фишер* (1824—1907) — последователь философии Гегеля, автор популярной в России XIX в. восьмитомной «Истории новой философии».

С. 418. *Коноводка* — большое волжское судно, приводилось в движение с помощью ворота, который вращали лошади.

С. 423. *Никита Пустосвят* (?—1682) — идеолог раскола, писатель. Осужден Собором 1667—1668 гг., но раскаялся и остался на свободе. В 1682 г. возглавил раскольников на «прение о вере» в Кремле, за что был казнен.

«НЕОБХОДИМОСТЬ»

Восточная сказка

Впервые: Рус. богатство. 1898. № 11. Первоначальный черновой вариант датирован ноябрем 1894 г.

С. 436. *Шастры* — сборники законов в древнеиндийской литературе, имеющие божественный авторитет.

Веды — памятники древнеиндийской литературы, составленные из гимнов, жертвенных формул, теологических трактатов.

«СТОЙ, СОЛНЦЕ, И НЕ ДВИЖИСЬ, ЛУНА!»

Сказка

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 22. Написана в 1899 г. Короленко не был ею вполне удовлетворен, и при жизни автора она не печаталась.

Заглавие сказки — цитата из Библии (Книга Иисуса Навина. X. 12—13). Иисус Навин в битве с Аморрейскими царями обеспечил победу израильтянам тем, что приказал солнцу и луне остановиться: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». В «Истории моего современника» Короленко вспоминает спор отца и дяди по поводу этого фрагмента из Библии.

Написана под влиянием «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (см.: Иванов Г. В. В. Г. Короленко и «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина//Рус. литература. 1960. Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук; Вып. 58. С. 120—127.

С. 455. *...календаря господина Суворина.*— Имеется в виду выходивший в Петербурге с 1872 г. «Русский календарь», издаваемый А. С. Сувориным.

МАРУСИНА ЗАИМКА

Очерки из жизни в далекой стороне

Впервые: Рус. богатство. СПб., 1899. Под назв.: Маруся.

Включая рассказ в третью книгу «Очерков и рассказов», Короленко внес в него ряд изменений и дополнений. По воспоминаниям товарища Короленко по амгинской ссылке, революционера-народника Н. С. Тютчева, толчком к созданию этого произведения послужила их совместная поездка в один из якутских наслегов: «При этом я рассказал ему, что по пути, не доезжая Сулгучей, стоит настоящая хохляцкая хатка, беленькая, чистенькая, и там живет та молодая хохлушка, с другом которой он, по его рассказу, уже познакомился в Амге... Какой-то украинский оазис в Якутии. Не знаю, соблазнился ли бы Вл. Гал. перспективой двухнедельного путешествия, при неизбежности ночевок в грязных якутских юртах, если бы его не прельстила эта «Марусина заимка». Он поехал с нами, мы провели несколько часов и ночевали у Маруси и ее мужа, и Вл. Гал., видимо, был доволен этим посещением, а равно и хозяева, особенно хозяйка, поговоривши с Вл. Гал. на родном языке ⟨...⟩ Это была честная, работящая женщина, попавшая в ссылку, кажется, за невольное детоубийство» (Короленко в восп. С. 84—85).

МГНОВЕНИЕ

Очерк

Впервые: Волжск. вестник. 1886. № 286. Под назв.: Море. После значительной переработки вошел в сборник «На славном посту» (СПб., 1900).

С. 535. Инсургент — повстанец, мятежник.

Флибустьеры — морские разбойники. Использовались Англией и Францией для борьбы с Испанией (нападение на ее суда и колонии в Америке).

С. 537. *Монитор* — боевой корабль для подавления береговых батарей и уничтожения кораблей, действующих в прибрежных районах.

ОГОНЬКИ

Впервые: В помощь евреям, пострадавшим от неурожая. СПб., 1901.

Написан экспромтом 4 мая 1900 г. в альбом писательницы М. В. Вайсон. Откликаясь на статью Ю. И. Айхенвальда о своем творчестве (Рус. мысль. 1903. № 8), Короленко писал своему другу

В. Н. Григорьеву в сентябре 1903 г.: «Также и за теми горами, которые теперь загораживают нашу дорогу,— есть и тюрьмы, и опять горы, и вообще — трудный, бесконечный путь. Я только верю, что впереди будет все светлее, что *стремиться и достигать стоит*, что, кроме нашего маленького смысла, есть еще бесконечно большой смысл, который, однако, преломляется в наших капельках смысла и в наших стремлениях. И я думаю, что эта вера нисколько не глупее и не ниже пессимизма. Но, кроме этого, я еще убежден, что тот же великий смысл и стремление к бесконечному отражаются также и в наших попытках ставить и решать все новые конечные задачи — правды человеческих отношений. А автор, по-видимому, намекает, что мои «Огоньки» — конституция, а затем — я удовлетворен, и искать мне больше нечего. Мне кажется, это тоже своего рода схема, и автор обрезал у меня многое, что под нее не подходило» (Собр. соч. Т. 10. С. 383). Отвечая на письмо читательницы Е. А. Чернушкиной 9 августа 1912 г. о содержании «Огоньков», в котором она высказывала сомнение в достижении всеобщего счастья, Короленко так разъяснял смысл этого произведения: «...я не имел в виду сказать, что после трудного перехода предстоит окончательный покой и общее счастие. Нет — там опять начнется другая станция. Жизнь состоит в постоянном стремлении, достижении и новом стремлении. Такого времени, когда все без исключения люди будут вполне довольны и счастливы,— я полагаю, не будет вовсе. Но на мой взгляд, человечество уже видело много «огней», достигало их и стремилось дальше. Когда были освобождены крестьяне — русская жизнь сильно осветилась, но остановиться не могла. И теперь опять мы на трудном пути, и впереди новые далекие огни. Самое большее, на что можно надеяться, это — чтобы у людей становилось все больше силы желать, стремиться, достигать и опять стремиться. Если при этом люди научатся все больше помогать друг другу в пути, если будет все меньше отсталых, если на пройденных путях будет оставаться все больше маяков, светящих вперед, если формы взаимной борьбы будут становиться все более человечными, а впереди будет все яснее,— то это и значит, что счастья будет все больше. Потому что счастье только в жизни, а жизнь вся — стремление, достижение, новое стремление» (Избр. письма. Т. 2. С. 300—301).

МОРОЗ

Впервые: Рус. богатство. 1901. № 1.

Короленко работал над рассказом в конце 1900 г. и закончил его 3 января 1901 г. Основой рассказа послужил эпизод, который Короленко занес в записную книжку 1884 г. 22 октября 1884 г., по пути из якутской ссылки, Короленко со своим спутником увидели изможденного тяжелым путем человека, лежащего у костра на куче сосновых

веток. Ямщик объяснил, что этот человек идет на родину с приисков, и ему, слабому и увечному, предстоит еще не менее тысячи верст, хотя в день он может преодолеть не более шести: «Мы давно уже уехали, но перед моими глазами все еще мерещилась между стволами синяя струйка дыма и эта темная фигура обреченного на скорую гибель человека... Так гибнет на морозе отсталая, обессилевшая птица, тоскливо следящая взором за свободным полетом своих вольных товарищей, между тем как кругом видны предвестники грозной зимы» (Зап. книжки. С. 82).

Спутником Короленко был поляк, приват-доцент Львовского университета, участник революционного движения Ф. Г. Богданович (ок. 1845—1894), о котором он писал в «Истории моего современника». Некоторые его черты нашли отражение в образе Игнатовича.

С. 550. *...восстании на кругобайкальской дороге...*— Вооруженное восстание поляков, строивших шоссе по берегу Байкала, началось 24 июня 1866 г. Восставшие (около семисот человек) обезоружили конвойные отряды, но власти двинули против них войска и артиллерию, и 28 июня восстание было подавлено. Об этом событии Короленко писал в «Истории моего современника» (Т. 4. Гл. 5).

С. 551. *З. Красиньский* (1812—1859) — польский прозаик и поэт, автор «романов ужасов», исторической и философской прозы.

Ю. Словацкий (1809—1849) — выдающийся польский поэт и драматург романтического направления.

С. 563. *...эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины...*— Об этом Короленко писал в очерке «Государевы ямщики» (1900).

С. 566. *Шабры* — здесь: переселенцы.

НЕ СТРАШНОЕ

Из записок репортера. Этюд

Впервые: Рус. богатство. 1903. № 2.

Работать над рассказом Короленко начал еще в 1901 г. 10 марта он писал Ф. Д. Батюшкову: «Я работаю. Кончаю рассказ (листа в три). Заглавие (пока) «Не страшное» (из подслушанных разговоров). Тема для меня самого неожиданная. Не знаю, что выходит, но меня захватило сильно. «Не страшное» — это то обыкновенное, повседневное, к чему мы все присмотрелись и притерпелись и в чем разве какая-нибудь кричащая случайность вскрывает для нас трагическую и действительно «страшную» сущность» (Короленко В. Г. Письма. 1888—1921. Пг., 1922. С. 174). Закончил работу над первой редакцией этого произведения Короленко в 1903 г., о чем писал П. С. Ивановской 5 февраля: «Вот уже недели три все «кончаю» один рассказ, который,

вероятно, появится в феврале и марте. Начал я его еще в прошлом году ⟨...⟩ но затем это течение мысли перебилось, и я опять взялся за него только теперь. Рассказ странный, не в обычном моем роде, но захватил меня сильно, и работаю я над ним долго, потому что не хочется вставлять ни одной строчки от себя. Ведется он (наполовину) от лица некоторого чудака, который меня интересует не меньше, чем то, о чем он рассказывает. Тема — бессмысленная сутолока жизни и предчувствие или ощущение, что смысл есть, огромный, общий смысл всей жизни, во всей ее совокупности, и его надо искать. Не знаю, что из этого у меня вышло, знаю только, что это, быть может, самое задушевное, что я писал до сих пор ⟨...⟩ Но самое чувство, побуждающее искать широких мировых формул,— я считаю нормальным, неистребимым и подлежащим бесконечной эволюции. Все это, однако, между прочим, и в рассказе Вы этих рассуждений не найдете. Это только — его психологическая подкладка. Я думаю, что лучше ясно поставить вопрос, чем давать туманные и неясные решения... Теперь рассказ подъезжает к концу и завтра отсылаю первую половину» (Собр. соч. Т. 10. С. 357—358).

Готовя ПСС (1914), Короленко снова внес в рассказ некоторые изменения.

С. 570. *...Анне Карениной и Вронскому снится один и тот же сон...*— Содержание сна, описанного в романе, передано здесь точно, но снился он только Анне Карениной. (Ч. 7. Гл. 26.)

«...вид порядочности при весьма слабых карманных средствах» — цитата из главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» четвертой части романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

С. 596. *Анфан-терибль* — ужасный ребенок (фр.: enfant terrible).

С. 601. *«Офелия, о нимфа, помяни...»* — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет». (Акт 3. Сц. 1.)

...есть у Ксенофонта... разговор Алкивиада с Периклом...— Этот разговор из «Воспоминаний о Сократе» древнегреческого писателя, одного из учеников Сократа (ок. 430 — ок. 355 до н. э.), Короленко выписал себе в дневник 1899 г. (Полн. посм. собр. Т. 1. С. 185—186).

Б. Аверин, Н. Дождикова

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ
1889—1903

Короленко В.
К 68 Собрание сочинений: В 5 т. / Редколл.: [Г. Бялый], Г. Иванов, В. Туниманов. Т. 2: Рассказы; 1889—1903 / Сост., подгот. текста, примеч. Б. Аверина и Н. Дождиковой.— Л.: Худож. лит., 1989.— 632 с., ил.
ISBN 5-280-00852-4 (Т. 2)
ISBN 5-280-00850-8

В том включены рассказы 1889—1903 годов: «Тени», «Река играет», «Ат-Даван», «Без языка», «Художник Алымов», «Не страшное» и др.

К $\frac{4702010101\text{-}072}{028(01)\text{-}89}$ подписное   ББК 84.Р1

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах

Том второй

Составители
Борис Валентинович Аверин
Надежда Александровна Дождикова

Редактор
Т. Степашова
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректоры *А. Борисенкова, Г. Щеголева*

ИБ № 5601

Сдано в набор 14.11.88. Подписано в печать 10.08.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,18. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 35,13. Тираж 200 000 экз. Изд. № ЛII-227. Заказ 1824. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



